

**МОЛОДОЙ**

**1968**

**ЕНИНГРАД**

**МОЛОДОЙ  
ЛЕНИНГРАД**

**1968**

---

**С О В Е Т С К И Й  
П И С А Т Е Л Ъ**

**М • С К В А • Л Е Н И Н Г Р А Д**

**Главный редактор**

**В. К. Кетлинская**

**Члены редколлегии**

**А. А. Белякова, М. И. Борисова,**

**С. В. Владимиров, С. С. Тхоржевский (составитель)**

**Альманах оформляли:**

**А. С. Ковалев, Н. И. Кузнецов, Ж. В. Ефимовский,  
В. С. Орлов, В. Н. Шульга.**

## КОМСОМОЛУ!

Миллионы людей приветствуют  
тебя, Комсомол, в дни твоего славного  
юбилея.

Молодость мира с тобой, Комсомол.  
Твои дела величавы, бессмертны.

Любовь советского отечества к тебе  
негасима.

Я приветствую тебя и славлю.

Я полюбил твой путь прямой,  
Мой Комсомол,  
Товарищ мой.

Ты — верный друг,  
Мой кровный брат,  
Ты, перенесший тьму утрат,  
Рабочий,  
Пахарь  
И солдат.

Многомиллионный Комсомол,  
Ты в грозной буре  
Танки вел  
За Днепр и Днестр,  
За Дон и Псел,  
Лицом темнея,  
Танки вел.

Явил ты мужества пример —  
Противу «Тигров» и «Пантер»,  
Противу бешенства громил  
Ты, Комсомол, отважным был.

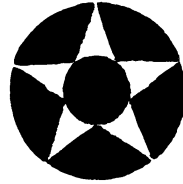
Промчались годы чередой,  
А все ж ты самый молодой,  
Со знаменем у высоты  
Навстречу солнцу  
Вышел ты! . .

*Александр Прокофьев*



# *Александр Городничкий*

---



## *РЕЧЬ АЛЕКСАНДРА УЛЬЯНОВА*

*Над маслянистым блеском судейских лысых голов,  
Над обнаженными шашками жандармов, бравых  
и рьяных,  
Над колокольным звоном собственных кандалов  
По-мальчишески звонким голосом говорит  
Александр Ульянов:*

*«Пусть завтра утром навеки мой оборвется век,  
Другим глаза не раскрыв, себе я глаза закрою, —  
В России всегда найдется несколько человек,  
Готовых за убеждения расписаться своею кровью.*

*За стон фабричного люда, за плач  
крестьянских детей,  
За произвол беззакония, священного как обычай,  
Я повторяю снова — достойны сотни смертей  
Пустые глаза самодержца над шеей  
короткой бычьей.*

*Казарменный бой барабанов, скрип этапных телег,  
Молитвенники, придвинутые к каждому изголовью.  
Но в России еще найдется несколько человек,  
Готовых за убеждения расписаться своею кровью.*

*И ползет огонек зеленый, шнур зажженный дымит,  
И стрелки выбирают цели, попусту пуль не тратя.*



*Наш город остался навек  
Ровесником двадцатилетним.*

*Держи на затворе ладонь,  
Будь точен и в деле, и в слове,  
Чтоб красного флага огонь  
Был вечным у их изголовья.*

## **СТИХИ О СЕВЕРНОЙ ГРАНИЦЕ**

Памяти пограничников Кольского  
полуострова, не отдавших ни пяди  
своей земли

*Война. От края до края  
Земля встает на дыбы.  
От Немана до Дуная  
Повалены наши столбы.*

*Поруганная граница  
В дымной лежит ночи.  
Над ней «мессершмитт» кружится,  
Ворон над ней кричит.*

*И, погасив устало  
Веселых глаз синеву,  
Лежат вдоль нее заставы,  
Руками обняв траву.*

*И только на Севере Крайнем,  
У скальных отвесных гряд,  
Наполовину изранен,  
Последний стоит отряд.*

*Кровь заливает лица,  
Но флаг горит на штыке:  
«Северная граница  
Останется на замке!»*

*Ревели чужие крылья,  
Хлестал ураган свинца,*



*Но парни границу закрыли  
На собственные сердца.*

*Им было шептать как молиться,  
Гранату зажав в руке:  
«Северная граница  
Останется на замке!»*

*Пусть песни поют солдаты  
Солнечным светлым днем  
О молодых ребятах,  
Что стали вечным огнем.*

*О тех, что в июне хмуром  
Приняли первый бой,  
Не узкую амбразуру —  
Страну заслонив собой.*

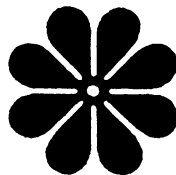
*Еще на Земле не очень  
Спокойно пока житье.  
Еще нас разбудит ночью  
Короткий приказ: «В ружье!»*

*Расчетливы и жестоки  
Сегодняшние враги.  
На Западе и Востоке  
Грохочут их сапоги.*

*Пусть им, недобитым, снится,  
Стуча сединой в виске,  
Нашей Земли граница,  
Которая — на замке!*

*Евгений  
Соломенко*

---



*КОМИССАРЫ*

*Россия металась в пожарах,  
Горнисты играли побудку.  
Откуда они — комиссары —  
В простреленных кожаных куртках?*

*В далеких тревожных рассветах  
Их лучшие песни остались.  
Их кровью багряного цвета  
Надолго земля пропиталась.*

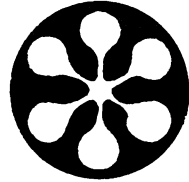
*В полях — запах мяты и гари,  
Леса настороженно дремлют,  
И с боя ушли комиссары  
В осеннюю спящую землю.*

*Святая минута молчанья,  
Минута прощанья и боли!  
Мальчишки, спасенные вами,  
Придут к вам на Марсово поле.*

*Застыли в молчании люди,  
Рассвет поднимается ярок.  
Прощайте, земля не забудет  
Ушедших вперед комиссаров.*

*Вадим  
Бараников*

---

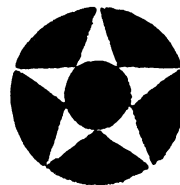


**СМЕРТЬ ПАРТИЗАНА**

*Шел парень на расстрел,  
Как на рассвет,  
Спокойно так,  
Зажав в губах былинку.  
Шел босиком, как в детстве,  
По росе,  
Не ведая, что уходил в былины.  
Был вечер,  
Тихий русский вечер,  
Сады стояли в розовом дыму,  
И лишь с едва задетых чутких веток  
Срывались капли под ноги ему.  
Он шел туда, где запахи осины,  
Где лес, как друга, узнавал его. . .  
Глазами баб запомнила Россия  
Защитника и сына своего.*

# *Александр Шарахов*

---



\* \* \*

*Мне приснилась атака,  
Дикой яростью  
  кровь леденя,  
И боец возле танка,  
Заслонивший от пули меня.*

*Покачнулась поляна. . .  
Горький ветер от дыма белес. . .  
И смертельная рана.  
И смертельная бледность берез. . .*

*До чего они сини,  
Небеса  
Над страну-судьбой.  
Это стены России  
Наклонились, солдат, над тобой.*

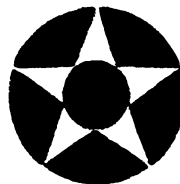
*Не помогут и стены,  
Хоть за память зубами держись.  
Потому что из тела  
Вытекает  
  по капелькам  
  жизнь.*

*И, охвачены дымом,  
Вырываясь из огненных рук,*



# Игорь Должияк

---



## **ВЕСНА 1891 ГОДА ПЕРВЫЙ ПРИЕЗД ЛЕНИНА В ПЕТЕРБУРГ**

*Да, это было неизбежно...  
Чернели трубы вдалеке.  
И шел по городу приезжий  
к насторожившейся реке.  
Из-за угла весенний ветер  
холодный выплеснул простор,  
и тонкий шпиль спящим светом  
как будто выстрелил в упор.  
О город! Ты высокомерье  
и равнодушие отбрось,  
измерь в четвертом измеренье,  
какой пришел сегодня гость.  
Гляди, быстры его движенья.  
Гляди, шаги его легки.  
Грядет твое преображенье,  
гранитный город у реки.  
Рванись проспектами прямыми,  
качнись незыблемостью вод.  
Узнай, что собственное имя  
тебе тот юноша несет.  
Несет такое обновленье,  
каких не знали на земле.  
В цепных оградах рвитесь, звенья,  
и вздрогни,  
всадник на скале!*

\* \* \*

*На эти наскальные ели  
боятся садиться птицы.  
Ели висят над ущельем  
самоубийцами.  
Внизу изумленно деревья  
смотрят на бешеный склон.  
Смотрят и ахают:  
«Эво! Ели-то занесло!»  
Очень воинственный ветер  
бросил сюда семена.  
Внизу неоглядно и весело  
зеленеет страна.  
Зыбко дымятся аулы;  
краем земли накренься,  
вековой и стогулый  
под ветвями — Кавказ.  
Солнце спящие спицы  
гонит ущельям в пасть.*

*Если так много видится,  
вовсе не страшно  
упасть.*

# *Александр Олейников*

---



\* \* \*

*Пришла пора весне родиться,  
Пора открыть стекло теплиц.  
Через железные границы  
Перелетают стаи птиц.*

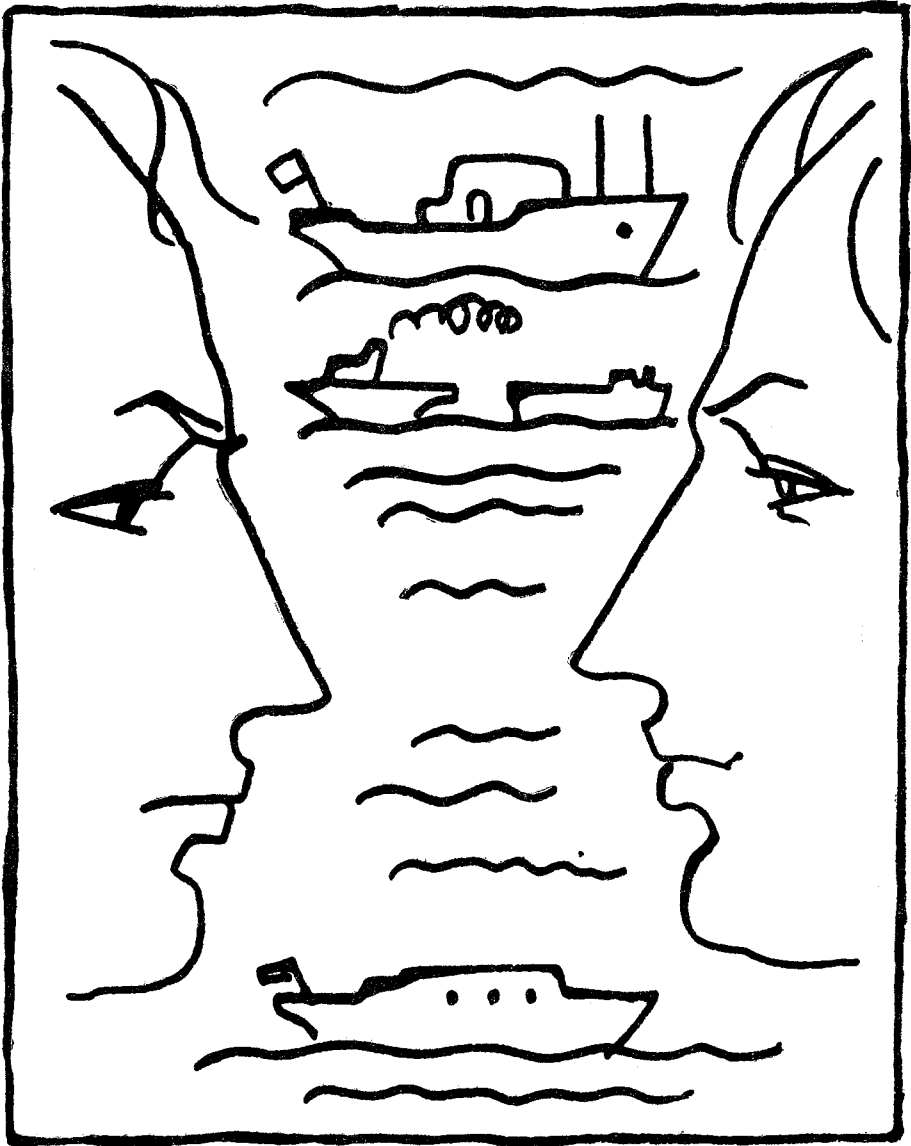
*Играют солнечные блики,  
Снежок в колдобинах зачах,  
И становление великих  
Вершится в мартовских лучах.*

*В седой Твери кричат галчата  
И, заслонив рукой лицо,  
Шести лет от роду Курчагов  
Выходит утром на крыльцо.*

*Текут заботы Белостока,  
Скользит река меж сонных плит,  
И над водой, ударив с уроков,  
Безвестный Хлебников стоит.*

*И Архимед, пацан вихратый,  
Еще соплив и голопуз,  
Рисует белые квадраты  
На тротуарах Сиракуз.*





Валерий Попов

# ПОИСКИ КОРНЯ

ПОВЕСТЬ

Это была то ли часовня, то ли башенка, стоявшая отдельно. Железная с резными ступеньками винтовая лестница, своды, пыльные цветные стекла. Теперь тут размещалась наша кафедра.

Влево от нее уходило утоптанное глиняное поле — стадион, и вдали, на горизонте, деревянной гармошкой поднимались к небу трибуны. Иногда там начинал что-то кричать репродуктор, но и разошедшиеся трибуны добавляли дребезжанья, да еще ветер относил и пугал слова — так что разобрать ничего было невозможно.

Вправо от кафедры, метров за пятнадцать, стоял, свисая через ограду, теплый, пахучий, заросший Ботанический сад. Иногда, в самую жару, из него выбегала низкая красноватая травка и карабкалась с разбегу на стену нашей часовни. Сзади нее стоял наш институт. Он не был виден за деревьями, но как-то проникал сквозь них своей огромной каменной массой. Гулкие аудитории, длинные кафельные коридоры, тускло освещенные неоном, в конце как бы дымящиеся. Там царствовал мой друг Слава — спортсмен, отличник, именной стипендиат. Каждое утро, склонив набок аккуратно причесанную голову, держа в вытянутой руке огромный портфель, сдержанно, без улыбки кивая, он уходил вдаль по этим коридорам и исчезал, словно таял.

Перед самой кафедрой был спуск к воде, поросшие подорожником пологие ямы. Тут я обычно и лежал, ожидая начала работы. Первыми появлялись люди, работающие внизу, в мастерской, — слесари, гальваники, маляры. Все они жили у воды, возле разных пляжей, каналов, бухт, и обязательно имели моторные лодки. И вот — утро, река, туман, и вдруг слышится: тук-тук-тук — съезжаются.

Последним приезжал Евдокимов. Вышитая рубашечка. Очки в железной оправе. Маленький кривой ротик. Глядя на него, никто бы

не подумал, что он самый здесь главный, первый в своем деле человек на весь мир.

Когда солнце начинало припекать, я спускался к реке, выгонял из кустов плот и плыл на нем, огребая лопатой. Солнце грело уже сильно, и, пока я плыл, доски плота успевали высохнуть, и только по краям, возле щелей, были влажные, темные.

Я причаливал к тому берегу, к длинному одноэтажному зданию мукомольни, обнесенному повалившимся забором. Из дверей выбежали белые, обсыпанные мукой люди, обнимали меня и вели внутрь. Отплевывая тесто, которое сразу же получалось во рту, я на ощупь находил в углу мою установку, накрытую рогожей. Это и был мой диплом: ультразвуковая очистительная установка. Я возился с ней месяцев шесть, не меньше, и вот она заработала, и воздух от нее задрожал, и в нем стали получаться воронки, а в воронках мучные комки, комки становились все больше, тяжелее и, толкаясь, оседали вниз, на цементный пол. И воздух стал прозрачным, и все увидели друг друга.

Ночевал я в те дни прямо на кафедре, в комнате под названием «Архив», на кипе старых чертежей. Я спал недолго, пока не выходила луна. Тогда я спускался по лестнице и шел в Ботанический сад. Там, в душной стеклянной оранжерее, в белом халате на голое тело, спала лаборантка Таня. Глубокой ночью мы шли с ней через сад, пролезали между двух чугунных прутьев, раздвинутых мною однажды в порыве любви, опускались в теплую воду и долго плавали в темноте.

Это было мое дипломное лето. Потом прошла защита, — даже странно вспомнить, как я был спокоен, — и вот теперь мне полагался отпуск — раньше были только каникулы.

Конечно, можно было пойти по линии удовольствия: поехать в Крым, лежать на белых, плоских, горячих камнях, чувствуя телом долетающие брызги. Но мне хотелось пойти по линии волнения.

Не мне судить, что я за человек, но только одно я знаю твердо: всегда, а особенно в последнее время, я старался жить так, чтобы не причинять людям боли. И в связи с этим мучило меня одно воспоминание, и даже не одно, а два.

Было это три года назад. Собирался я, помню, на вечер в институт, и услышал, что должен дядька Иван приехать, из деревни. Ну и пусть приезжает, бог с ним! Совсем другие тогда у меня были проблемы.

Но когда пришел с вечера, довольно уже поздно, ударился в темноте, в прихожей, о большой фанерный чемодан. Так больно вышло, чуть не закричал. И еще слышу — доносится с моего дивана незнако-

мый храп. Тут я все вспомнил, и даже разозлился. Вот, думаю, принесло!

А утром, часов в пять, лежу я с закрытыми глазами на раскладушке и слышу — вот он встал и по квартире ходит. Пошел я умываться, тут мы с ним и встретились. Довольно пожилой дядька.

— Здорово, — говорит, — племяш.

— Здравствуйте.

Помолчали.

— Слышь, — говорит, — не походишь ты со мной, дураком, по городу? А то я не знаю тут ничего.

— Ладно, — говорю, — похожу. . .

Совсем другие у меня были планы на эти дни, что и говорить. Ну ладно, пошли. Идем молча. И главное, как ни крути, мимо Невского ни в один музей не попасть. А одет дядька был так: полушубок овчинный, валенки, а поверх валенок красные галоши. И вот идем мы с ним по Невскому, а я только об одном и думаю: не дай бог кого-нибудь из приятелей встретить!

И так стыдно мне теперь за мой тогдашний стыд! Ведь Иван, надо думать, все тогда понял.

О, вот кино. Зашли. Темно, думаю, все-таки полегче. И начался фильм. Занудный — не то слово! И вдруг слышу — дядька захрапел. Соседи смотрят, усмеваются. Хоть сквозь землю провалились.

Кое-как добрались до дому, он сразу в комнату прошел, а я задержался в прихожей, одному другу позвонить, — то да се, а потом я ему вполголоса о дядьке рассказал — про галоши и про храп. Посмеялись мы тогда. Ирония в то время у нас на первом месте шла. Ирония и сжатые зубы. И мускулы. И, конечно, эlegantность. Не дай бог, если что окажется не в цвет. А тут — красные галоши. Как же, очень смешно.

И теперь я понимаю, что Иван весь тот разговор слышал. Потому что на следующий день уехал.

Конечно, появившись он сейчас, я бы его во все свои любимые места повел, и в лучший ресторан, с музыкой, и только с ним одним бы и разговаривал. Да только не приедет он теперь. . .

И еще один был случай, похуже. День рождения у меня поздней осенью, и вдруг получаю я в это время уведомление с почты, что получена на мое имя бандероль. И вот, из окошечка в стекле, выдают мне небольшой сверток. Разворачиваю, а там вязаные варежки и шарф. И каракули на бумажке, — бабка пишет из деревни, что это, значит, мне подарок.

Тогда у меня мой двоюродный брат Игорь гостил, и пришли мы с ним на почту — без шапок, сигареты в зубах — два молодых супермена.

И вот на тебе — шарф, почти шаль, и варежки овечьи, с отдельным большим пальцем.

И не знаю, как это получилось, только снова мы запаковали их, тут же, и отправили по обратному адресу. Очень смешно нам показалось — что так, сразу.

Правда, только вышли мы на улицу, мне что-то нехорошо стало. Представил я, как тащится она на почту и думает: что это, интересно, мне прислали? Приходит — а ей возвращают ее варежки.

И стала мне представляться картина: будто бы сижу я с ней на какой-то узорной скамейке и объясняю, что это, с варежками, я не со зла сделал, а по глупости. И прошу меня простить.

Иногда мне это даже снилось.

В день защиты диплома, вечером, я поехал к отцу.

Отца я вижу редко, потому что живет он отдельно, за долгой дорогой в электричке среди темного пространства, за двадцатью минутами соскальзывания ног по жидкой глинистой дороге через поле, кладбище и парк. И когда, уже сидя на кухне, трогаешь ручку холодильника, и он, щелкнув, открывает свое белое с инеем нутро, и включается мягкий свет, освещая разноцветные картонные коробочки, свертки, потемневшие от пропитавшего их жира, а на медленно отъезжающей дверце просвечиваются вставленные в нее зеленые и белые бутылки, или когда ходишь бесшумно по мягким коврам комнат, среди полированной темно-вишневой мебели, старинных японских чашечек и лазурных ножицков на полках буфета, — все это кажется особенно удивительным после километров грязи, холода и дождя.

Отец, развалиясь, сидит в своем профессорском кресле, возле лимонного облака настольной лампы, сморщив лицо, согнав его к середине с тем преувеличенным выражением крайней озабоченности, с которым он предстает на фотографиях, вклеенных за обложками его научных книг, и в дрожащих кадрах кинохроники, и в голубом семейном альбоме.

Я на своем лице тоже знаю эту гримасу, — говорят, мы все больше становимся похожи.

От окон, освещенная вначале, уходит рядами вдаль мягкая ярко-зеленая травка — его сорта, гибриды, — о них он рассказывает только в письменном виде, да и то крайне неохотно.

Я редко вижу его за работой, он никогда не давит своей работой и своей жизнью, хотя, конечно, у него нашлось бы чем давить. Но если даже его начинают расспрашивать о его делах и обстоятельствах, он либо молчит, щелкая языком, либо залепит такую чушь, что ее даже ложью не назовешь. После чего дальнейшие расспросы бессмысленны.

Здесь мы с отцом тоже похожи, я тоже не очень люблю делиться, открывать душу, советоваться с кем-то о своей жизни.

Разговаривая с ним, все время чувствуешь себя банальным, однообразным, пресным. Спросив тебя о чем-то, он может вдруг понять все заранее, по твоему лицу, по открытому для ответа рту, и дальше, на протяжении всей длинной ответной фразы, он будет дико скучать, вовсе этого не скрывая.

Думая о том, как он в тридцать пять лет сумел стать профессором, а сейчас, в сорок шесть, очевидно, станет академиком, я понимаю, что причиной этого явился его ум — дурашливый, неявный, кислый, но очень цепкий, настоящий мужицкий ум.

Мы переходим на кухню и там, закусив семгой, выпиваем — по-видимому, за диплом, хоть это и не говорится.

— Что делать будешь? В отпуск?

— Не знаю.

Я и действительно еще не знаю. По линии волнения? По линии удовольствия?

— А мне бы, — вдруг говорит отец, — выбраться из этих чертовых желудочных санаториев, я бы на родину поехал, на Волгу. Какой там Крым, лучше Волги ничего нет! Какая высота, простор. Погулять, себя вспомнить. . .

А рыбалка! Тянут невод, — одни по берегу, а другие далеко плывут, на лодке. Но вот начинают плавно к берегу выруливать, конец с концом сводить. И образует невод огромный полукруг, а в нем словно ртуть бурлит. Соединяют концы и бегут на берег, из дырок вода льется. И вот появляется мотня — большой мешок, полный рыбы. Рыба так и кишит, и бьется. Сверху мелочь, а большая поглубже забирается. Вот выскочит наверх щука, проскользит по другой рыбе, как змея, и опять вглубь зарывается. И стоят рыбаки с такими ковшами на палках, и сначала мелочь снимают, сверху, — тут хозяйки набегают, с кастрюлями, и рыбаки всю мелочь прямо им в кастрюли. А потом идет и покрупнее, — эту вываливают в лодки. Ставят эти лодки караваном, прицепляют к моторке и — на рыбозавод. А лодки знаешь какие? Дырявые. Дощаники называются. Вся передняя часть щелястая. Для обмена воды, чтобы рыба не уснула. Только потому дощаник и не тонет, что на корме имеется отсек, плавучий, без дыр. Там и люди сидят. А остальное — рыба. Опустить руку — длинные, холодные, упругие тела так и бьют. . .

Долго он рассказывал, разговорился, как никогда. . . И неизвестно, то ли еще раньше, то ли как раз в этот вечер решил я ехать на Волгу, только, уезжая от отца, я уже знал это твердо. . .

Все это я вспоминал, сидя в кожаном кресле экспресса Ленинград — Москва, прислонясь головой к стеклу. На Петровке я вошел в нагретый солнцем, душный автомат и позвонил Игорю. Не отвечают. Стало быть, все на даче.

Оказалось, что я откуда-то знаю, как к ним туда ехать. Проблуждал я недолго и в пять часов вечера уже присутствовал на торжественной семейной трапезе в грубо сколоченной деревянной беседке.

Дядя Алексей — седые жидкие волосы, длинное в прожилках лицо, старая сетчатая майка на круглой груди — сидел с видом самодовольной усталости, — настоящий глава семьи. Перед самым обедом он слез с ярко-синей липучей крыши, которую хотел непременно докрасить сегодня же, но отложил по случаю моего приезда.

— Вот что мне в тебе нравится, — обращался он ко мне, вертя рукой с отбитыми ногтями тяжелый стакан вина, — что мне в тебе нравится, и у отца твоего, моего брата, Егора, что мне нравится? Упорство мне нравится. Ведь когда ты здесь был? Шести лет тебе не было. А ведь пришел! Поблудил, правда, но пришел!

Рядом я увидел перекосившееся лицо Игоря.

— Слушай, батя, что значит поблудил? Ты выбирай слова. А то — поблудил.

— Молод еще отца учить! — вдруг побледнев, закричал дядя Леша, вскочил, опрокинув стертый дырчатый стул, выбежал в сад и полез на крышу, и при этом чуть не сорвался.

Вечером, когда мы сидели на бревнах, он подошел и сел рядом.

— Не куришь? — спросил он. — Молодец! А этот — дымит как паровоз. Да и я тоже.

Он посидел молча, щурясь от дыма и все почему-то приглядываясь к покосившейся, кое-где залатанной кровельным железом серой будке со скошенной крышей на краю огорода.

— Туалет перенести надо, — неожиданно сказал он, — не на месте стоит.

— А то и не на месте! — закричал он, не дождавшись наших возражений. — А место его вон где, у оврага.

— Я уже и яму вырыл, — добавил он, помолчав, — шесть метров. Вчера ночью.

Двумя длинными сосновыми жердями мы легко повалили будку и, положив ее поперек носилок, отнесли к оврагу, где дядя Леша со смелостью, достойной Корбюзье, установил ее над самым обрывом на двух скрещенных прогнувшихся досках.

— Ну, не знаю, — сказал Игорь.

Засыпав старую яму хвоей и землей, мы с Игорем направились потемну в крыжовник, но тут из беседки, где уже горела керосиновая

лампа, неожиданно вышел дядя Леша, одетый в удивительно рваный и грязный пиджак, и плечом остановил Игоря. Игорь со вздохом ушел в дом и вернулся примерно в таком же пиджаке.

Их не было минут сорок. Потом из темноты к забору тихо вышел дядя Леша и, поманив меня, зашептал, что без моей помощи им никак не обойтись.

Я вышел за калитку, с ужасом прикидывая, какая еще помощь может от меня потребоваться.

Мы спустились вниз по пыльной мягкой дороге, в свете узкого разбойничьего полумесяца перешли по жердочке ручей и оказались на территории заброшенного строительства, со старыми промокшими досками, сваленными кучей, и разбросанными осколками кирпичей.

Алексей Андреич скрылся в кустах, но скоро вышел обратно, катя перед собой огромную трубу, вроде бы чугунную.

— Ну, взяли, — прошептал он, продевая в трубу палку.

Когда мы подняли и понесли, палка затрещала, но сломалась сначала все же жердь над ручьем, а потом уже и палка.

Мы стояли в темноте, по колену в холодном каменистом ручье, и дядя Леша яростно шептал мне:

— Ты что же, а? Как ты держишь? Кто ж так держит?

Игорь постоял, пофыркал и захохотал, за ним я, а потом неожиданно захихикал и дядька.

— Слушай, батя, — смеясь, спросил Игорь, — ну когда ты прекратишь эту свою деятельность? Солидный человек, генерал в отставке. Неудобно.

— Пряма не знаю, — отвечал Алексей Андреич, — как с детства, с деревни, привык, так посейчас не могу остановиться.

Потом, уже ночью, мы сидели в беседке, при свете керосиновой лампы, окруженной серыми осыпающимися бабочками, и дядя Леша, навалившись на меня плечом, сбивчиво рассказывал мне о своей войне.

— Да брось ты, батя, — говорил Игорь, — сколько можно!

— Брось? Сам брось! Ну так слушай.

Я слушал. Как наша наука, со всеми зажимами, оборотами и успехами, для меня не просто наука, а целая жизнь моего отца, так и прошедшая война и победа в этой войне — целая жизнь дяди Леша, который прошел ее всю, из конца в конец.

Рано утром, часов в пять, Игорь уже тряс меня.

— Валить надо отсюда, валить. Я знаю, у него погреб задуман. Мы выпили холодного молока и крадучись вышли из дома. По



мокрой траве мы спустились к речке, пока еще невидной из тумана. Мы прыгнули с обрыва в туман и быстро — в такой воде еще бы не быстро! — переплыли на ту сторону.

Там мы бегали по мокрому лугу, пока не показалось дымное, неясное, размытое солнце.

Игорь надел трусы и опять полез в воду. Для кого-то Игорь — аспирант одного из московских институтов, засекреченных и никому не известных, в которых тем не менее занято пол-Москвы. Для меня же, особенно сейчас, когда он, голый, в длинных ситцевых трусах, отогнув на ногах большие пальцы, двигая маленькой курчавой головой почти без шеи, заходит в эту нелепую речку, — для меня он не больше, но и не меньше, чем просто мой брат, с которым у нас дружба с шести лет.

И сейчас, как и в те времена, он точно так же приседает в тину, ил, коряги, оставив на воздухе только нос и рот, шарит в глубине руками и неожиданно выбрасывает на берег скользких красноперых голавлей и вьющихся голубоватых щурят.

Нанизав их на веточку ивы, мы идем, слегка поднимаясь в гору. Из заднего кармана шортов Игорь вынимает маленькие, не больше ладони, обклеенные слоистой губкой ракетки. Мы подходим к большому зеленому столу, но он уже занят. На нем играют братья Шишкины, сильно выросшие близнецы, которых я тоже смутно помню. Рядом, на скамейке, болеют местные деревенские девушки.

— Какой смысл вам играть, раз вы близнецы, — вполне резонно замечает Игорь.

Те молча соглашаются, переходят на одну сторону, и мы начинаем играть двое на двое.

Игорь, для разминки, делает ракеткой в воздухе несколько своих коронных движений, принимая при этом ряд эффектных поз. Это в нем есть, этого у него не отнимешь.

Сопrotивление, которое оказывают нам братья, поначалу ошеломляет. При счете двадцать — девятнадцать в нашу пользу Слава Шишкин исполняет «прямой русский» — сверху вниз, длинной несогнутой рукой, со всех сил. Шарик, щелкнув, улетел очень далеко, все даже перестали за ним следить и стали ждать следующей подачи, и вдруг Игорь спокойно отошел туда, метров за шесть, и, присев, достал шарик у самой земли. Шарик взлетел, крутясь, дотянул до их половины и, прищелкнув, лег неподвижно. Все обомлели.

— Вот так, — сказал Игорь, засовывая ракетку в задний карман, — играют холодные виртуозы.

Когда мы возвратились, дядя Леша был уже не виден. Только из ямы посреди двора яростно вылетали комья тяжелой голубой глины

и, подлетев, сочно шлепались на бруствер. На дне ямы двигался дядя Леша, работая как бешеный, как он работал всю жизнь, сделав все, что от него требовалось, и даже много лишнего.

Перед отъездом, болтаясь с Игорем по Москве, мы посмотрели фильм Кавалеровича «Поезд». Довольно искусственная, но красивая штука, с достаточной долей любви и приключений.

— А сейчас нам будет такой «Поезд»! Такой Кавалерович! — издевался Игорь, когда мы шли на вокзал.

И действительно, тоска была страшная, до самого Горького.

В Горьком, в четыре утра, мы выскочили на еще пустые, гулкие, политые водой улицы и побежали, прямо посередине торцовой мостовой. Улица изгибалась, приподнималась, вдали нестерпимо блестела. По бокам к ней спускались неожиданные, почти вертикальные переулочки. Дома в них были побеленные, низкие, с толстыми стенами, маленькими окошками у земли, с ярко-красной геранью за стеклами, с откинутыми по бокам окон ставнями. Много было старых купеческих амбаров — тяжелые своды, обитые железом двери.

Кирпичные, местами целые, местами разрушенные, стены кремля лезли уступами в гору. Тяжело дыша, хватаясь за траву, мы забрались на самый верх и там сели на скамейку, стерев с нее рукавами росу. Сначала мы ничего не могли понять.

Вниз уходил травянистый скат, по которому мы влезли, дальше несколько крыш, а за ними, непривычно близко, начиналось белое, мягкое, бескрайнее небо. Долго мы смотрели на эту половину видимого с высоты пространства, непонятно захваченную туманным небом у земли, и словно летали там.

— Так это ж Волга! — закричал вдруг Игорь. — Волга и есть! А ты ее какую ждал?

Потом туман рассеялся, пожелтел, и мы разглядели до горизонта широкую дымящуюся воду — слияние Оки и Волги. Слева, на горе, мы увидели плоский, высокий, поблескивающий корпус гостиницы.

Скоро мы оказались внутри. Огромный стеклянный пенал, четко вырезающий из жизни нужный ему объем, а сразу за ним, за гладким пограничным стеклом, было все остальное: свободная пестрая трава, неровная полынь, крапива, грязная белая кошка на пне и идущие наискосок люди, не подлежащие разгадке.

Оставив в номере чемоданы, мы пошли на речной вокзал. Там было как и на всех вокзалах. Люди тревожно сидели на узлах, временами вскакивая и огромной тесной толпой бросаясь к окошечку, словно по иронии сделанному таким маленьким по сравнению с огромным мраморным залом.

Игорь прошел мимо и, постучавшись, скрылся за дверью с табличкой «Дежурный по вокзалу». Через минуту он вышел с билетами. Мы шли обратно. Толпа по-прежнему бушевала.

— Вот так, — сказал Игорь, — а мы спокойны.

«Да, — подумал я, — мы даже слишком спокойны».

Глубокой ночью, не до конца разбуженные коридорной, мы, зевая, оделись, спустились к воде по длинным шатающимся деревянным лестницам и вошли на пароход. И остановились, как от удара. Мы ударились о густой человеческий дух. Повсюду, по всей поверхности, и даже свешиваясь по краям к воде, тесно, переплетаясь, навалившись, шевеля друг другу дыханием волосы, храпя, булькая, свистя, тяжелым сном спали люди.

Старик татарин, с седой бороденкой, в черной бархатной шапочке, в пиджаке, из-под которого ровно на ладонь аккуратно торчала белая рубаша, поджав ноги в шароварах и узких сапогах, спал на коленях старухи в длинном темном нерусском платье. Старуха не спала, смотрела перед собой большими, неподвижными зелеными глазами.

Дальше было что-то вроде полка, на каждой спали несколько человек, незнакомых между собой, что было видно по неудобным позам.

Дальше, на железном полу коридора, вольготно раскинувшись, спал еще пассажир, положив под голову снятый с ноги ботинок, а другой, для сохранности, оставив на ноге.

Все это освещалось тусклой лампочкой.

Мы поднялись наверх и сидели на палубе в креслах.

Мы плыли третий день. Наш новый друг Миша, который спал тогда в коридоре на ботинке, старый мальчик, похожий на лук, с выгнутой вперед тоненьким тельцем, с висящими вниз почти до пяток руками, иногда рылся ими в карманах и вынимал рыхлые, бурые, обугленные куски. Слегка почистив от табака и ниток, мы клали их за щеку, давили, сосали. Во рту, если вкус можно нарисовать, вспыхивал павлиний хвост. В горло тек крепкий, пряный, жирный сок.

Такова копченая осетрина.

Утром, на одной из стоянок, мы с Игорем, купаясь, шумно, с брызгами, метнулись в маслянистую, радужную воду со щепками с самого верха парохода.

Это видел суровый, молчаливый, в потертом кителе капитан. Всякие там удобства, душ, водопровод, даже еду и питье, он считал прихотью, баловством и ничего такого у себя на судне не держал. Нас с Игорем, самых беспокойных пассажиров, он давно недолюбливал, а с этим прыжком мы вообще вышли за пределы его понимания, даже за пределы ощущения, и он нас больше не видел.

Мы свободно могли ходить по всему кораблю.

Но обычно мы сидели на палубе, в деревянных креслах, уткнувшись босыми ногами в прутья перил, греясь теплым, рассеянным солнцем.

Правый берег круто уходил вверх песчаными и травяными обрывами, и на самом верху, где земля неясно сливалась с небом и уже, кажется, кончалась, стоял маленький каменный монастырь.

— Сидит кто? — спросил Миша, подходя сзади и трогая пустое кресло.

Усевшись, он сказал, что вот здесь, за этой горой, его родное село.

— Да? Ну как там у вас? Лес? Улица? Дома? Расскажи.

— Дома-то? Е-есть! — добродушно отвечал Михаил. — Будешь? — спросил он, залезая в карман.

Я отказался. Я что-то нервничал. Вся Волга, по всей ширине, до горизонта, была уставлена баржами, буксирами, пароходами. Приподнявшись из воды, пронеслись белые «Ракеты». Проходили шлюзовые буксиры-обрубки, толкая дебаркадер с надписью «Пристань Слопинец», или тяжелые широкие баржи с песком — пыхтя, отплываясь из дырки у самой воды желтой струей и паром.

Я что-то нервничал.

Берега уходили, исчезали, были только острова с мокрыми поникшими деревьями.

Я что-то нервничал.

И вдруг из воды выглянула белая острая башня, а за ней и целый город, приподнятый к середине, со слепящим блеском окон от низкого солнца.

— Казань, — сказал Миша, — по-местному — Казан.

Казань!

Именно здесь где-то — красный кирпичный дом, за домом глубокий овраг, в овраге низкие избушки, из труб поднимается дым.

Первое, что я увидел в своей жизни.

— Полтора часа стоим, — сказал Игорь. — Здесь, что ли, ты родился?

Большинство пассажиров ушло купаться на покатуую шершавую набережную.

Мы с Игорем ехали на потряхивающем троллейбусе, по узкой булыжной улице, уходящей вверх. Я вертелся на порванном кожаном сиденье, из которого торчала вата, пересаживался на другие места, высовывался из окна по пояс под теплый пыльный ветер, — нет, этой улицы я не помнил.

Мы приехали в центр, шли вдоль высокой стены, сложенной из огромных камней, через большой плоский сквер с вертящимся фонтанчиком над пахучей газонной травой, ставшей слоем сена. Мы опускались, поднимались, проходили улицы, дворы, снова шли вверх, все больше теряя надежду, запутываясь, возвращаясь опять в сквер, в котором уже были.

Потом, уже оставляя Игоря у фонтанчика, я убежал в разные стороны минут на сорок, вниз легко, по пыльной щебенке, вверх тяжелее, тяжелее, — я бежал грязный, распаренный, страшный, не слушая изумления за спиной. Я вернулся в сквер, помочил голову и, махнув Игорю рукой, снова убежал.

Я бежал по широкой бескрайней улице, падал, переставляя ноги. Я знал, что, если сейчас не поверну, я уже точно не успею на пароход, ну, может, еще минуту можно, и минута уходила в мой бег. Улица действовала на меня все сильнее, я бежал, как никогда не бегал. . .

Потом я стоял на остановке, ожидая троллейбуса. Я никак не мог отдышаться, да еще выпил стакан вина, которое почему-то продавалось горячим.

Я не нашел, не нашел, но это все равно существует — тот кирпичный дом, овраг, дым из оврага.

Я стоял на остановке, разглядывая дома, спокойных прохожих, трамваи — весь этот город, где я родился и куда, уже точно, никогда больше не приеду.

Если б я ходил тогда по Казани, оставляя от себя в воздухе неподвижные розовые объемы, пересекся ли я сейчас хотя бы с одним из них?

После Казани Волга становилась все шире, берега совсем исчезли, иногда только угадывались на горизонте. Вокруг был такой простор, и я, помню, все говорил себе, что вот, наконец-то вырвался на простор, — откуда вырвался, я не говорил, но чувствовал. И действительно, всякие разные заботы, что не давали мне жить, здесь, на этом

огромном пространстве, оказались совсем крохотными, исчезли, забылись.

Все говорили, что скоро будет Куйбышевская ГЭС, шлюзование, а это очень интересно.

Первый шлюз был сразу за городом Тольятти. Из воды торчали широкие ворота, а по краям ворот стояли желтоватые каменные башенки. Ворота медленно открылись, и мы вошли в шлюз. Страшный, хриплый голос из башенки сразу закричал на нас, чтобы мы проходили вперед и швартовались у левой стенки. В стенке был широкий вертикальный паз, из него выглядывал чугунный крюк, который ходил по этому пазу вниз-вверх. С нижней палубы захватили этот крюк петлей, но вдруг петля соскользнула с крюка, и нас, разворачивая, понесло кормой на буксир, пришвартованный к правой стенке. Все схватились за что-нибудь, ожидая удара. Голос из башенки кричал что-то непонятное. Трое матросов с баграми бросились на тот борт и, упершись в буксир, натужившись, удержали пароход от столкновения.

Потом, побурлив винтом, снова подошли к левой стенке, и на этот раз петля наделась надежно.

Из шлюза стала уходить вода. Мы стали опускаться среди мокрых каменных стен, и опускались все глубже, словно на дно каменного колодца. По краям все больше показывались из воды ворота, они были неожиданно огромные, высокие, черные, на них приходилось смотреть задрвав голову. На самом верху первых ворот оказалась щели, и оттуда вниз хлестала вода. Мы спускались все ниже, держась петлей за крюк, который опускался по пазу вместе с нами.

Но вот уровень установился, вода успокоилась. Открылись, так же медленно, вторые ворота, и мы вышли из шлюза. И вдруг, неожиданно близко, чуть ли не у самых бортов, мы увидели с обеих сторон берега — деревья, дома, людей. Здесь был какой-то ручеек, совсем не тот прекрасный разлив, который был до плотины, до шлюза.

Река отдала всю себя — и силу, и красоту...

Ранним утром на следующий день мы стояли с вещами у выхода и всматривались в двухэтажную пристань, к которой лихо, по дуге, выруливал наш славный пароход.

— Вон они! — закричал Игорь. — Вон они, на горе! Тетя Нина, и Юрка с ней! А вон и «Скорая помощь». Гляди, на «Скорой помощи» нас встречают!

Игорь счастливо засмеялся.

Я поглядел, куда он показывал, и на мгновение увидел все, что он говорил, — и тетю Нину на горе, и Юрку рядом с ней, и кремовый микроавтобус «Скорой помощи».

Но когда мы, самые первые, выбежали на берег по трапу, тетя Нина превратилась в совершенно другую женщину, Юрка — тот совсем исчез, а «Скорая помощь» двинулась по своим делам.

— Ну конечно, — сказал Игорь, уже спокойней, — откуда им знать, что мы приедем?

Перехватывая вещи поудобнее, мы шли семь километров по мягкой пыльной дороге, среди тяжелых яблоневых садов. Игорь пел, махал руками, подпрыгивал, в общем всячески заводился. Я стал опасаться за тетю Нину. Я давно знал Игоря как мастера экстаза. Когда Игорь видит родственника, он, ни секунды не думая, бросается на него с воплем радости, валит, тискает, вяжет узлом. Я много думал над тем, искренне ли он это делает, и пришел к убеждению: на девяносто процентов — да.

Когда мы увидели тетю Нину, она стояла возле канавы в группе мрачных людей с лопатами. Увидев нас, она все бросила, подбежала к нам, долго целовала и плакала. Даже Игорь растрогался и не показал и десятой доли своей техники.

— Милые мои, как выросли-то! Совсем мужики, даже уже старые! Когда ж это вы?

Обняв нас за плечи, она шла между нами — большая живая грудь, белый халат, блестящие темные волосы, влажные черные глаза, самые красивые в нашей семье, но все же наши, с нависанием век по бокам.

Она вела нас в деревянный белый, с медицинским оттенком, дом на пригорке, откуда был виден весь санаторий.

— Одно слово, что главный врач, — причитала она, — а канавы эти тоже на мне, и если в столовой непорядок, тоже ко мне идут. Тут один тип за мной четыре дня ходил, тухлую курицу в кармане таскал.

Она засмеялась.

На крыльце стоял шезлонг, на веревке сохло розовое белье, она быстро сдернула его под мышку, и мы вошли в большую кухню. Стоял накрытый влажной клеенкой стол, две табуретки; на деревянной стене, покрытой белой осыпающейся краской, на гвоздь наколото газета, и на гвозде висит сухая ветвь помидоров, маленьких, острых, темно-красных, и еще мясорубка и терка.

— Еда у нас пресная, — говорила тетя Нина, сдвигая крышки с кастрюлек, — кабачки вот, рисовая каша. Ах, забыла — есть тут кое-что для вас.

Она достала банку, развязала марлю и вывалила на блюдечко черной икры.

— Помнишь, Игорек, как твой батя от меня банку икры увозил? Все под краном держал, чтобы не испортилась, а она-таки испортилась, и взорвалась, и всю каюту уделала, как обоями.

Она опять засмеялась.

Я заметил, что в разговоре она обращается в основном к Игорю. Я всегда знал, что Игоря любят больше, что он считается веселым, ловким, разговорчивым, а я — рохлей, нелюдимым, скрытным, и вообще с тараканами. Ну, пусть так, хоть и обидно. Когда в разговоре речь заходит об Игоре, все хором начинают кричать:

— Ну, Игорь! Этот далеко пойдет! Своего не упустит!

— А чужого — упустит? — обычно спрашивал я.

— Что? Чего чужого? Непонятно говоришь. Бормочешь что-то от зависти.

— Слушай, тетка, — заговорил Игорь, так точно находя этот грубовато-ласковый тон, что мне оставалось только завидовать, — а где же Юрка, чего его здесь нет?

— Так ведь на работе он, в Саратове. Всего две недели отдохнул, и опять уехал.

Тут с крыльца кто-то гулко закричал, что сломалась картофеле-чистка, и она, всплеснув руками, выбежала туда.

Мы встали, открыли дверь из кухни и оказались на центральной площади санатория, где сейчас, перед завтраком, находились все отдыхающие, в основном из ближних городков и деревень. Мы пошли смотреть санаторий и ходили по нему весь день.

Я знал, что, когда приехала тетка, здесь не было ничего, и все, что есть теперь, — это она. Эти корпуса, палаты, расставленные возле пруда и в лесу. И весь санаторий, асфальтовые дорожки, с наивными фанерными плакатами по краям, и внезапные белые гипсовые женщины в кустах. И новая водолечебница, где мы помылись с дороги, с песочными часами, грязевыми и жемчужными ваннами, с водой разных цветов, давлений, форм и направлений, — все она.

А ночью дежурные в белых халатах тихо ходят по пустым дорожкам. А с круглых известковых холмов, освещенных луной, спускаются смутные тени, шепчутся, расходятся и крадутся по своим палатам. И как везде уже холодно, и только в лесу еще тепло, душно, неподвижный воздух, и под ногами шуршат пучки сухой травы.

И когда мы, проникнувшись всем этим, беспокойные, входим ночью на кухню, она сразу понимает наше состояние и говорит:

— Да. У нас вся семья такая. Ничего не пропускали. Все на свете шло через нас. Потому и страдали так много.



А наутро, отправив телеграммы, мы уезжали. Опять не в «Скорой помощи», а в санаторном автобусе. Автобус подбрасывало, он был сильно нагрет внутри через закрытые стекла. Снова была пыльная дорога, тяжелые яблоневые сады, и яблоки, яблоки, они сыпались на дорогу, плавали в маленьком пруду, катались по полу в автобусе.

Сели две сборщицы из садов, в пыльных платках, с красными обгоревшими лицами, и стали есть яблоки из мешка. Шофер тоже ел яблоки. И мы их ели, — куда было деться?

Около часа ночи мы тащились по пустому, освещенному неоном Саратову.

— А смотри, хороший город! — удивлялся я. — Магазины какие, кафе! У нас я таких не видел.

— Точно, — говорил Игорь, — самый лучший из провинциальных городов.

— А вот здесь, — показал он на высокий желтый дом, — одна моя знакомая живет. Ты бы посмотрел на ее квартиру! Торшеры-фужеры. Ковры. Гравюры. Сервизы. Но трясется над всем этим, — никого к себе не приглашает. Боится, что корову с гравюры уведут. Вот бы где заночевать, — тяжело так заночевать, с вещами, с храпом!

Смех наш на пустых улицах прозвучал странно, и мы замолчали. Мы уже еле двигались. Зевали. За все путешествие мы как-то впервые устали.

Вот наконец тяжелый серый дом, на четвертом этаже квартира тридцать шесть, по обилию кнопок по сторонам двери напоминающая баян. Звонок раздался, по слуху, в большом коммунальном коридоре.

Юрка выскочил со сна, в трусах, не соображая. Он узнал нас, обрадовался, мы тоже обрадовались, но весь этот восторг шел на шепоте, и в комнату он нас не пригласил, боясь свирепой хозяйки. Скоро он вышел, одетый некрасиво, но тепло, и мы спустились по лестнице во двор. Там Юра открыл высокие деревянные ворота, и мы вступили в цементный гараж, в котором стоял маленький брезентовый газик. Мы сели в него и скоро уснули, но как-то тревожно, видя всё. Юра спал, положив голову на руль, словно в любой момент машина могла включиться, затарахтеть, выбить ворота и покатиться по мокрой пустой улице.

Рано утром Юра все же привел нас в свою комнату.

Мы сидели на стуле, на диване, на подоконнике, три двоюродных брата, разные и похожие, и смотрели друг на друга. Я видел Юру сбоку. Волосы длинные, гладко назад, тонкие очки на благородном профиле, довольно хилая грудь. Устаревший тип интеллигента. Все теперешние, новые интеллигенты, которых я встречал, имеют внешность грузчиков или боксеров. То есть наконец-то все самое тонкое и нежное объединилось с необходимой силой и грубостью.

А Юра так отстал.

Сейчас он вызывающе сидел на подоконнике и всем своим видом словно говорил: да, вот так и живем. Куда уж нам до вас! Провинция.

Я знал, что Юра помешан на том, что мы с Игорем к нему плохо относимся. То, что мы относились к нему хорошо, казалось ему просто еще большей издевкой.

Вот он встал, снял с подоконника яйца в лукошке и ушел на кухню. Мы стали осматриваться. Все стены, до самого потолка, были уставлены книгами, в основном старыми, желтыми, поистлевшими, очень больших или, наоборот, непривычно маленьких форматов, с обложками из кожи и сафьяна. Здесь попадались незнакомые нам имена, не всегда понятные названия. Мы чувствовали в этом что-то забытое, но очень важное.

— Вот, послушай, — сказал я, перекладывая истрепанные по краям странички. — «Или, бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвут пистолет, так что сыпется золото с кружев розоватых брабантских манжет!»

— Это про нашего капитана, — засмеялся Игорь.

Появился Юра, неся перед собой на длинной ручке сковороду с шипящей, стреляющей яичницей. Он подозрительно поглядел на нас, на полки. Он, конечно, был уверен, что все эти книги у нас есть.

Мы съели яичницу и сидели в раздумье.

— Да, — неуверенно заговорил Юра, показывая по полкам, — сколько здесь прекрасного. И все почти забыто.

То ли от яичницы, то ли от нашего к нему интереса, он стал добрее, мягче. . .

По коридору раздались четкие шаги, хлопнула дверь на лестницу.

— Это Гарик, сосед, — стал рассказывать Юра, — шестнадцать лет ему. Брюки такие, расклешенные книзу. И волосы, конечно, до плеч. Кончил весной школу, подал на физмат. Я говорю ему: Гарька, так тебя же никто и слушать не станет, сразу две балла залепят. Ты бы хоть постригся нормально. Нет, отвечает, зачем? Пошел сдавать,

и сдал все на пятерки. Поступил. И все экзамены в этих брюках проходил. И на голове даже волоса не тронул. Представляешь? А мы, интересно, смогли бы так? Или бы подстриглись?

Юра наконец-то разговорился хорошо, свободно, вроде бы вышел из зажима, в котором находился поначалу. Но и он, я заметил, тоже обращался к Игорю.

По воскресеньям Саратов выезжает на острова. Мы плыли в огромной посудине, с грохочущим посередине тракторным мотором.

Гулянье на острове было уже в разгаре.

Все группами лежали на траве, образуя солнышки и выложив в середину, на газеты, крутые яйца, помидоры, водку. Кое-где уже слышались слишком громкие голоса, песни.

Вот из кустов к воде спускается здешний мужчина. Длинные, ситцевые, приспущенные трусы. Мощные руки с татуировкой. На голове все сострижено, оставлен маленький чубчик.

Поглядев вокруг, подмигнув нам, он с шумом бросается в воду и плывет тем замечательным стилем, за которым я давно уже слежу с любовью и умилением, — то есть почти стоя в воде, высунувшись по пояс, эффектно занося руку и с оттяжкой шлепая ладонью по воде.

Мы расположились со своим продуктом, но скоро были поглощены большой соседней компанией, и как мы доехали обратно, я не помню. Смутно припоминаю, как Игорь прыгал с моторки на моторку на полном ходу и после прыжка застывал на корме, подняв руки.

На следующий вечер мы гуляли по центру, по самой освещенной окнами и рекламой улице. И все два часа без конца оборачивались, даже шея к концу заболела. И действительно, было очень много удивительно красивых, веселых, длинноногих девушек, лет так пятнадцати, шестнадцати. Их было так много и они так бросались в глаза, что других женщин, скажем старше двадцати пяти, просто не было видно, они их забивали, и все.

— Да, тоже проблема, — сказал на это Юра.

Накануне отъезда мы достали лодку, снасти и выехали на рыбалку. Мы встали посередине, сбросили с носа лодки тяжелый камень на веревке, а с кормы, чтобы она не крутилась, пустили вниз по течению плавучий ольховый веник на длинной бечевке.

Ловили на кольцо. Обычная донка, с леской, намотанной на палец, и крючками по дну, только еще добавлялась приманка — коробка из железной сетки, в которой лежал размятый хлеб. Коробка и крючки опускались на отдельных лесках, а чтобы они лежали рядом, обе лески продевались в кольцо из чугуна; кольцо опускалось на дно и рядом прижимало обе лески ко дну. Крючки с червяками лежали на дне, выложившись по течению, а на них еще намывало дорожку жидкого хлеба из приманки.

И все внимание на палец с намотанной леской.

Считалось, что лец дернет. Но лодку так качало, что дергало ежесекундно. Тут дело в другом. Нужно интуитивно, почти мистически, почувствовать момент, когда лец возьмет, и подсечь.

Дальше тоже нет никаких сигналов, тут тоже нужно угадать — есть или нет, вынимать систему или оставить.

Почему-то это удавалось только мне.

И если сумеешь почувствовать оба раза и правильно подсечь и вынуть, то в тот момент, когда крючки, развеваясь на поводках, выходят к поверхности, вдруг увидишь блеснувший в темной воде широкий золотой бок, и трясущимися руками подтаскиваешь леца боком, по поверхности, и, ухватив, бросаешь в лодку, где он, опомнившись, лениво начинает подпрыгивать, шлепаться.

Первый лец был такой, что я с трудом мог взять его за хребет. Он держался спокойно, только таращил глаза да открывал и закрывал свой слизистый складной ротик. . .

Юра вообще отпустил свою леску, поглядывал на воду иронически. Игорь спешил, злился, и у него ничего не выходило.

Поезд шел шестой час, с частыми долгими остановками. Вот опять остановились.

Под поездом пролезли два человека в комбинезонах и, постукивая молотками по колесам, пошли вдоль составов. При этом они всё вспоминали друг другу какой-то субботний вечер, голоса их становились все громче, и вот один схватил другого за комбинезон и стал тряссти. С вокзала набегали люди, как видно знавшие в чем дело, и увели их. Минут двадцать вообще никого не было.

Потом пришел молодой кудрявый парень. У этого, наоборот, было слишком прекрасное настроение. Неожиданным голосом он всюю распевал какой-то романс, и в те долгие минуты, когда тянул трудные верхние ноты, молотком по колесам он, конечно, не бил.

Как я понял, на этой станции живут нормальные люди, которые не могут не драться и не петь. Но, спрашивается, причем здесь наши колеса и наше расписание?

Русский человек работает гениально. В этом его сила и спасение. Но, с другой стороны, слишком многое у нас делается плохо.

Здесь очень характерен мой техник Коля, который работает со мной на кафедре. Когда ему интересно — он все делает просто прекрасно. Режет, паяет, чертит, а ногами под столом еще и вяжет. Помню, заканчивали мы с ним новый прибор, по заказу, до глубокой ночи сидели, — все нормально. А потом, как закончили этот прибор, — довольно сложный, надо сказать, — я попросил еще Колю ящик покрасить, для отправки. Так он с этим ящиком недели две возился. Красит, красит, и вдруг пойдет узорами. Или смотрит долго, неподвижно, и вдруг захохочет как безумный. И так каждый день — видения, дальние ассоциации. В общем, ящик он не докрасил. Слишком сложный оказался человек для такого простого дела. . .

Наконец кончили стучать по колесам, поезд дернулся и пополз.

На разъезде Марец, в точности похожем на другие станции, мы спрыгнули на закапанную мазутом железнодорожную землю.

За вокзалом, на телеге, сидели тетя Настя и дядька Иван. После нашей последней с ним встречи он изменился — постарел, что ли.

Мы долго ехали по степной дороге, мало отличающейся от самой степи. На толстой жерди, выходящей из телеги сзади, брякало ведро. Молча мы подъехали к их избе.

— Ну вот, — сказал дядька, — прошу заходить.

Мы вошли в избу. Большая темноватая комната, наполовину занятая печью. Все стены были в фотографиях, целый иконостас фотографий, — большие, групповые, и маленькие, с белым уголочком, и новые, с зубчиками, и старые, пожелтевшие, на картоне. Я нашел и отца, и дядю Лешу, и Игоря, и вдруг увидел себя, — случайный снимок, шел я из института, помню, в плохом настроении, с одним парнем, не другом даже, а так, и кто-то нас щелкнул, не помню. Потом этот снимок долго валялся у меня дома, а теперь вот каким-то чудом оказался здесь и составляет, так сказать, единственное представление обо мне.

— Вот, — сказала Настя, — сидим, смотрим.

— Ну ладно, — сказал Иван, — надо перекусить с дороги. Во дворе нам накрой. Памадор давай, ииц, — что там у тебя?

Мы сели во дворе. Двор был окружен плетнем и весь, по сути, был занят огромной, старой, разросшейся дикой грушей. Она, видно, служила здесь всему — на ее развилинах висели замки, веревки, свешивалась ручкой вниз коса, на обломанные ветки были надеты голочки грабель, а наверху, в глубине, среди густых темно-зеленых ли-

стве, я вдруг увидел большого голого целлулоидного пупса, розового, и прозрачного.

Со всем этим груша представляла вид особой скульптуры.

— Это что? — спросил я, показав на пупса. — Случайно?

— Почему ж случайно? — обиделся Иван. — Для красоты.

— Ну ладно, — сказал он, когда Настя вынесла помидоры, крутые яйца, луковицу, соль, выставила начатую водку, — ну ладно. Жил тут у меня сосед, Серега Стенякин. Хороший был мужик. Вчера умер. Выпьем за его память.

— И за встречу, — сказала Настя.

— Ну, это само собой.

Мы быстро выпили, сидели сморщившись, потом стали торопливо совать в рот кто помидор, кто облупленное яйцо, кто помакнутую в соль луковицу, и долго молча жевали.

— А ты помнишь, — неожиданно обратился он ко мне, — как я к вам еще в Казань приезжал? Нет? Вы еще в тот день на дачу переезжали. Мне еще поручили за возом идти, смотреть, чтобы ничего не потерялось. А я иду, задумался, и вдруг слышу, кричат: «Стой, стульчик потеряли!» Гляжу, и правда, нет стульчика. Был у тебя такой стульчик — маленький, разрисованный, с дырой. Не помнишь? Ну, пошел я обратно, поискать. И только дошел до поворота, сразу его увидел. Бе-жит! Несется! Пыль столбом!

Все удивленно молчали, а Иван, ничего не объясняя, налил себе еще рюмку и выпил.

— Да, — сказал он, поворачиваясь к Игорю, — гляжу я на тебя, Игореха, и думаю: прямо вылитый дед Прохор. Мой дед, то есть твой прадед. Ох, и острый был мужик! — Игорь счастливо засмеялся. — И силы необыкновенной. Мне про него так сказывали: сидит он в праздник дома и водку глушит. А на льду между тем кулачный бой идет. И прибегают за ним сперва мальцы, потом парни, а потом и остальнежь. «Выручай, кричат, Прохор, совсем наших погнали!» А он так встанет, усы ладонью вытрет. «А что, говорит, нешто драка идет? А я и не знал. Ну-ка, мать, подай мне из сенцов намороженные рукавицы». Наденет их и пойдет, а все уже за ним. И как начнет крушить — с обеих сторон хохот, визг, потеха!

Я слушал, и вдруг ясно, просто физически почувствовал, как выходит на мороз мой прадед, усмехаясь, глядит на небо и, скрипя снегом, идет к реке, — и вдруг такой свежестью, пронзительностью повеяло от этой картины, что я чуть не заплакал.

— Пойти, что ли, сетя проверить, — помолчав, сказал Иван, — может, попалась какая дура на ужин.

— А где у тебя сетя? — спросила Настя. — Под Булановой или под Самохиной?

— Под Булановой, — ответил Иван.

По крутому глинистому берегу мы съехали к реке, сели в тупоносую лодку, и Иван, огребая веслом, повел ее наискосок к большому зеленому острову. Объехав по кругу, мы выбрали сеть, временами вынимая запутавшуюся рыбу.

— Есть рыбка, есть! — говорил Иван. — А ведь три года совсем ни хрена не было. Это с новыми плотинами. Весной вода разольется широко, рыба расплывется повсюду и мечет икру на мелких местах, прогретых. А тут раз — и сбрасывают через плотину всю лишнюю воду. А икра вся остается. Идешь, а она прямо на траве засохла, на кустах. . . Нынче поумнели, слава богу, тихо воду спускают, не спеша. . . Вот и рыбка появилась.

Мы медленно плыли вдоль острова.

— Сколько лет прошло, а я все воды боюсь, — сказал Иван, — особенно этого места.

— Почему?

— А вот здесь, на этом самом месте, мой отец, ваш дед, Андрей Прохорыч, погиб.

— Погиб? Мы слышали, утонул.

— Оно так, да не совсем. Однажды, я совсем еще пацаном был, приходит сосед наш, Серафим Стенякин, этого Сереги отец, который умер. Приходит и говорит:

— Дарья, а Дарья! Там твоего Андрюху в сельсовете Бормотовы убить хотят.

А батя у нас серьезный был, коммуноу здесь организовал, когда никаких колхозов еще и в помине не было.

Ну, припустили мы с матерью. Я первый прибег. Гляжу, стоит батя в углу, а напротив Бормотовы, братья — Сенька, Федор и Петруха. И главное, знакомые мужики, соседи можно сказать, а тут у них такие лица злые — прямо не узнать.

— Батя, — кричу, — иди домой, там Лешка на коне прискакал!

А Лешкина часть рядом стояла, это все знали. Вижу, Бормотовы призадумались.

А батя постоял, посмотрел.

— Ну ладно, — сказал, — опосля договорим.

И пошел.

А потом они его все ж таки убили. Вернее, лодку ему перевернули, а он плавать не умел, да и утоп.

Мы молча огибали остров.

— Вон к той ветле направление держи, — минут через десять сказал он Игорю, отобравшему у него перед этим весло, — там у меня в кустах передок припрятан. Надо на нем на остров, в озеро, лодку перевезти. Карасей там, говорят, развелось — тьма!

Мы причалили к той ветле, он слез и долго шарил в кустах, и наконец, с сопеньем и треском, выдернул передок на чистое место.

Мы поставили его на дорожку, — передняя ось телеги, два колеса, оглобли. Мы привязали на него лодку и, потянув за оглобли, повезли. Мы везли нашу колымагу через остров примерно час. Передок был дряхлый, одно колесо все время чуть не соскакивало, и он въезжал в кусты. Он был словно послан нам в наказание за все наши совершенства. Наконец дядька крикнул:

— Бросай!

Мы бросили оглобли, с деревянным звоном подскочившие от дороги, отвязали лодку, положили ее на плечи и, проломившись, продравшись сквозь кусты, вышли к месту, где почва под нами пружинила, нога уходила в мох, образуя ямку, в которую сразу же начала натекает мутная вода.

— Вот, — нехотя объяснил Иван, — а там дальше и озеро. Поставлю пока сетку.

Мы разогнали лодку по скользкому, Иван впрыгнул в нее, и она, хрустя стеблями камышей, ушла. Не было Ивана минут сорок. Но вот верхушки камышей задвигались, потом показались руки, они хватались за стебли, выбирая покрепче, и подтягивали себя и лодку. Он выпрыгнул на берег, сбил с ладоней сор друг об дружку и пошел. Мы с Игорем снова привязали лодку на колеса и загремели по дороге обратно, вслед за ним.

Когда мы, ободранные, грязные, вышли к реке, Иван молча разделся — тело у него было совсем белое, красные только шея и кисти рук — и, зайдя в воду, долго ходил в ней на глубине подмышек.

— Раки тут, раки, — бормотал он, не глядя на нас, и действительно, быстро присев и выпрямившись, он бросил в лодку двух зеленых раков, которые, словно аплодируя, стали сочно шлепать плоскими хвостами по живóту. Сколько он еще ни ходил, больше ничего не попадалось.

— Раки! — сказал он зло. — Откуда? Кто вам сказал, что они тут есть?

Он вылез, сунул пойманных раков в мешок, где еще шевелилась рыба, сел в лодку, оттолкнулся и уплыл. Когда мы, переплыв вслед за ним, вошли во двор, его там уже не было.

— Ушел, — сказала Настя, и отвернулась.

Я пошел его поискать. Я шел по широкой деревенской улице с серыми саманными домами по сторонам. За домами начиналась степь, серебристая, полынная, с пучками сухой травы. Там ходили овцы, серые, с грязным желтым оттенком. Возле домов, сложенные колодцем, стояли кизяки — сушеный навоз, которым тут топят зимой.



Был вечер, многие сидели перед домами или шли просто так по улице. В основном весь народ был на площади — между магазином, клубом и волейбольной площадкой. Здесь я еще раз наблюдал картину, которая давно уже меня веселит, — волейбол по-деревенски.

Сначала босые дети подталкивают тяжелый мяч, с трудом перебрасывая его через сетку. Потом вдруг, ухмыляясь и подмигивая, на площадку входит взрослый мужик, в майке, в тяжелых черных брюках. Он стоит, широко расставив ноги, надвинув кепку от солнца, повесив руки по бокам. Когда к нему подлетает мяч, он резко бьет его щепотью, и очень удивляется, если мяч падает.

— Неудачный удар, — бормочет он.

Некоторое время за игрой следит парень в черном костюме, с правой штаниной, зажатой бельевой защепкой. Он, собственно, приехал сюда на свидание, но время еще есть. И, аккуратно прислонив велосипед к столбу, он входит на другую сторону площадки.

Потом приходят еще несколько взрослых, и некоторое время идет игра, неторопливая, спокойная.

— Комар сидел, — говорит кто-нибудь, когда мяч при подаче чиркает по сетке, и все с удовольствием смеются знакомой шутке.

Постепенно игра затухает. Все так устали за день, а главное, так полностью понимают и без слов, с усмешкой, любят друг друга, что злиться, бить, прыгать друг перед другом, надрываться им кажется просто глупым. И вот уходит первый, за ним остальные, и вот снова дети подталкивают тяжелый мяч, с трудом перебрасывая его через сетку.

Я ушел в конец улицы, за дома, и там нашел дядю Ваню. Он сидел на холме, свесив ноги в сапогах с песчаного обрыва. Далеко уходила ровная степь, и только на самом горизонте виднелись домики и слегка выступали покрашенные серебряной краской цистерны.

— Что? — осторожно спросил я.

— Станция, тракторная, — неохотно объяснил он.

— Это, что ли, где вы работали? Долго вроде, лет двадцать?

— А сорок не хошь? — сказал он со злобой и замолчал.

Мы долго так сидели, смотрели на домики и цистерны.

— Далеко, — сказал я, — километров семь.

— А девять? Девять.

— И что же, каждый день?

— Ну. Когда, правда, заночуешь.

— А зимой?

— Зимой как зимой.

— Сорок лет?

— А сколько ж? — сказал он, совсем уже в досаде на мою непонятливость.

Мы еще сидели, пока солнце не присело, окрасив домики и цистерны. Потом был зеленоватый закат.

— Знаешь, что мне обидно? — неожиданно сказал он. — Считается, что все мои братья и сестры в люди вышли, а я нет.

— Кто же это так считает?

— Кто? А ты спроси, прислали они мне за последний десяток лет хоть письмо одно?! Может, думают, не пойму?

Он помолчал.

— А как мы с Настей обрадовались, когда узнали, что вы к нам едете. Готовились как! Вы, небось, ничего и не заметили. . . Ну вот, и приехали вы. И что? День как день, и все.

— Ну, а чего ж ты ждал?

— Не знаю. Чего-то ждал.

— Ну чего?

— Не знаю. Думал, скажете чего-нибудь, или сделаете.

— Да? Я не знаю. Могу только сказать, что я очень тебя люблю.

И уважаю.

— Ты меня уважаешь, я тебя уважаю. Ну ладно, пошли.

Он поднялся, стяхивая со штанов сор, травинки.

Когда мы вернулись, Настя ничего не сказала, видно, привыкла к такому его отлучкам.

— Подите пока, прилягте, — сказала она нам с Игорем.

Мы зашли отдохнуть в отведенный нам сарайчик. Задвинув занавески, сделанные из разрезанных трусов, мы лежали в темноте, на деревянных топчанах с матрасами.

— Что-то не слышно крика зверски убиваемой курицы, — заметил Игорь.

— Не ценишь ты наших родственников, Игорек.

— Почему? Я хорошо к ним отношусь. Спокойная любовь.

— Спокойной любовью тут не поможешь.

— Ну ладно, может, я не прав. Но ты спроси, кого они больше любят — меня или тебя? Может, я и не так серьезно к ним отношусь, но я хоть разговариваю с ними, рассказываю. С тетей Настей сейчас беседу провел. А тебе твое великое чувство вообще говорить не дает. Я-то тебя знаю, но со стороны, на первый взгляд, просто бирюк какой-то, и все. И вообще, чего слюни распускать, — мужик он и есть мужик. Пыльные сапоги. Сплюснутая кепочка, в машинном масле.

Тут Настя позвала нас ужинать. Ужин был накрыт в доме. Как только мы вошли, Настя сразу включила электричество. Курицы действительно не было, но были горячие щи из свежего мяса, на второе

жареная рыба, да еще пироги с капустой и творогом. Иван достал бутылку, отпитуя нами утром, и разлил по рюмкам.

— А Серега-то, Стенякин, жив, не умер, — вдруг сказал он, обращаясь к Насте, — сейчас иду у магазина, а он сидит на крыльце, хоть бы что. И главное, — Иван засмеялся, — сало жрет, а мне должен!

Игорь с шумом втягивал с деревянной ложки еще очень горячие щи. Иван сидел далеко от стола и долго нес ложку, приставив к ней другую руку с мякишем хлеба, чтобы не пролить ни капли.

— А сколько вы получаете, мне непонятно, — сказал Игорь, разглядывая пироги.

— Моя пенсия сорок восемь, — сказал Иван, — й у Насти двадцать. Картошка своя.

— Так мы еще и в колхозе работаем, — торопливо подхватила Настя, — прошлый год центнер хлеба заработали.

— Ничего, — степенно объяснил Иван, — с тех пор как цену на наш продукт повысили, — ничего, жить можно.

Когда мы съели рыбу и пироги, Настя подала на стол маленькую дыньку, желтую, с белой сеткой на коже, но слегка рыхлую, переспелую.

— Ну, — сказал Иван, когда мы съели дыню и Настя унесла обглоданные корки, — пойти, что ли, Серегу навестить? Коли охота, пошли со мной.

Он сунул в карман все еще недопитую бутылку, снял с гвоздя ватник, и мы, хором сказав «спасибо», вышли в темноту.

Мы шли над обрывом, через свалку старых ржавых комбайнов, молотилок и других отслуживших хозяйству механизмов.

— Не зацепитесь, — говорил Иван, — тут всякие острые части торчат. А то прошлой осенью был тут случай. Стоял комбайн, спиленный, мок под дождем. И уже не знаю — то ли бензин в нем оставался, то ли еще как, — только вдруг ночью заработал он, затарахтел и поехал. Расшвырял все скелеты железные, что на пути стояли, доехал до обрыва и ухнул с высоты вниз, в реку. Вот так.

Обогнув поваленную задранную борону, мы вышли на чистое место.

— Это однажды, помню, — говорил Иван, — шел я в такую же темень. Давно это было, я еще молодой был, кудрявый. Шел я из Вязовки ночью, из гостей. И был тогда еще на пути лесок. И вдруг вижу — сидит под деревом женщина. А из ушей у ней дым идет. Подошел я, поговорили мы тихо, и чувствую я — она ко мне неровно дышит. Взял я ее за руку, она меня, — короче говоря, я ее выел. Гибкая была, горячая. Только теперь я и понимаю: ведь это, надо думать, ведьма была.

Иван засмеялся, и дальше шел посмеиваясь, и я подумал, что вовсе не недостаток, а именно избыток душевных сил, фантазий, всяких интересов и страстей, от которых он не смог или не захотел отказаться, не дал ему усидеть на более высоких, но узких, четко очерченных местах рыбного инспектора, бухгалтера и начальника машинной станции, на которые его с почтением приподнимали и где ему не удавалось удержаться больше двух недель.

Мы подошли к белому дому, Иван постучал.

— Входите, коль пришли, — раздался скрипучий, насмешливый голос.

Худой Стенякин сидел за столом и ел тюрю с молоком. Сало, как видно, он все уже съел.

Мы сели напротив, посмотрели, как он ест, понемножку разговорились — о себе, друг о друге, о нем, поговорили довольно сурово, лишь изредка все же впадая в тот слишком задушевный, жалобный тон, над которым сам же Стенякин издевался, делая по временам жалостное лицо и спрашивая гнусаво, нараспев:

— Мать-то у тебя есть? Сам-то не хромаешь?

Утром, проспав в нашем сарайчике часов пять, мы услышали, как Иван ходит по двору, сморкается.

— А что, — спросил он, отгибая рукой занавеску на дверях, — бабку-то свою собираетесь повидать, или без интереса?

— Обязательно, — вскочил Игорь, — главная цель нашей поездки.

— Ну, тогда собирайтесь. Надо пораньше поехать, по холодку.

Мы вышли в свежее, розовое утро. Иван посреди двора возился с какой-то совсем уж странной машиной.

— Вот, — сказал он, — собрал из чего было. Чем не забава на пенсии.

Корпус был взят от инвалидной коляски, а мотор, видно, от самолета, судя по реву и выхлопу, от которого на десять метров разлетались распушенные куры.

— Гостинцев никаких не везете? — между прочим, спросил Иван, и я впервые в жизни увидел, как Игорь покраснел.

— Ну ладно, — сказал Иван, — залезайте.

Мы сели, Иван обнял обшитый сукном руль, подергал ручку вниз, машина еще громче взревела, и мы выехали со двора в степь.

И вся эта поездка — грохот, непроницаемая пыль, в которой мы не видели даже друг друга, и вообще полное отключение от

времени и пространства. Наконец я разглядел незнакомую улицу, дома.

Потом мы вдруг остановились, вылезли и быстро вошли в маленькую избу, и там, в полутьме, за ситцевой занавеской, лежала худая коричневая старуха, неожиданно сильно и страшно похожая на меня, и на моего отца, и на Игоря, и на моих огромных, потных, зевластых дядьев.

Увидев нас, она стала хватать марлевые «вожжи», привязанные к спинке кровати и разложенные вдоль одеяла, схватила их скрюченными, похожими на куриные лапы руками, натянула и вдруг с усилием села. Глаза ее, единственно еще живое на ее гречневом, провалившемся лице, наполнились нежной, живой влагой, и в горле ее захрипело, забулькало.

Мы решили сперва, что она вообще не может уже говорить, но, оказалось, у нее просто отнялся язык от волнения в первый момент нашей встречи.

— Давай, давай выйдем, — заторопил Иван, — пусть успокоится.

Мы вышли, сели на завалинку.

— Ничего не поделаешь, — вздохнул Иван, — захотела в родной деревне помереть.

— Что ж, тут она одна, что ли? — глупо спросил я.

Иван посмотрел на меня с удивленьем. Потом долго от возмущенья молчал.

— Это как же одна? — наконец сказал он. — Екатерина наша тут хозяйничает. Да мы с Настей часто наезжаем. Пошли, я думаю, можно.

Когда мы опять вошли, она сидела все так же, но сбившееся одеяло было сейчас расправлено, и платок был повязан ровно и аккуратно. Мы сели рядом и минуту молча разглядывали друг друга, а потом она держала нас за запястья своими скрюченными руками, и мы целовали ее в лоб, глаза, щеки.

— И-и-и, ребята-ы, — говорила она тихим, тонким голосом, — плохи мои дела. Вот, гляньте, руки свело. И живот как веревкой дергает. Слава богу, хоть перед смертью удалось на вас посмотреть.

— Ну, а как Алексей? А Егор? — спрашивала она, и глаза ее при каждом имени слегка меняли выражение, оставаясь при этом полными любви и нежности.

В этом темном углу, за ситцевой занавеской, я просидел, почти не вставая, двое суток.

Делая скидку на возраст и деревню, я старался говорить с ней о самом простом, примитивном, а она, оказывается, решила, что

я просто ни в чем больше не понимаю, и с глубоким сожалением отнесла меня к дуракам.

Вскоре после нашего приезда прибежала Екатерина. Я представлял ее тихой, молчаливой, бледной — раз она ходит за умирающей, но она неожиданно оказалась очень красивой, крепкой, веселой, из той самой новой волны, которую мы наблюдали еще в Саратове.

Мы сбегали с ней искупаться, она бежала впереди по дорожке, размахивая купальником, платье поднималось от бега, оголяя длинные красивые ноги, облекая всю ее, высокую, гибкую, мягкую.

Потом я сидел, просыхая, на бревнах, а Игорь сидел с ней на лодке, она бултыхала в воде ногами, а Игорь, склонившись, что-то говорил ей — быстро, ладно, убежденно. Она слушала, потом вдруг начинала хохотать и говорила, почти пела:

— Ми-и-луй! Разве ж можно так врать-то?

Потом мы вернулись и опять сидели в полутьме, за ситцевой занавеской, с нашей бабкой.

И перед самым отъездом, уже сидя в машине, мы вдруг вылезли, не стовариваясь, и еще раз вернулись к ней. И она, как и в первый раз, так же с усилием натянула вожжи и села, и долго, прощаясь, смотрела на нас. Потом мы вышли на яркий свет и, качнувшись, пошли к автомобилю, чуть не плача и даже плача.

Перед нашим отъездом Иван был сумрачен и деловит. Он пошел и натряс в белый полотняный мешочек «китовки», как здесь говорят, — мелкой, сочной, бордовой китайки, внутри, если раскусить, розовой, пресно-сладкой. Потом Настя сказала, что надо хоть дыней завернуть на дорогу, и мы поехали на остров, на бахчу.

Опять мы размотали цепь с чугунной скобы, с грохотом бросили цепь в лодку, оттолкнулись. Сначала лодка шла по инерции, и мы все трое молча стояли в ней. Потом расселись, развернули лодку и медленно двинулись.

Я сидел на корме, упираясь в борта руками, и смотрел, хватая глазами, обнимая, стараясь удержать все, не отпускать.

И я помню:

Слева складками поднимался берег, по его широким уступам тянулись пыльные огороды, с них все уже было убрано, иногда только виднелись высохшие плети и лежали в пыли тяжелые желтые тыквы. Потом была серо-голубоватая степь, и по едва заметной тропинке шел человек в ватнике, с лопатой. Я долго, не отрываясь, смотрел на него, пока он не перевалил за гору и исчез.

На воде было холодно, дула «низовка» — свежий, толчками, ветер, шла волна.

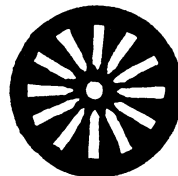
Иван стучал по дну жестянойкой, выплескивая воду.

Игорь греб тяжело, откинувшись, закусив губу. Иногда, когда лодку качало, весло у него срывалось, и в меня летели холодные брызги. Я сидел в каком-то оцепенении, даже не пытаюсь увернуться от этой воды. Потом она стекала по мне, и там, где она стекала, по коже проходила дрожь.

«Да, — думал я, — съездил. Повидал. Поговорил. Только вот не могу сказать, чтобы я с того успокоился. Скорее, наоборот».

# Нонна Слепакова

---



## ДИАЛОГ

*Повсюду слышен диалог.  
Вот человек от бога чаёт  
внезапной истины, и бог  
ему молчаньем отвечает.*

*Тогда идет он в шум и чад  
лихой пирушки однолеток.  
Друзья, конечно, не молчат,  
а отвечают так и этак.*

*Он к старикам идет тогда,  
и тормошит их, и тревожит.  
Те произносят «нет» и «да»  
как «не совсем» и как «быть может».*

*Дальнейший путь его таков:  
в объятьях милой он тоскует.  
Она поймет его без слов,  
но все не так перетолкует.*

*Его прельщает тишина,  
и он беседует с природой,  
и отзывается она  
невнятной трелью желторотой.*

*И он вопросы многих лет  
к своей отчизне обращает...*



*Ее развернутый ответ  
все предыдущие вмещает.  
Какой запутанный клубок!  
Какие разные уроки!  
Сейчас в единый монолог  
свои он выжмет диалоги,  
и сам послушает себя,  
и вслед за тем шагнет с порога,  
настырно ближних теребя,  
ища на свете диалога.*

### **ДИАЛОГ С ВЕТРОМ**

*Зачем деревьям ветер?  
Не в силах я понять!  
И ветер мне ответил:  
«Чтоб гусениц ронять!  
Чтоб странные созданыя  
на палец ты брала.  
Как дразнят осязанье  
ворсистые тела!  
По коже многонога  
ползет к своей судьбе.  
Ей надобно немного.  
Чуть более — тебе:  
чтобы земля, и небо,  
и ты сама была,  
и чтобы тварь нелепо  
рукой твоей текла.  
С мизинца на ладошку  
длину свою влача,  
сбиралась бы в гармошку,  
щетинкой щекоча.  
Чтобы тянула шею,  
ползя в твое тепло,  
и время вместе с нею  
текло, текло, текло.  
А мне-то, ветру, надо  
поветреней прожить  
и над квадратом сада  
без усталости кружить,  
чтобы листва звучала*

*и всюду трепет был,  
чтоб я свое начало  
и свой конец забыл».*

*\* \* \**

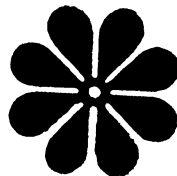
*Носил художник брюки узкие,  
из Петергофа привозил  
слова прелестные, французские —  
пленэр, пломбир и Монплеизир...  
Но я не буду про художника...  
В тот летний день, давным-давно,  
порывы легонького дождика  
мое жемчужили окно,  
и я позировала тщательно  
и тщетно...*

*В детской простоте  
с натугой думала о счастье,  
чтоб лучше выйти на холсте.  
А живописец,  
апробируя,  
клонил пыливое чело...  
Наверно, так его любила я,  
что получиться не могло.  
То выходило слишком в точности,  
то — непроявленным пятном.  
Или еще сосредоточиться  
я не умела на одном?  
Мне до сих пор еще неведомо,  
повинны краски или кисть,  
или того мгновенья не было,  
которое — остановись?*

# *Раиса*

## *Вдовина*

---



### *ЛОШАДИ*

*Скучали. Грохали по полу.  
Просились бежать вперед,  
И, уши наставив штопором,  
Поглядывали в проход.  
Мешали им стойла тесные,  
Засовы — а то беда, —  
Высоконогие терские,  
Надменная кабарда!  
И, выверены, испытаны,  
Породою высоки,  
Спокойны, ровны, воспитанны —  
Орловские рысаки.  
Высокоплеменные и пламенные,  
Элитой золотой —  
Владимирцы в белых валенках,  
Со спинами как плато!  
Горячие конские храпы  
Дышали у самой спины —  
Пижоны, аристократы  
И маменькины сыны!  
Зрачок наливали влагою,  
Пугающе голубой,  
И брали из рук моих таволгу  
Балованною губой.  
А рядышком в стойла свободные,  
Посеяв и попахав,*

*Входили их братья безродные  
В распахнутых хомутах.  
Входили большие, рабочие,  
Гремя башмаками копыт,  
И воду из налитой бочки  
Ноздрями тянули навзрыд.  
А после отградно вздыхали,  
Что можно теперь постоять...*

*И так неподвижно стояли,  
Что было легко рисовать!*

# Галина Гампер

---



\* \* \*

*Как ты омыт, как ты приподнят  
На серой медленной волне.  
Твои мосты лежат как сходни.  
Два сфинкса дремлют на корме.*

*А мы в каютах, как в квартирах.  
Мы чаек возле окон кормим,  
Читаем яркий «Атлас мира».  
Шестое наше чувство — море.*

\* \* \*

*Такая пустота в руке!  
Лишь солнца петушиный гребень.  
А мы, как в затяжном прыжке,  
Все отрываемся от неба,  
От всех, от всех и от себя,  
Как саранча из оболочки.  
И только облака клубят  
И отстают поодиночке.  
Захлебываюсь расставаньем,  
Его пронзительной длиной!  
Срослись тоска и ликованье,  
Как крылья за моей спиной.*

\* \* \*

*Ни на тоске, ни на обидах  
Себя сегодня не ловлю.  
Всем телом легким, точно выдох,  
Люблю,*

*люблю,  
люблю!*

*На цыпочки приподнимаюсь,  
Лечу уже наверняка  
И в праздник вся переливаюсь,  
Впадаю в праздник, как река.  
Так непривычно, так глубоко  
И так нестрашно сгоряча.  
Еще у самого истока  
Мне море снилось по ночам.*



Генрих Шеф

# ЗАПИСКИ СОВСЕМ МОЛОДОГО ИНЖЕНЕРА

ПОВЕСТЬ

20 февраля

**Я** молодой инженер. Я уже пять месяцев работаю в НИИ, в лаборатории. Мне сейчас двадцать два года. Нас в лаборатории четверо. То, чем мы занимаемся, вообще говоря, интересно. Но для науки это все просто мелочи, хотя, конечно, я понимаю, что потом из малого складывается великое. Я доволен своей работой. Но я здесь не стану писать про производственные процессы, даже про нашу аппаратуру. Я буду писать про людей, которые работают рядом со мною, и про самого себя. Кстати, то, что вы сейчас читаете, это вроде бы мой личный дневник. Я пишу его на работе, потому что у меня — представляете! — есть иногда минута свободного времени. Я, вообще-то говоря, сижу в углу за шкафом. Здесь мой рабочий стол и стоят все мои приборы. А начальник меня не видит. Он даже зовет меня, если я ему нужен, через всю комнату, что, конечно, хотя, с одной стороны, хорошо, но, вообще, не очень приятно. Меня видит только Лида Строева.

Я понимаю, что со стороны это может показаться удивительным, что я вот, вроде, и инженер, и работаю, а в то же время сижу и — в рабочее время! — пишу дневник. Но, во-первых, вы сами видите, что записи мои короткие. А во-вторых, сама Лида недавно мне сказала, что я не должен очень стараться. Вы можете возразить, что это кощунство. Как это так: на работе — плохо работать?! Как вообще можно давать молодому человеку такие советы? И кто их дает? Лида Строева тоже инженер, ей двадцать семь лет, у нее есть муж и маленький ребенок. Но нет, конечно, в этих словах не было злого умысла! Лида Строева сказала свои слова в том смысле, что у нас (она сказала) не перевелись еще такие начальники, которые все время



только подгоняют: «давай-давай», — но ни один из этих начальников никогда не скажет, что вот сейчас, дорогой товарищ, так как у нас сейчас мало работы — или потому что у вас, скажем, работа сейчас менее важная, — вы можете, дорогой товарищ, чуть-чуть отдохнуть. Нет уж, сказала Лида, им это в голову никогда не придет: предложить отдохнуть человеку, если у него мало работы. Мало ли почему нет работы: не завезли материалы, не составили план! Отпусти человека хоть на полчаса! Может быть, ему надо в магазине сегодня что-то купить. . . Или пускай в коридор сходит, сказала Лида, хотя бы в библиотеку! Нет! «А вдруг зайдет к нам сюда сам директор и увидит, что вас нет на рабочем месте! Разве так можно?»

*24 февраля*

Я поглядел сегодня, сколько у меня в прошлый раз было написано, и увидел, что это просто удивительно: все, что я там написал. У меня какая-то приятная и теплая волна прошла по сердцу, так я обрадовался. Мне кажется, не столько даже важно, что там написано, сколько вообще важен тот факт, что написано много; мне приятно, что я здорово это придумал. Меня только чуть-чуть смутило, что я не засекал вчера время, сколько я на это потратил. Наверное, я писал не меньше, чем полчаса. А все-таки неудобно, что вольно или невольно отрываешь эти полчаса от работы. Я уже заметил, что на работе хорошо себя чувствуешь, когда у тебя есть определенное задание, и тогда, зная, что срок далеко, можно даже немного поволыннить и поленишься. Во всяком случае, работаешь иногда не в полную силу. А когда нет работы и начальник что-то там размышляет, что тебе сейчас дать, то тогда, хотя и можно лениться, лениться совсем не хочется и даже чувствуешь себя вроде бы неудобно.

Мне все время хочется написать сюда что-нибудь не только про свою работу. Я все пишу: «работа, работа. . .» А мне хочется написать что-нибудь лично про себя. Или про окружающий меня мир. Ведь не только в работе смысл жизни? А как же тогда любовь? А природа? Мне, например, нравится индустриальный пейзаж. Для меня все эти заводские трубы и корпуса имеют свой ритм и свою поэзию. Я люблю их не меньше, чем, скажем, деревья. Я вот, например, вижу сейчас из окна трубу и могу описать дым, который из нее идет. Дым красивый, чуть-чуть желтый, с фиолетовым оттенком на голубом фоне зимнего неба.

Мне всегда кажется, что в чужих НИИ и вообще на заводах работа интереснее, чем у нас. Я как-то сказал об этом Лиде, а она сказала, что это «обман зрения». Она говорит, что работа везде одинакова, надо только привыкнуть. А потом, она еще сказала, всегда гово-

рят, что в гостях все вкуснее и «езде хорошо, где нас нет». Но я чувствую, даже когда иду утром не по нашему этажу по коридору и заглядываю в чужие раскрытые двери — там в это время обычно уборщицы подметают пол, — мне кажется, что даже у нас в НИИ в других лабораториях работа интересней. Это странное ощущение. Человека все время тянет куда-то вдаль. Лида, кстати, сказала, когда я ей сказал про красивый дым, что у нас в НИИ тоже есть своя труба, которая дымит, наверное, не хуже (да я ведь это и знал, в самом деле!), и ее можно видеть из нашего другого окна, если встать на подоконник. Я тогда встал на подоконник и действительно увидел, как дымит наша собственная труба. Но она, во-первых, была не бетонная, как все современные трубы, а вся кирпичная, красная. А во-вторых, мне показалось, что она дымит некрасиво.

Так про что же писать? Во-первых, я вижу, что я не могу писать про себя, а пишу все время лишь про работу. А во-вторых, я вижу, что около меня (а может быть, это в моей душе?) стоит непонятное «вы», к которому я вольно-невольно иногда обращаюсь. В-третьих, я вижу (я уже давно замечая), что Лида Строева на меня как-то подозрительно поглядывает. Наши столы стоят рядом, вернее, это даже один длинный стол, и половина стола — ее, но я предусмотрительно закрылся от Лиды вольтметром и стабилизатором, и я знаю точно, что она моих рук не видит и не может знать, что я сейчас делаю. Но она на меня глядит — вот, вот и сейчас снова глядит, — а перед этим один раз нарочно вставала и что-то у меня спрашивала, хотя, конечно, сама должна знать, что у меня конденсатора БМ быть не может: их вообще нет сейчас на складе. Вы и по почерку, наверное, видели, что один раз мне пришлось сбиться, потому что я быстро захопнул тетрадь и сунул ее под макет. А Лида глядит на меня по-прежнему! Надо подумать, куда бы мне спрятать дневник получше. Может быть, на нижний стеллаж за аккумуляторы?.. Но нет, их могут без меня прийти заряжать и тогда тетрадку найдут. Да еще обольют ее там кислотой...

*26 февраля*

...Я пишу сегодня по горячим следам. У меня просто голова идет кругом от того, что случилось. Они ушли и оставили меня одного. Они — это наш начальник и Лида. А как Лида себя сегодня вела? Можно ли вообще что-то доверять женщинам? Я еще молодой. Они, женщины, сразу чувствуют свою власть, чуть только им представляется случай, и уж своего случая — будьте добры — они не упустят. Еще, конечно, ничего не случилось. И мне даже немного интересно вроде бы их дурачить. Но все это понемногу становится неприятно. А все-таки я волнуюсь. Что будет дальше? По-моему, всему

виной мой дурацкий дневник... Но нет, они, наверное, ничего не знают. Я почти уверен, что они ничего не знают достоверно. Ну надо же такое глупое подозрение! Мне кажется, они даже приняли меня за шпиона. Они мне этого не говорят, они вообще теперь со мной не разговаривают (они, наверное, думают: «Надо не вспугнуть птичку»), но я явственно чувствую, что они за мной сейчас смотрят и будто бы за мною следят. А все виновата Лида со своим любопытством! Ну надо же!.. Во все ей надо было сунуть свой нос!.. Смешно! Я родился и вырос при советской власти, я учился пятнадцать лет — в школе и потом в институте, я комсомолец, я и по-английски-то толком говорить не умею, хотя сдавал свои тысячи, и ни разу не выезжал за границу, а они — вот бредни! — думают, кажется, что я шпион.

Все началось с того, что Лида, видно еще вчера, что-то заметила. И уж тут, конечно, она не могла усидеть спокойно. Теперь ей все надо было знать до конца. Но она, видимо, постеснялась меня прямо спросить. А сегодня с утра я снова вынул свою тетрадку и стал ее перечитывать. Схему я включил, и она пока прогрелась. У меня было вполне законное свободное время. А Лида, наверное, что-то заметила. Она, по-моему, даже увидела, что я листаю дневник. Но вот, вот... Вот они снова идут!

.....

Они ушли! Вошел сначала Марк Львович, а за ним Лида. И сразу ко мне! Лида села на свое место, а Марк Львович спрашивает: «Ну как, Гера, как у вас сегодня дела?» Мною вообще-то руководит Дронов, а сам Марк Львович руководит Лидой. Потому он и задает мне такие вопросы, самые общие: «Как дела?» и пр. И задает их обычно раз в месяц, а я ему на них соответственно отвечаю: «Ничего дела... Хорошо...» Я сразу потом показываю обычно, какие у меня успехи. Если схема работает — я ему включаю схему. Если составлены графики — я их ему тоже показываю. Было время, правда, вначале, когда я просто бурчал себе что-то под нос: «Что, мол, за глупые вопросы вы задаете? Работаю! Работа идет!» Но потом я заметил, что Марк Львович на меня за это обижается. Ведь он все-таки наш начальник. У него есть авторитет и свое самолюбие! А кроме того, он думает, когда я ему так говорю, что у меня в работе что-то не ладится. Мне самому до сих пор непонятно, почему он так думает, но это, я заметил, действительно так. А мне, я это тоже заметил, было почему-то неприятно, что начальник может думать про меня плохо. И я тогда стал подробно все ему объяснять и говорить только про свои достижения. Я знаю, что если задать ему какой-нибудь сложный вопрос, он почти наверняка не ответит. Скажет, что надо подумать. Или скажет, что он сейчас занят. Хотя, может быть, он порекомендует

литературу. Вот Дронов — тот голова-парень... А Марк Львович, когда я ему говорю про успехи, улыбается и очень вежливо потом со мной разговаривает. Дронов — старший инженер. Он мой непосредственный руководитель. А Марк Львович осуществляет надо мной, так сказать, общее руководство. А я, кстати, даже если у меня было что-то плохо в работе, почти невольно говорил ему, что все хорошо («А, ладно, — думал я, — скоро доделаю»). В этом смысле можно сказать, что я, наверное, научился чуть-чуть «втирать очки». Лида, правда, мне говорит, что с таким начальством надо разговаривать самыми общими словами...

Да, так я знаю, почему он именно сегодня меня так спросил. Лида ему, по-моему, что-то сказала. Это уже нехорошо! Они, когда уходили, даже дверь не защелкнули на замок, чтобы я не услышал заранее, как они открывают ее ключом, а только чуть-чуть прикрыли. А сейчас они быстро вошли и прямо ко мне. Но что все-таки они надеются у меня увидеть? Свою тетрадь я вовремя спрятал. Не будут же они меня спрашивать прямо в глаза: «Вы шпион, Гера, или вы не шпион?» А может быть, они хотят поймать меня с поличным? Застигнуть, как говорится, на месте преступления? Увидеть, как я фотографирую своим миниатюрным аппаратом секретные схемы? А может быть, Марк Львович думает, что я читаю во время работы посторонние книги? Так нет же, я их не читаю! А Лида меня сегодня утром спросила, что я делаю по работе. Мы собираем разные схемы, но иногда вот так друг друга о чем-нибудь спрашиваем, что нам непонятно: обмениваемся опытом. И мне иногда бывает просто интересно, что она делает. Я ей сказал, чем буду в ближайшие дни заниматься, а она мне сказала, впервые за все это время, что я здесь работаю, да еще таким официальным и серьезным тоном: «А вы знаете, Гера, что вы не можете выносить с территории те записи и вот эти, скажем, журналы, которые вы заполняете во время работы?» Как будто я маленький и сам этого прежде не знал! Я, вообще говоря, немного опешил, но я понял, что она на ложном пути, и хотя подозревает что-то насчет меня и всему виной, может быть, ее женское любопытство, но не знает, что я пишу в рабочее время дневник: она просто видит, самое большее, что я иногда что-то пишу. И она видит, конечно, что я не читаю художественных книг.

А все-таки она сказала сегодня Марк Львовичу — и с такими все шуточками, чтобы всем угодить и себя оставить в стороне, будто бы не она это сказала, и меня вроде бы не обидеть: «Вот Гера, — она сказала, — у нас устал. Видите, Марк Львович?.. Он все жалуется мне. Просит работу поинтереснее. Хочет в командировку. Проветриться... Говорит, хотя бы книгу какую художественную разрешили ему почитать...» А я ни на что не жалуюсь и вообще не просил ее

за меня заступаться. Лида иногда сама читает книги. В обед, да еще и после обеда, если книга попалась интересная, прихватывает время, если Марк Львович вышел. А я сейчас, она видит, ничего не читаю. И потому она, наверное, потерялась в догадках. Не знаю, что они оба про меня думают. Оба сразу уходят, а потом снова приходят и смотрят, что я делаю. А в их отсутствие я иногда пишу. У меня есть интуиция, которая говорит мне, что они уже скоро придут. Вот, вот... и сейчас уже время подходит... я чувствую... да, они сейчас войдут... Щелкает дверь. А у меня уже включен прибор.

*27 февраля*

..Было, конечно, забавно с ними вчера немного играть: почти как у детей в «кошки-мышки». Они меня, конечно, ни на чем не поймали. Но все-таки я не маленький мальчик, а молодой инженер. Я не люблю, когда на меня обращают пристальное внимание. Мне даже нравится, что мое рабочее место в углу за шкафом, и я доволен, что мне не надо видеть восемь часов в день подряд лицо моего начальника. Пускай уж Марк Львович, хотя это, кстати говоря, неприлично, зовет меня через всю комнату («Гера, подойдите сюда...»), если я ему нужен.

Я знаю, Марк Львович меня теперь в чем-то подозревает. Я знаю, что он не успокоится, пока не выяснит все до конца: в чем здесь дело. Может быть, мне даже надо как-то облегчить ему эту задачу: нарочно положить у себя на столе какую-нибудь раскрытую художественную книгу, чтобы он наконец все понял и успокоился и перестал бы относиться ко мне с недоверием, — как хорошо, когда все просто и ясно. Он сегодня опять подошел ко мне, но только молча поглядел и задал самые пустяковые вопросы. Он умеет спрашивать ничего не значащие вещи. А зачем вот эта ручка? А на какую шкалу у вас включен вольтметр? Он подошел ко мне совсем близко и чуть-чуть запыхтел и даже потерся об меня своим животом. Мне это было неприятно. Чего это он об меня трется? А с другой стороны, я боюсь выложить перед ним художественную книгу, чтобы он один раз меня выругал, а потом успокоился. Этого я сейчас не могу: на такие хитрые штуки у меня, кажется, просто не хватит духу. А Лида опять на меня глядит.

.....  
Ну вот, вроде бы все немного выяснилось. Лида на меня глядела-глядела, а потом подошла — я даже не успел спрятать тетрадку, я ее только закрыл и оставил лежать на столе (обратной стороной вверх), а Лида и не глядит на нее, — она подошла ко мне и сразу спрашивает: «Гера, вы заметили, что Марк Львович к вам теперь по-иному относится?» — «Да нет, Лида, я ничего не заметил. А что?..»

А Лида спрашивает дальше, и обращается она ко мне, как и прежде всегда, на «вы», и это «вы», хотя ей всего двадцать семь лет, а мне — двадцать два, с самого начала мне было приятно и немного меня подкупает. «А как вы, Гера, думаете, — говорит она, — почему он к вам уже несколько раз подходил?»

Я вижу, что она совсем не обращает внимания на мой дневник, и потому начинаю отвечать смелее: «Как всегда, Лида, — говорю я. — Он хочет проверить, как я работаю». И тут Лида меня спрашивает: «Гера, а вы дома строите телевизор?»

Меня, признаюсь, в этом месте почти пот прошиб, потому что я впервые действительно ничего не понял. Причем тут вообще телевизор? «Нет, говорю, Лида, у нас дома уже есть телевизор. Мы его недавно для мамы купили». — «А может быть, — говорит Лида дальше, — вы радиолюбитель-коротковолновик? Сами дома что-то для себя мастерите? Собираете передатчик, радиоприемник? . . .»

«Нет, — сказал я. — Меня вообще дома техника мало интересует. Я даже, например, не могу на кухне кран починить. Я больше люблю читать книги. Например, Гоголя». И я прямо спросил ее: «А что? . . .»

«Знаете что, — сказала Лида, — Марк Львович имеет на вас подозрение».

«Подозрение?» — спросил я и весь внутренне сжался.

«Да. Он думает, что вы таскаете себе с работы домой какие-то детали. Он видел, что вы у себя на столе все время что-то прячете. Он уже пожаловался на вас в комсомольский патруль. Будьте сейчас осторожны. Вас могут специально задержать в проходной. . .»

Я покраснел, хотя не знал за собой ничего дурного. Вот, подумал я, вот ты и доигрался. И Лида тоже, пока так говорила, совсем покраснела. Она даже перестала смотреть мне в глаза. Потом она замолчала. Она стояла около меня молча. Чего же она ждет, подумал я. Может быть, она хочет, чтобы я сказал ей «спасибо»?

Я от нее отвернулся и первое время тоже молчал. Я не сказал ей: «Лида, как вы только могли про меня такое подумать». И не сказал ей: «Спасибо». А что? — подумал я. Все правильно! Ведь мы работаем вместе только пять месяцев. Кто мне она? Что я про нее знаю? И кто я для нее? Лида — уже взрослая женщина. Она мать. У нее есть муж и ребенок. Она понимает, что одним словам — а тем более только внешнему виду — нельзя верить. Все основано на необходимости. Надо все проверять и доказывать. А как же я ей докажу? . . .

Марк Львович вошел в лабораторию, поглядел на нас молча и снова куда-то вышел.

— Он все-таки начальник, — сказала Лида. — Я хотела за вас заступиться, но он мне не поверил. Он начальник, и вы это понимаете. А потом, Гера, я же вижу, что вы все время у себя на столе что-то прячете. Разве это не так?

Она стояла около меня по-прежнему красная, и я видел, что она по-прежнему не смотрит на мой дневник. Я сначала выдумал для нее в голове всякие названия («приспособленка! подхалимка!»). Но потом я передумал. Мне стало очень грустно. Я никогда не думал, что так грустно мне может быть на работе. А дневник лежал сейчас на самом видном месте, и я его никуда не спрятал. Я подумал, сколько у меня выпало сегодня на день серьезных переживаний. А все почему? Все из-за глупости. Зачем я начал писать свой дневник под таким странным девизом: «СС — строго секретно»? В конце концов я ведь еще не написал там ничего личного. Я ничего не написал еще про себя, а все время только писал про работу. Я взял свою тетрадку и, раскрыв на первой странице, протянул ее Лиде.

— Вот, — сказал я ей. — Посмотрите...

*28 февраля*

Лида, мне кажется, была очень довольна, что я дал ей дневник. У нее даже глаза заблестели, я видел, когда она раскрыла первую страницу и прочла там на самом верху мою глупую надпись, которую я сделал вообще-то только для себя самого: «Строго секретно». Она, мне кажется, даже чуть-чуть разочаровалась, когда поняла, что потом там идут простые даты и просто записи, а на второй странице у меня было написано крупными буквами слово «Дневник». Но все-таки уже того, что она прочла, ей, видно, хватило, хотя это и шло вразрез с ее мыслями. Ей было все-таки интересно! Я, признаться, почувствовал где-то в глубине себя самого тщеславную гордость. Я сразу — я это видел — завоевал теперь Лидино доверие и перетянул ее на свою сторону.

Все-таки, оказывается, я хорошо пишу! Я не дурак! Вот как надо мужчине покорять женщин! А она прямо вся раскраснелась, и грудь у нее часто-часто дышала, и она, я знал, если сейчас ее спросишь чего-нибудь, ничего, наверное, не ответит. А Марк Львовича не было. Я нарочно не мешал Лиде, чтобы она уж подробно до самого конца все досмотрела. Потом Лида заулыбалась и сказала мне, отдавая тетрадку: «Ну, на...» И еще сказала: «Ты молодец».

А почему я молодец?

Лида сказала, что это здорово, что я так все пишу и вообще подумался. Это хорошо, что у молодого человека есть какое-то дело — «любимый конек», — которым он может после работы иногда от души заниматься, а я не бездельничаю по вечерам и не слоняюсь по

улице. Пусть я не строю телевизоры и радиоприемники, зато вот хотя бы пишу что-то сюда, в свою тетрадку. Немного только плохо, сказала Лида, что я называю там все имена и даже, кажется, указал номер лаборатории. По ее мнению, было бы лучше, если бы я, если я уж и дальше буду писать, обозначил бы всех людей какими-нибудь условными именами, во всяком случае не настоящими, а еще лучше (тогда бы уж была полная конспирация!) вместо имен и фамилий писал бы какие-нибудь значки, скажем X, Y, Z, или же буквы греческого алфавита: альфа, бета, гамма, дельта, эта, тэта...

Мне было приятно, что Лида меня похвалила. Я ведь уже думал, что мне пора совсем прекратить мои писательские занятия и надо унести тетрадку домой. Я даже боялся ее уносить. А вдруг меня действительно остановят в проходной и обыщут? Я подумал, что Лида (я чуть было не написал «милая Лида») это настоящая женщина. Я подумал, что мне хочется, чтобы у меня была такая жена. Да! Я все-таки написал здесь «милая Лида», и я вспомнил, что однажды подумал, что могу ее полюбить. И мне захотелось Лиду поцеловать, и взять за руку. И погладить ее. И никто бы не увидел, мы были одни. Но я, конечно, ничего такого себе не позволил...

Я знаю все-таки, что мы с Лидой ни разу откровенно не разговаривали. Может быть, у меня самого сдержанный характер. А она женщина, и ей неприлично, наверное, самой первой навязываться. Я говорю, что я бы хотел, чтобы у меня была такая жена. Лида не из тех, которые любят попусту болтать языком. Она, кроме всего прочего, умная. Я бы даже сказал, что Лида — философ. Может быть, она потому и молчит, что всегда понимает, что к чему. Чувство истины, по-моему, прирожденная черта у женщин. Мы впервые разговорились как следует, по-человечески. Да, это действительно необходимо: уметь говорить. Надо не только работать, я понял, но и поддерживать, путем разговоров, с товарищами по работе дружеские отношения. Хорошо, что нам никто не мешал и Марк Львовича не было. Я пожаловался Лиде на начальство. Почему Марк Львович такой? А Лида сказала, что я не должен беспокоиться. Он пожаловался на меня в комсомольский патруль, но в этом нет ничего страшного. Лучше, сказала Лида, об этом больше не думать. Что будет — то будет. А вернее, ничего, конечно, больше не будет. А еще Лида сказала, что может быть, я сам скоро буду начальником. Она была как-то у нашего секретаря и там случайно узнала, что к нам в отдел принимают нового техника: его фамилия Шварц. Она сказала об этом Марк Львовичу, и он сказал ей, что этого техника, если примут, то прикрепят ко мне. Нам выделяют более узкий участок работы, и мы вдвоем будем эту работу делать. Я, как инженер, буду, конечно, командовать и этого техника должен буду учить.



— Да? — сказал я.

Это было все интересно. А я, признаюсь, хотел задать Лиде еще один вопрос: о смысле жизни. Мне было интересно, что она скажет. Я еще никогда не спрашивал женщин о смысле жизни. И я чуть-чуть волновался, а потому медлил. Тогда Лида вдруг, как будто она прочла мои мысли, мне серьезно сказала:

— Это хорошо, Гера, что ты обо всем думаешь.

Я заметил, что она сказала мне «ты».

— Хорошо, что ты такой... Мне нравятся такие люди... И вообще у нас здесь хорошо... Работа у нас интересная... Я хочу, чтобы мой муж тоже перешел к нам сюда. Надо будет ему сказать.

И я, покраснев, спросил ее:

— А какое же, Лида, мне дать вам в дневнике условное имя?

Она тоже покраснела и замолчала. Чтобы облегчить ей задачу, я сказал, что Марк Львовича буду звать буквой У. Может быть, я дурачок, она захочет, чтобы я звал ее буквой Х или Z?

Но она, Лида, все время молчала. Я подождал, а потом, конечно, не стал думать, что она, после того как мы с ней так хорошо говорили, может на меня за что-то обидеться. Я тоже решил звать ее теперь «ты». А в дневнике, я подумал, я по-прежнему буду писать про нее так, как она есть: Лида Строева.

*2 марта*

Ох уж эти мне начальники! Они были всегда прежде и, наверное, будут вечно. Наш У ходит сейчас надутый и со мной, если говорит, говорит почему-то очень ласково, но я, я-то знаю, что он, наверное, держит на меня зуб в своем хитром уме и только ждет, наверное, случая, чтобы я в чем-нибудь еще провинился. А впрочем, кто его знает? Я ни в чем не виноват, а уже пишу «еще» провинился, как будто я действительно был виноват. Я даже чувствую вроде бы за собой неведомо какую «вину»: вот как действуют на человека общественные отношения.

А как же я, например, молодой инженер, буду командовать техником? Я очень много думаю теперь, как это будет, когда к нам в группу придет мой техник. Я представляю себе иногда, каким бы я был для него хорошим начальником. Я бы никогда не был груб, не повышал бы голоса, не требовал бы к себе лести. Я бы всегда помогал и все объяснял, а что мог, делал бы сам, пускай это и было бы связано с опасностью для жизни. Я бы действительно спокойно выслушивал все критические предложения и замечания. Я бы отпускал человека домой, если у него заболела мама. Я бы разговаривал с ним, наконец, о политике, об искусстве, о литературе. Я бы его вос-

питывал. Я был бы добрым и справедливым. И всем бы, наверное, я понравился. Все бы меня любили. Я очень много думаю теперь: как это так — ко мне придет техник?! Я думаю даже, какие будут мои первые слова, с которыми я к нему обращусь. Я скажу: «Вот ваше рабочее место». Да, я буду говорить ему «вы», хотя он и моложе меня, чтобы показать, что я его уважаю. Или я скажу: «Устраивайтесь. Пожалуйста, спокойно устраивайтесь. Приборами мы вас обеспечим». И он тоже в ответ мне улыбнется, а потом мы станем друзьями. Очень хорошо, что с Лидой я сейчас обо всем говорю откровенно. С умной женщиной удивительно хорошо иногда себя чувствуешь. Я теперь буду показывать ей свой дневник. С ней я буду советоваться. Я и сейчас покажу ей, что написал. . .

*5 марта*

Лида в прошлый раз, после того как прочла, сама мне сюда чуть-чуть записала: «Гера, дорогой, не думай, что все будет так просто, как ты себе представляешь. Жизнь гораздо сложнее. Умные люди это знают. Но это хорошо, что у тебя есть желание и оптимизм. Ты мне все больше нравишься».

Когда я попросил ее что-нибудь написать мне в дневник, она смутилась как красная девица. Какие все-таки женщины чувствительные и нежные! Они сразу все переводят на личности и думают, что любой разговор — если рядом стоят, например, и между собой разговаривают мужчины — касается именно их. Я это понял и сразу сказал Лиде: «Лида, вы же видите, что я философ». И она тогда перестала колебаться и взяла мою ручку, которую я — в протянутой руке на весу — уже довольно долго перед нею держал. Она даже поняла, что можно, наверное, обратить такое необычное предложение в шутку. Лида написала мне все, улыбнулась и вокруг каждой заглавной буквы — как в старинном альбоме — поставила росчерки. А последние слова она тоже написала, я видел, для шутки и при этом («ты мне все больше нравишься») так хитро на меня посмотрела. Я, конечно, знаю, что она замужем, и кажется, даже не обратил внимания на ее кокетство. Мне только стало в душе приятно, что вот в моем дневнике появляется разнообразие, и даже другие люди «приложили», так сказать, здесь свою руку. Я подумал, что в старости мне будет приятно вспоминать: вот, работала когда-то со мной Лида Строева.

А сегодня днем я куда-то на полчаса выходил. Да, меня послали в цех. Потом я пришел и вижу, что нашего У тоже нет. А Лида стоит посреди комнаты и разговаривает с какой-то девушкой. Она мне говорит: «Вот, познакомься, это Инга Шварц». — «Ну и что?» — думаю я и в то же время чувствую, что мне это имя чем-то знакомо.

«Это наш новый техник, — говорит Лида. — Вы будете вместе работать».

Я от удивления, кажется, не мог слова вымолвить. Я только помнил, что мужчина, когда его представляют женщине, не может первый протягивать руку. И вот я стою, не протягиваю руки, и все время молчу. А она? Ведь она должна была сама догадаться! Сообразительная женщина сама первая подаст руку и мягким голосом, несмотря на то что Лида ее уже назвала, скажет для меня свое имя: «Инга». А эта Инга стояла и тоже молчала! Может быть, она впервые попала на работу и представляла себе, что все будет не так? Люди — везде люди. Я не знал, что ей Лида про меня рассказала. У нее волосы черные, как «вороново крыло», и глаза на белом фоне (она стояла в тени) были черные и глубокие, и даже имя ее — Инга! — скрывает в себе что-то черное и темно-синее, а уж фамилия, Шварц, — я это знаю, хотя я изучаю английский, — тоже переводится с немецкого языка как «черное». Я сразу понял, что это не мой тип. Какими только неожиданностями не обладает судьба! И я в конце концов прервал наше минутное молчание и, чуть запнувшись на ровном полу и зацепив пиджаком за стабилизатор, прошел на свое рабочее место. Лида сказала, что Инга пришла посмотреть, где она будет работать.

Потом они, как всегда женщины, быстро разговорились. Я копался над своей схемой и все слушал. Инга сказала, что она уже два года работала после техникума, а сюда пришла потому, что ей предложили побольше денег. Она работала в ОТК на заводе... «Ну что ж, — подумал я, — значит, ей, наверное, уже двадцать лет. Возраст, — подумал я почему-то, — вполне подходящий». А потом я обзвизился. Ну надо же, мне подсунули девчонку! А я-то думал в последнее время много о бескорыстной мужской дружбе... Я даже не стал себе представлять сейчас, каким я буду для нее хорошим начальником. Мне этого уже не хотелось. И главное, она мне не нравилась. Ну, была бы она хотя бы красивая. Была бы тонкая, стройная, с маленькой шейкой и золотистыми волосами! Даже Лида была красивее. У этой волосы были черные и, наверное, жесткие. А ноги у нее были больше ие. И вся она с виду была какая-то плотная и тяжелая. Выглядела она, пожалуй, старше своих лет. Она работала уже два года, подумал я. А меня всегда удивляло, как женщины быстро друг с другом сходятся. Они не раздумывают долго, кто подойдет первый и о чем бы им друг друга спросить. Они все делают интуитивно, а может быть, инстинктивно. И почему у нее такое грубое имя: Инга? И фамилия тоже: Шварц!.. Они всё говорили там между собой, говорили, и я узнал, что она выйдет окончательно на работу восьмого числа.

— Ты слышал? — сказала мне потом Лида. — Она придет к нам восьмого марта.

— Ну и что? — сказал я.

Лида засмеялась.

— И у тебя нет предчувствий? Ты не видишь в этом для себя никакого предзнаменования?

Я не знал, что сказать. Лида была добрая, но у нее все-таки был острый язычок. Меня всегда удивляло, почему человек не может быть все время одним и тем же. Вот ведь он хороший, неплохой человек, и он сам это знает (и все это знают!), а потом вдруг, ни с того ни с сего, и главное, когда все хорошо: и ему хорошо, и другим тоже все хорошо, он нарочно (а может быть, не «нарочно», но как же иначе тут можно подумать?) начинает все портить. Особенно, подумал я, этим отличаются женщины. . .

— А вы, мужчины, еще не решили, что нам подарите? — сказала Лида. — Вы деньги уже собрали? Вы нам подарите конфеты или пирожные?

*8 марта*

Я впервые чувствую, что такое начальническая ответственность. Я руковожу девушкой! Я, молодой инженер, учу и воспитываю мне подчиненного молодого техника! А мы, кстати, не сказали сегодня друг другу до двенадцати часов почти ни единого слова. У сказал, чтобы я сам нашел Инге какую-нибудь работу. Он легко это делает: свалил всю ответственность с большой головы на здоровую. У нас сейчас в лаборатории мало работы. Мы закончили в первом квартале последнюю тему, и план за нами не поспевает. У нас поэтому получается перерыв, и вообще говорят, что будет перелом в нашей тематике. Начальник отдела, оказывается, сам хотел, чтобы нас с Ингой — вдвоем — выделили в особую группу. А У здесь был ни при чем. Они все время что-то там затевают. План, конечно, составлен на весь год, на научной основе. Но остальные сроки еще далеко. А У говорит, что кто-то чего-то нам не дает. Мне кажется, что план на нашу группу занижен. У всегда жалуется, когда приходит начальник отдела, что мы от работы «горим» и у нас с темой «горячка» — он широким жестом показывает на наши склоненные спины, а мы, конечно, молчим, а иногда, если нас спросят, поддакиваем, — и начальник действительно может подумать, что мы не справляемся.

А Инге я дал работу — демонтировать старые схемы. У нас часто бывает так, что мы, собрав схему и получив результаты, забрасываем макеты за шкаф, где они потом вместе с нужными нам деталями месяцами валяются. Это своего рода «кладбище». Иногда

отпаяешь там себе какой-нибудь трансформатор, который сейчас нужен, и снова руки не доходят. А Инга меня утром попросила: «Давайте мне работу». Наверное, это Лида сказала ей, что я буду начальник. Самого У она, я видел, стеснялась. Я же еще не знал тогда, что ей дать. Они с Лидой полчаса между собой поговорили, а потом Инга опять подошла и встала у меня над душой: «Так дайте же мне работу». Я тоже решил про себя, что буду говорить ей «вы». Я почему-то не чувствовал сейчас никакого внутреннего удовлетворения от этого «вы». Я уже знал, что дам ей демонтировать схемы. Я молча полез за шкаф, а она опять — и теперь нетерпеливо — спросила: «Вы дадите или не дадите наконец мне работу?» Они опять о чем-то с Лидой пошептались. Я вытащил каркас и выложил его на стол: «Пожалуйста». Мы решили Лиду отодвинуть немного к окну, и Инга села за наш общий стол между нами. Она мне сказала: «Хорошо». Она включила паяльник, и опять, пока он, щелкая, стал прогреваться, они с Лидой о чем-то поговорили.

Я видел, что Лида от меня отдалилась. Ей, конечно, и раньше было со мной не очень-то интересно, но просто раньше я был рядом с нею один. Тогда, как говорится, ей выбирать не приходилось — дареному коню в зубы не смотрят. А теперь, чуть только пришла Инга и с ней стало поинтересней, Лида про меня сразу забыла. Дело дошло до того, что, когда Инга куда-то вышла и я достал, как всегда, свой дневник, Лида сказала:

— Гера, вы знаете... Я-то вас знаю... А вот Инга у нас человек новый. Она не понимает, что вы здесь пишете. Она может про вас что-то подумать. Да и вообще... Вы понимаете, какой вы даете пример? Может быть, Гера, вам не надо больше писать?

Я видел, какое непрочное оказалось здесь наше «ты». Лида мне сразу чуть-чуть разонравилась. Рядом с ней села какая-то девчонка, с которой она может теперь разговаривать, и она уже дает мне советы и говорит мне опять «вы», делая вид, что мы с ней чуть ли совсем незнакомы. Мне стало обидно.

— Лида, — сказал я. — Оставьте меня в покое. Пусть это будет мое личное дело.

— Но все-таки, Гера, — сказала она, — я вам просто советую. Вы при ней не пишете...

Я снова подумал, как быстро, прямо-таки на глазах, меняются люди. И кажется, из-за чего бы им так быстро меняться? Я подумал, что Лида права. Что может подумать про меня эта новая Инга? Сейчас она вышла на склад. И потом я мало с ней разговаривал. Ведь сегодня 8 марта! Я все больше работал, а потом увидел, что Инга испортила один конденсатор. Он был электролитический, очень маленький, а она так прогрела его паяльником, что он лопнул, и

даже снаружи по корпусу у него пошли пузыри. Я не мог здесь стерпеть. Я увидел, что мне надо вмешаться. «Инга, — сказал я, — прогревайте детали поосторожнее. Они ведь у нас миниатюрные». А она мне сказала: «Хорошо, хорошо, Гера. Я слушаюсь». И снова потом я увидел, что у нее лопнул другой конденсатор и она, кроме того, пережгла одну тороидальную катушку. Я ей сказал: «Инга...» А она меня перебила: «Я слушаюсь, слушаюсь...» И они с Лидой потом переглянулись. Мне стало даже неприятно! А Лида на меня взглянула и, чуть улыбнувшись, сказала: «Ну, Гера, что вы сегодня напишете?» Инга не знала, конечно, куда это я напишу и что напишу. И Лида тоже ей ничего не сказала. Но она — рядом с Ингой — сказала так, что все-таки та могла догадаться. Я опять подумал, что женщинам ничего нельзя доверять. Инга на меня посмотрела. У нее так и светилось в глазах: что это я напишу? — и они, глаза, кажется, даже чуть-чуть посветлели. Может быть, потому, что я в это время сердился на Лиду, Инга мне впервые понравилась. А я сказал Лиде: «Вот, я уже написал». И протянул ей открытку (акварель Поленова), где у меня на обороте были написаны для нее поздравительные стихи. Все мужчины в нашем отделе собрали деньги, чтобы купить подарки для женщин, а я, в своей комнате, кроме того, хотел сделать подарок отдельно. Я им купил конфеты «Ромашка».

Лида прочла, и ей, я видел, стало приятно. Ну еще бы! Это ведь были неплохие стихи:

«Я смущен.

Как мне говорить о Лиде?

Остается лишь следовать ее примеру.

Потому что здесь

Перед собою мы видим

Образец

Современной женщины — инженера!»

Я подумал, что я все-таки ловко вывернулся. И Лида, покраснев, перечитала мои стихи много раз. «Да вы еще поэт, Гера», — сказала она. Я видел, что она на меня несколько не сердится. «О, женщина!» — подумал я. Инга встала и тоже, нагнувшись, стала читать у Лиды через плечо. Потом она поглядела на меня с любопытством. Это неплохо, подумал я! Глаза у нее были такие черные, что казались чуть-чуть ненормальными. И вообще, когда она сидела около меня, она все больше мне нравилась. Тогда-то я и вынул свои конфеты. Они стали есть «Ромашку», и — это, конечно, банально! — только тогда Инга заулыбалась и стала говорить опять сначала с Лидой, а потом спросила что-то меня: где я учился и с кем сейчас дома живу, и еще спросила, женат ли я, — я сказал: не женат, и

сказал: не собираюсь, — а она засмеялась, и вот после этой ее улыбки я заметил, что, насколько черными были у нее глаза и волосы, настолько белыми были у нее зубы; я сразу подумал, что я хочу, чтобы Инга улыбнулась еще. И я увидел тогда, что не все в ней плохо, а есть и хорошее.

Я стал тогда, мне кажется, не очень удачно острить, и они теперь обе жевали эти конфеты и улыбались, а потом Лида сказала, что сейчас праздник и это все хорошо, но нам не хватает сейчас вина: надо было кому-нибудь догадаться и купить бутылку шампанского. Я сказал, что сегодня уже ничего не выйдет, но зато мы сделаем так к 1 Мая. «Мы поручаем это вам, — сказала Инга, — вы, как мужчина, не забудьте про вино». Я сказал, что не забуду, и мне стало очень тепло на душе, что у нас такая хорошая подобралась лаборатория. И Инга сейчас, я видел, сказала эти слова только для меня лично, как будто бы мы были старые знакомые. Мне было это приятно. Я все больше глядел теперь на нее.

Потом мы опять работали. Мы работали хорошо, совсем не отвлекаясь. Я попробовал было давать Инге указания, но она мне сказала: «Я знаю, Гера. Я разберусь». И я после этого стал говорить с ней очень мягко. Вообще, говорят, с женщинами надо обращаться мягко. Я даже не знал, что мне еще можно сказать. Я понял, как трудно быть начальником. Главное, оказывается, сделать так, чтобы тебя слушали! Инга, правда, опять пережгла конденсатор типа БМ. Наш У, как обычно, отсутствовал. Мы потушили верхний свет и зажгли настольные лампы. В комнате стало очень уютно. Потом наши девушки опять между собой говорили. У, наверное, как всегда, сидел у начальства или же ходил со своими друзьями-руководителями по коридору. Девушки разговаривали. Я подумал, что надо им что-то сказать. «Хватит, Лида, — сказал я. Я сознательно обратился именно к ней. — Работайте...» А они, хотя и взялись за паяльники, обе вдруг засмеялись. Я про себя покраснел и чуть-чуть стал жалеть, что это сказал. Я так и не знал, слушается меня Инга, как моя подчиненная, или не слушается.

*13 марта*

Эта Инга ни минуты не может посидеть без работы. Может быть, она, как все новички, в первый месяц особенно старается. Под ее руками буквально все — в прямом, к сожалению, смысле — горит. Она меня теперь вежливо каждое утро просит: «Гера, дайте мне, пожалуйста, какую-нибудь работу». Я, конечно, по мере возможности ей что-то даю. Она же не виновата, что у нас сейчас такое критическое положение с планом. Она уже распаяла все старые макеты и вытерла пыль на стеллажах. Она вчера навела порядок в нашей кассе,

где лежат расписанные по величинам конденсаторы и сопротивления. А я не знаю, какую мне еще ей придумать работу. У мне самому ничего не дает сейчас. Это для меня тем больнее, что я сегодня поймал себя на том, что как-то невольно хочу Инге понравиться!

Скоро весна! Воздух на улице уже свежий! Я хожу по лаборатории взад-вперед, выискивая для Инги работу, а она, мне кажется, глядит на меня все больше со злостью, и в ней, наверное, внутри что-то против меня накипает. Я понимаю, что действительно плохо чувствуешь себя иногда без работы. Но разве не может она потерпеть? Разве я виноват? Чем больше я даю ей всякие мелочи — совсем почти бессмысленные поручения — тем больше, я чувствую, она сердится. Я не знаю, что из этого выйдет. У, мне кажется, все делает против меня нарочно. Я не пойму, почему он на меня обращает теперь так мало внимания. Я все сейчас делаю сам. Вот, Инга пришла со склада и опять увидела, что я что-то пишу. Ну, ладно...

*15 марта*

Я не знаю, полюбит ли она меня когда-нибудь. В конце концов я всего инженер, просто молодой специалист. Странные какие-то мысли приходят мне в голову. Почему я вдруг об этом подумал? Ведь она мне не очень и нравится. Я впервые произнес здесь слово «полюбит». Что у трезвого на уме, то, говорят, у пьяного на языке. Я хочу делать ей только хорошее, я достаю ей приборы и детали, все сам устанавливаю и подключаю. Я подготавливаю для нее, так сказать, «фронт работ». Я сам составил ей схему и дал ей задание. Она теперь сидит и паяет. И все-таки, я чувствую, она чем-то недовольна. Начальник, наверное, должен быть строгим. Чем больше о человеке заботаешься, тем больше он начинает требовать и распускаться. И главное, ко всему привыкает! Главное, привыкает к хорошему! Она сейчас почти совсем не обращает на меня внимания. Она видит, что я что-то пишу. Ну да ладно... Мне тоже теперь все равно.

*20 марта*

Она пожаловалась на меня У. Даже Лида возмутилась и, кажется, стала за меня заступаться. Инга могла сказать только одно: я не даю ей работы. Толстый У выслушал все спокойно, а потом фактически ее от меня отобрал, так что кончились две недели моего «самовластия». У, кажется, совсем не волнуется. Он сам дал Инге «работу» — что-то писать — и посадил ее за свой стол.

Я теперь абсолютно спокоен. Мне ничего не надо больше ей давать и показывать, выслушивая потом замечания: «Я слушаюсь, Гера, слушаюсь...» Теперь я могу подумать о самом себе. Лида сказала, что сегодня, пока меня не было, к нам заходил начальник



отдела. Он поинтересовался, как работает наша с Ингой «отдельная» группа. Марк Львович сказал, что я не справляюсь и не умею хорошо объяснять. Он сказал, что на время решил нас «разъединить». Лида сказала, что они оба при этом ехидно засмеялись. Я не могу об этом думать спокойно.

23 марта

Лида попросила у меня мой дневник. Она прочла и сказала, что я опять забываюсь и местами называю, как она выразилась, всех «действующих лиц» своими именами. Про нее-то, она сказала, уж ладно: я могу писать про нее так, как она есть. Но вот вчера я снова написал вместо буквы У — Марк Львович. Я вычеркиваю сейчас (вы это видите) все собственные имена, которые у меня «в тексте» прежде встречались. Я думаю, что и для Инги надо придумать какое-нибудь условное, обобщающее женское имя, например Елена Прекрасная. Я когда-то давно, еще в школе, читал «Мифы Древней Греции». Я думал много об Инге. У меня с ее именем тоже связаны в душе различные ассоциации. Я, когда ее вспоминаю, почти забываю все остальное, о чем только что думал. У меня есть приятель, который говорит, что, чтобы завоевать женщину, надо хорошо одеваться. Он ходит всегда начищенный и отглаженный, костюм на нем сидит как на манекене. Особое внимание, он говорит, надо уделять задникам у ботинок. Про задники обычно всегда забываешь, когда спешишь на свидание, но именно их обязательно надо почистить: ведь женщины со своим чутьем все замечают. Он имеет, я бы сказал, определенный успех. Но мне неприятно само это слово: «завоевать». Почему не сказать здесь слово «любовь», «поллюбить»? Ведь мы не древние какие-нибудь пещерные жители, которые ходят с дубинами в руках и из-за женщин колотят друг друга по головам. Мне гораздо ближе — по духу, по настроению — мой второй приятель. Мы учились с ним еще в школе. Он говорит, что только тогда знает про себя, любит он девушку или не любит, когда у него от одного ее имени, которое он вслух или в уме произносит, почти невольно сами собой начинают навертываться слезы. Я лично считаю, что это крайность. Он, кстати, не очень по-моему счастлив, и девушки его быстро бросают. Мне кажется, он любит при этом не столько их, сколько самого себя. А они это чувствуют. Меня однажды почти поразило, когда он сказал — он, правда, был убит горем после очередной такой (навечно!) разлуки — что он недавно стал всех своих девушек называть в душе (и Нину, и Леру, и Аллу и т. д.!) одним только именем: Тамара (именем, он сказал, «своей первой любви»). А у меня, конечно, тоже есть в отношении женщин самостоятельные взгляды и принципы. Я, например, думаю, что мне надо сейчас на Ингу побольше

«глядеть». Я даже понял, что мне, наверное, пока я был ее начальником, вообще ничего не удалось бы добиться. В этом смысле, может быть, мне повезло, хотя У и подложил мне свинью. Я думаю, что на девушек надо больше «глядеть». Если Инга увидит мои глаза, которые я — молча — устремлю на нее, то она, конечно, задумается: «А что это значит?» Говорят еще, что и мысли иногда передаются на расстоянии. Я все больше гляжу сейчас на Ингу. Я уже три дня с ней вообще не разговариваю, потому что мне было неприятно, что она на меня пожаловалась...

*24 марта*

Мне сегодня весело. Это, конечно, смешно, но Инга чувствует, что я на нее все время гляжу. Ха-ха!..

*26 марта*

Лида сегодня сказала: «Инга, зачем ты вообще говорила с Марк Львовичем? Ты что, хочешь с ним поближе познакомиться? Разве ты не знаешь, что с начальниками всякие такие отношения будут очень двусмысленны? И потом, ты говорила через голову Геры. Ведь он все-таки был твой непосредственный начальник. А ты жаловалась, что у тебя нет работы, минуя его, и говорила прямо с «высоким» начальством, — получилось, что он виноват».

Инга сказала: «А мне все равно, кому говорить. Я только вижу, что у вас непорядок. НИИ — это не то, что было у нас на заводе. Там идет план и идет конвейер. Вы тут только очковтирательством занимаетесь да получаете свою зарплату».

А Лида сказала: «План у нас тоже есть, и не ты его составляешь. Мы его всегда выполняли и работаем как умеем. А ходить жаловаться в первый же день, как ты пошла, это нехорошо. Ты еще, может быть, не знаешь всех наших порядков. Ты знаешь, например, что Марк Львович жаловался на Геру в комсомольский патруль? А ты вот, не зная, подливаешь масла в огонь!»

Инга сказала: «Я не знала. Что же вы мне раньше ничего не сказали?»

А Лида сказала: «Его обвинили в том, что он будто бы уносит с работы детали. Но это Марк Львович выдумал. (Тут Лида улыбнулась.) Наш Гера не радиолобитель. Он у нас, скорее...» И тут она больше ничего не сказала. А Инга, я видел, на меня поглядела. А потом Инга сказала: «Он у нас, скорее, поэт?»

И потом несколько раз в течение дня, я замечал, Инга на меня внимательно поглядела. Я сразу подумал: «А может быть, она уже начинает в меня понемногу влюбляться?» Я видел, что, когда я работал, она на меня глядела. И когда я говорил про свою схему с Лидой,

она тоже глядела. И когда потом Лида попросила у меня дневник почитать, Инга тоже подошла и, как всегда, захотела посмотреть у Лиды через плечо, но Лида сразу закрыла все, и Инга только увидела, что у нее в руках какая-то тетрадка. И она спросила: «Это что?» Но Лида ей ничего не сказала и отдала дневник мне. И потом, я уверен, она Инге тоже ничего не сказала. И Инга сама меня спросила: «Чем это вы занимаетесь?» А я, конечно, ничего не мог ей сказать. Ведь про нее здесь столько написано!

Я молча стал снова работать, и она чуть-чуть, по-моему, обиделась, но потом она до самого обеда на меня почти каждые пять минут непрерывно глядела. И я тоже, как и раньше, хотя и не так часто, как она, на нее глядел. И я видел, что она сначала смотрела на меня с любопытством. А потом, я видел, она смотрела на меня с интересом. А потом — мне даже стало чуть-чуть неудобно — у нее глаза, я заметил, стали печальные. Они стали чуть влажные и потому поблескивали, и были не слишком черные. Я, увидев, как она теперь стала смотреть, смутился и опустил глаза. Мы все это время молчали! И она, когда я посмотрел в следующий раз, тоже, я увидел, сама опустила глаза. И от этого мне стало совсем грустно. Я уже был недоволен, что так стал себя вести. Ну зачем я стал на нее «глядеть»? И я тогда постарался больше на нее не глядеть, но она, я краем глаза видел, все время глядела. Я все время думал о ней. Это невероятно, но это факт: я подумал, что она на меня смотрит с любовью. А когда встала, у меня вдруг вздрогнуло сердце. Я уже не глядел и не разговаривал с нею. А Инга подошла и спросила: «Дай мне паяльник». Она сказала, во-первых, мне «ты». А во-вторых, я знал, у нее есть свой хороший паяльник. Я чуть было не спросил, зачем он ей нужен, но вовремя спохватился. Я сказал: «Пожалуйста, вот тебе мой паяльник». А она, поняв, что я медлю, объяснила: «Мой чуть-чуть обгорел». Мне было приятно, что она видит, как я волнуюсь. И хотя она больше ничего не сказала и мы потом молча работали, я был счастлив. У меня, я заметил, глаза тоже стали печальные. И потом вдруг я впервые подумал: «А что, если у меня будет такая жена?»

*28 марта*

Она по-прежнему видит, что я иногда что-то пишу. Я вижу, что от этого она становится беспокойной. Мне не хочется думать, что это просто женское любопытство. Сегодня я долго говорил с Лидой про свою схему, а в конце что-то смешное очень удачно сказал, и Лида от души рассмеялась. Так вот Инга — я видел — Инга на меня так посмотрела, что у меня пропала всякая охота смеяться. По-моему, плохо, что мы работаем вместе и видим друг друга каждый день. Это

женатым людям, наверное, вроде Лиды было бы приятно работать с мужем в одной лаборатории. А я хочу не видеть Ингу, скажем, два дня, чтобы выдумать больше о ней, а потом снова увидеть. Мне самому было бы так, наверное, приятнее. Я увидел, что она на меня посмотрела очень печально. Я понял, что мне надо себя перед нею как-то особо вести. Я даже не думаю, что она ревнует меня к Лиде. А все-таки ей неприятно, когда я говорю что-то смешное и Лиди — одна — смеется. Наверное, мне надо говорить смешное для всех? А тут еще этот дневник, который я так некстати пишу. Инга видит, что я от нее что-то скрываю. А я сам хочу перед нею быть честным. Я вижу, что сейчас все больше пишу про Ингу. Мне уже не хочется давать дневник читать Лиде. Я думаю, что скоро унесу его домой. Да и вообще: нехорошо писать на работе.

*30 марта*

Я вчера пригласил Ингу в кино. Как только я начал для нее что-то делать, я почувствовал в себе внутреннюю неловкость. Я даже перестаю иногда понимать, правильно ли я делаю то, что нужно. Я иногда хочу от всего отказаться. В то же время я чувствую, что не могу сойти с избранного пути. Обстоятельства волей-неволей меня ведут и подталкивают. Мне почему-то было неприятно скрывать перед Лидой свои отношения с Ингой. Ведь я хотел перед нею быть честным!

В конце дня, когда все были в сборе — и Лиди, и У сидели на своих местах, — я подошел к Инге и сказал ей вслух, что приглашаю ее сегодня после работы в кино. Инга сразу покраснела и улынулась как-то загадочно. Лиди спросила: «Что же вы пойдете смотреть?» Даже наш У, кажется, оглянулся и подмигнул мне со своего места. А Инге, я видел, это было, с одной стороны, приятно, но в чем-то было и неприятно. И она мне сразу так весело сказала: «Ну, что ты, Гера. Я сегодня занята. Я иду в театр». Я очень огорчился. Ну, в театр так в театр! «А можно мне тебя чуть-чуть проводить?» — спросил я еще. Инга ничего не сказала. Она взяла паяльник и стала работать. И Лиди тоже работала. Лиди делала вид, как будто ничего не слышала и я вообще ничего не сказал. Я подумал, что я сам решу все, когда прозвонит звонок. А после звонка Инга сразу собралась и быстро-быстро пошла домой. Я тоже пошел за нею сзади. Я думал, что мне надо будет взять ее сейчас за руку и по пути сказать что-нибудь веселое и остроумное. Как только я вышел в коридор, я увидел, что из всех комнат тоже выходят люди. Из лабораторий, из библиотеки, из других отделов, с других этажей — они все шли мимо меня. Многие мне были уже знакомы. Я иногда кивал им головой. Они шли сзади и спереди, и мне казалось, что все на меня глядят со

всех сторон и тоже кивают мне головами. Я иногда не знал, правильно я кивнул или неправильно: тому человеку, какому надо, или — по ошибке — другому. Я почему-то не взял Ингу за руку. Я пошел с нею рядом, и так мы спустились по лестнице, а на дворе народу стало еще больше: там уже шли люди из других служб и цехов, со вспомогательного склада, из мастерских, из гаража. И тут я увидел, что Инге стало неприятно, что я с ней рядом иду. Она мне ничего не сказала, а только молча ускорила шаг и затерялась в толпе. Ну что ж, я так и думал! Я так и знал, что иногда бывают у женщин свои собственные причуды! Я тоже ускорил шаг, чтобы не потерять ее из виду. Мне даже пришлось кого-то толкнуть. Я протискивался через людей, уже не разбирая, кто мне знакомый а кто — незнакомый. Станным образом я видел, что все знакомые из этой толпы на меня глядели. Я даже старался поменьше толкаться, чтобы не очень сильно привлекать к себе их внимание. Я пошел через третью дверь, где было поменьше народу, и меня пропустили через вертушку. Я оглянулся несколько раз по сторонам. И только на улице, когда я вышел из проходной, я снова увидел Ингу. Она ушла уже далеко.

Я снова догнал ее и опять пошел рядом. И Инга, обернувшись, мне что-то сказала. Кажется, она улыбнулась и сказала: «Какой ты настойчивый». Я понял сразу из ее слов, что ей нравится такая моя настойчивость. Я ей тоже что-то сказал. Я взял ее под руку, и мы очень хорошо пошли потом с нею по улице. А потом Инга сказала: «Пойдем в кино». — «А как же театр?» — спросил я. «Ну ладно, — сказала она. — Не пойду я сегодня в театр». — «А билеты?» — спросил я, еще не успев свыкнуться с мыслью, что то, чего я сегодня хотел, вдруг совсем неожиданно снова сбывается. «А они у меня еще не куплены», — сказала Инга. Я задумался. И мы оба пошли в кино! Я, правда, немного смутился. В кино я чувствовал себя прекрасно. Особенно, когда погас свет. Я не думал, что мне можно поцеловать Ингу. Но я погладил ее правую руку: пальцы и немного ладонь. И ей, я это понял, было приятно. Я тоже был счастлив. А сегодня, когда в лаборатории я остался совсем один, я подошел к нашему зеркалу. Мы все недавно (кроме Марк Львовича) сложились, по инициативе Лиды, и купили себе на шкаф квадратное зеркало, чтобы перед уходом домой — и вообще — можно было в него глядеться. Лида, кстати, сказала, что оно нужно ей здесь для того, чтобы она и на работе могла чувствовать себя женщиной. И вот я подошел к этому зеркалу, и, зная, что я совершенно один, я спросил себя: «Ну, как? Как дела?» И ответил: «Ничего дела. Хорошо!» И снова, от радости, я спросил себя самого: «Ну как? Ты сейчас счастлив?» И сам себе ответил: «Да. Я сейчас счастлив». И у меня, я почувствовал,

сердце вздрогнуло сильнее. «Это все Инга, — подумал я. — Все она...» Я знал уже про себя, что я сейчас счастлив. Я подумал, что я люблю Ингу. И тогда, совсем вроде как дурачок, я снова спросил себя в зеркало опять то же самое: «Ну как? Как дела?» А в это время в дверь вошел У и посмотрел прямо на меня. Он спросил: «Ну как, Гера? Как ваши дела?..»

Фу-у, если бы вы знали, как мне после этого стало противно!

*2 апреля*

Я сейчас не в себе. Вы этого не замечаете? Я возбужден, взволнован, растерян, расстроен и пр., и пр. Что я пишу? Вы и этого не замечаете? Во-первых, я не пишу, а «заполняю». Да, заполняю! А вторых, это уже не дневник, как до сих пор всегда было прежде и как вы, наверное, тоже привыкли думать, а «официальный документ» нашего НИИ! На каждой странице стоит у меня сейчас — как это ни странно мне видеть — чернильный штамп: «НИИ, абонементный ящик №...»

Когда я сегодня утром на работе снова вынул дневник, Инга подошла и спросила: «Гера, ты мне не скажешь, что ты здесь пишешь? Уж мне-то, я думаю, ты можешь сказать? От меня ведь никто ничего не узнает». Я очень расстроился. С одной стороны, я хотел говорить ей все. Я не хотел, чтобы у меня от нее были какие-то тайны. С другой стороны, я просто не мог дать ей ничего прочитать, потому что там было написано много всяких вещей про нее. Я очень расстроился, и Инга это увидела. Она еще более ласково меня попрощала: «Ну, Гера, покажи, покажи...» Мне стало очень приятно, что она обращается ко мне так, как будто бы мы с ней уже были очень близки, и она, очевидно, дает мне понять, что я для нее что-то значу, да я и сам уже теперь это вижу и понемногу так думаю. Но я не знал, что ей ответить. Я просто не мог ничего ей показать. И тогда Лида, которая до сих пор сидела за своей схемой молча, как робот, сказала: «Ну что ты, Инга! Я же тебе говорила, что он воюет с начальством. У него там записано, в какие дни наш Марк Львович плохо работает. Сколько часов он ходит по коридору и сколько минут разговаривает со своими родственниками по телефону в рабочее время...» — «Да?» — сказала Инга и поглядела на меня с какой-то надеждой. А Лида сказала: «Надо бы вам, Гера, все-таки унести эти записки домой. А вдруг их здесь найдут? Вдруг сам Марк Львович догадается?..» Я понял, что Лида мне помогла. Я сказал, что я сегодня же унесу тетрадку домой. «Вот и хорошо... — сказала Лида. — Только я слышала, что сегодня в проходной будут всех проверять. Спрячьте вашу тетрадку получше или, еще лучше, оставьте ее здесь до завтра...» А Инга сказала: «Ну, что же?.. Вы оба, наверное,

забыли, что сегодня первое апреля?» А Лида сказала: «Нет, сегодня уже второе апреля!» И мне после таких разговоров стало на душе неприятно.

Если бы все это было шуткой! Зачем я начал что-то писать? Зачем я вообще в это дело ввязался? Инга поглядела на меня, кажется, как на современного героя. И дальше, когда развернулись события, она вела себя по-геройски. «Хорошо, — сказала она. — Я пойду с ним и буду его прикрывать...» Лида засмеялась. И я забыл, что мне сказала Лида. Но все-таки, наверное, в этом была моя ошибка. Вечером, когда мы уходили, я спрятал дневник под пальто. А ведь я знал, что обычно с «общими» тетрадами в руках у нас никого не задерживают. Тетрадь из-под пальто чуть-чуть выпирала, но я думал, что это не важно. Я спокойно вошел в проходную. А тут еще Инга шла рядом! Я, кажется, думал больше о ней, чем про дневник. Она шла впереди и действительно меня прикрывала.

А вертушки у нас в проходной устроены так, что охранница, чтобы пропустить человека, должна нажать на педаль. Инга показала свой пропуск и спокойно прошла. А потом эта толстая старуха в зеленой шинели и с пистолетом на своем круглом боку сказала мне: «Стой». Сзади все на меня напирало и все кричали: «Пропустите, чего он стоит, нас-то выпустите!» Старуха успела поругаться с ними («Не ваше дело! Вы идете домой, а мы на работе!» и т. д.), а потом она взяла мой пропуск и медленно прочла его, а потом отдала начальнику, который тоже стоял сбоку в сторонке — тоже со своим пистолетом — и молча на все глядел. Я тогда спросил: «Что вы делаете?» А она, эта бабка, залезла мне рукой под пальто и стала меня ощупывать, а потом грубо спросила: «А что у тебя там?»

Я невольно подумал, что все потеряно. Мне стало страшно. У меня закружилась голова. А дальше мне уже совсем некогда было думать. Инга стояла и ждала меня на свободе, а я никак не мог выйти из вертушки, потому что старуха нащупала теперь мою тетрадь и тащила ее к себе, и вдруг Инга — вот молодец! — подбежала сбоку к старухе и нажала на эту педаль. Я почувствовал, что вертушка открылась, и невольно, хотя в глубине души сам не хотел этого делать, побежал вперед. Инга тоже бежала. Она уже добежала до двери. Она на мгновение остановилась, полуобернувшись ко мне, и я снова увидел, какая она черная и красивая. А меня сразу схватили. Я мысленно отметил, что так оно и должно было быть. «Да, — подумал я. — На воре шапка горит. Кто бежит, сам должен быть во всем виноват». И я снова подумал: «Да. Теперь все потеряно».

А Инга сразу переменялась в лице, я видел. Мне еще, помню, было обидно, что меня поймал не охранник, а держали свои, такие

же как я, инженеры — простые рабочие люди. «Лови!» — крикнул я Инге и, извернувшись, как баскетболист, кинул ей прямо в руки свою тетрадь. Тетрадь полетела не раскрываясь, как диск. Она еще могла, я знал, на лету развернуться и тогда, потеряв скорость, упала бы на пол. Но нет, тетрадь полетела хорошо! «Мне просто везет», — подумал я. А Инга, протянув руку, схватила ее как молнию. «Беги!» — крикнул я ей, и она побежала. И тут я увидел, что Ингу тоже схватили. . .

Мне, признаюсь, стало тяжело здесь писать. До сих пор я, практически, переживал все события лишь за себя самого. Я даже не думал, что будет потом, если тетрадку возьмут, раскроют и станут читать. Я чувствовал немного, что мне становится стыдно. А тут я увидел, что Ингу тоже держат! Правда, это были какие-то молодые ребята, и они — как девушку — держали ее довольно мягко и нежно (другой бы на моем месте им позавидовал), и они, глядя ей прямо в лицо, между собой улыбались. Я тогда понял, что мне надо сделать, чтобы ее отпустили. «Это моя тетрадь», — сказал я. — «Отдайте ее мне». А она не отдала и по-прежнему прижимала ее к груди. Я еще больше увидел, какая Инга сейчас красивая. Мне стало стыдно перед нею, что я впутал ее в это дело. А каким я показал себя вообще? Она, я видел, совсем покраснелась. «Бросай на пол!» — крикнул я потом, потому что увидел, что сам начальник караула идет туда. Она это тоже увидела. Она бросила тетрадку на пол, и ребята — смеясь — ее отпустили. Охранник вышел за нею на улицу и пробыл там довольно долго. Потом он вернулся один. Я понял, что Инга от него убежала. «Что, старик, вздумал за молодыми побеждать?» — шутили ребята. . .

Меня отвели в комнату для охраны и там стали спрашивать. Меня спросили, почему я бежал. Я сказал, что хотел успеть на сеанс в кино. Тогда меня спросили: «А это что за тетрадка?» Я сказал, что это мой личный дневник. «А кто эта девушка?» Я сказал: «Не знаю». Они меня спросили: «А почему она тоже бежала?» Я сказал, что она, наверное, тоже хотела успеть в кино. «Ну, ладно, ты мне брось эти штучки», — сказал начальник охраны. А я чувствовал себя почти как герой. И тут, я заметил, в нем началась борьба мнений. С одной стороны, он увидел, что на пропуске и как я есть в действительности у меня одно и то же лицо. Они записали мои имя и фамилию. И я, конечно, хотя мне было неприятно, что они говорят мне «ты», смолчал. Они также видели, что в тетрадке действительно нет никаких чертежей, нет даже цифр, а там — под датами — написано все от руки: материал не печатный. С другой стороны, они не поняли, почему я бежал. А кто была эта девушка? Она здесь работает или не работает? Старик взял мой дневник и начал читать. Они



прочли там про Ингу. Потом он спросил: «А что значит вот этот Y?» Я сказал, что это мой личный условный знак, вроде как стенографическое сокращение, которым я — тут я улыбнулся — в дневнике называю своего товарища. Мне сказали: «Зачем же вы носите ваши личные вещи на работу?» Я не знал, что им ответить. И они, я видел, тоже не знали, что им со мной делать. «Ну, ладно, — сказал мне начальник. — Мы вас сегодня отпустим. Но все-таки мы запишем эту тетрадку за вами...» И они, взяв чернильную подушечку, на каждой странице поставили штемпель НИИ и потом, написав дату в углу, мой дневник занесли в какую-то книгу и занумеровали. Это была, я увидел, «Книга выдачи официальных документов из проходной». Мой дневник получил триста семьдесят восьмой номер! Они мне сказали: «Берите». И я взял! Потом я расписался в получении. Потом меня отпустили...

Я все это время чувствую себя очень неловко. Я уже понимаю, что на сегодня, кажется, мои волнения кончились. Я пришел домой и подумал, что дневник надо сжечь. Так он мне надоел и столько доставил невзгод! Я уже сунул его в печку и, разгоряченный, поджег с одного угла, но тут — о, боже! — молнией прошла у меня в уме мысль, что с меня теперь, наверное, потребуют за этот дневник такой же отчетности и ответственности, как за любой другой рабочий документ, — и я к тому же еще расписался... Я быстро загасил огонь. Да, дневник мой, а я не могу его сжечь! У меня голова пошла кругом от этой мысли и вообще от всех этих волнений. Я чуть-чуть испугался. А вдруг они меня теперь спросят, почему тут обожжен уголок? Ведь это тоже какая-то порча имущества?.. Я даже не знал, можно ли мне что-то еще сюда сегодня писать. Я сел писать на новой чистой странице, но и там, я увидел, хотя там еще ни строчки не было прежде написано, стоял уже фиолетовый штамп. «Вот это да... — подумал я. — Старик, видно, перестарался». И вот тогда мне впервые за весь этот день стало немного смешно. Я вздохнул полной грудью. «Вот тебе и второе апреля!» — подумал я. Я не знаю теперь, чем все это кончится. А что подумала Инга?

*3 апреля*

Я снова принес дневник на работу. Я запрятал его сегодня в брюки, и никто не заметил. Это всегда так! На работу можно внести что угодно, зато выносить можно лишь по бумажке, а без бумажки — только личные носильные вещи. Я подумал, что они все равно рано или поздно потребуют от меня этот дневник. Даже больше того! Я решил, что мне надо бороться! Они будут читать самые сокровенные мои мысли, подумал я, которые я никогда не хотел никому, кроме Лиды, показывать. Я решил, что нарочно не буду туда

больше писать про себя, а буду указывать только на одни недостатки, которые существуют в нашем отделе. И тогда, я думаю, про эти недостатки они прочтут и вынесут их на обсуждение на общем профсоюзном, партийном и комсомольском собрании, как это бывает всегда. А может быть, как раз и не вынесут. Но если не вынесут, т. е. они побоятся, то я сам потребую их обсуждения. И самый главный недостаток, который я сейчас у нас вижу, это то, что в нашей группе сейчас нет работы. В этом, конечно, сказывается плохое планирование. Мы с Ингой, как вы помните, из-за этого вначале чуть не рассорились. Я даже уже не хочу быть больше начальником! А еще мне кажется, что сам Марк Львович у нас намеренно занижает план. (Как видите, про один недостаток я уже написал.) Он говорит, что мы еще молодые, неопытные, что мы не справляемся, а на деле я, например, думаю про себя, что работаю не хуже, чем любой другой инженер, пусть даже он будет старше и у него больше опыта. А Марк Львович начальству втирает очки! Мы потому и работаем с прокладцей. Нам некуда торопиться. Мы можем, я думаю, работать более эффективно и плодотворно! (Пусть они теперь попробуют взять мой дневник. Они прочтут здесь всю правду, и тогда увидят, кто в нашем отделе действительно все понимает. . .)

Инга пришла сегодня довольная и веселая. Она сказала: «Уже весна. Я надела сегодня другое пальто. Вы заметили, как тепло на улице?» Она, действительно, пришла в каком-то желтом осеннем пальто. Она сказала: «Я надела другое пальто, чтобы меня в проходной они не узнали». И, как девочка, засмеялась.

Мы рассказали все Лиде. Лида тоже иногда улыбалась, пока мы ей наперебой говорили, и Инга все никак не могла успокоиться — она рассказывала, как здорово она от них убежала. А потом Лида сказала, что это все очень серьезно. «Вы доиграетесь, Гера, я вижу, со своим дневником. Не шутите с огнем. Вы сегодня опять принесли его сюда?» — спросила она. Я сказал, что принес. Лида сказала: «А вы больше туда ничего не написали?» Я сказал, что чуть-чуть написал. И надеюсь, что еще напишу. Лида сказала: «Покажите мне, пожалуйста, Гера, что вы там написали». И еще она сказала: «Спрячьте его, берегите, и ничего, главное, больше туда не пишите, и никому не показывайте. Ведь вы все-таки на производстве, Гера. Вы уже не студент. Вы же не мальчик». Я сказал, немного колеблясь: «Вы меня простите, Лида... но мне... я не могу дать вам его почитать». И она, я видел, даже совсем на меня не обиделась, так она волновалась. А Инга сказала: «Там действительно написаны всякие разоблачительные вещи про наше начальство?» Я сказал: «Да». И в это время вошел Марк Львович. Он постоял около нас, глядя куда-то в сторону, и увидел, что мы, собравшись в кружок, раз-

говариваем, но ничего не сказал, а просто, кажется, понюхал воздух. Потом он спросил: «Чем это пахнет?» Лида сказала: «Канифолью». Инга хихикнула. Я ничего не сказал. А он подошел ко мне и спросил: «Гера, мне сказали, что на вас записана в проходной какая-то плановая тетрадь с таблицами. Вы не могли бы дать ее мне почитать? Я могу, если хотите, переписать ее на себя. Пусть она числится за мной». Я растерялся, как бывает во сне при неожиданном повороте событий, и не мог двинуть ни рукой, ни ногой. Мои мысли тоже остановились. И тут, краем глаза, я заметил, что Инга на меня смотрит. Она смотрела, я видел, с сожалением, со страхом, с надеждой и даже, кажется, с гордостью, и так напряженно, так упорно, как рыболов, наверное, смотрит на свой поплавок, когда у него клюет. «Ну, все... — подумал я. — Клынула рыбка». Я сказал: «Нет, Марк Львович, она мне сейчас нужна самому». И он тогда сразу ушел.

Лида сказала: «Гера, вы поступили как мужчина». Я тоже чувствовал, что поступил как герой. У меня стало почему-то легко на душе. Инга сказала: «Но что теперь будет? Что же будет?» А через полчаса У снова пришел. Я увидел, что он держит в руке требование на бланке, написанное на его имя. Он сказал: «Вот, Гера, я попросил этот журнал через первый отдел. Можете почитать, проверьте. Теперь-то вы мне его отдадите?» Я покраснел, наверное, как ребенок. Действительно, в требовании было написано, что Марк Львовичу доверяется получить от меня вышеуказанную тетрадь. Инга стояла рядом и опять на меня глядела. Они с Лидой обе затаили дыхание. Уж лучше бы их здесь не было! Я чувствовал, что Инга ждала. Отдам я дневник или не отдам? Я сам не знал, что мне делать. Я впервые сталкивался с такой хорошо оформленной, подготовленной и официальной силой. Я сказал, почти механически повторяя то же самое, что я сказал в первый раз, чувствуя при этом, что, кажется, я совершаю ошибку: «Нет, Марк Львович. Он самому мне нужен». И Марк Львович снова, без единого слова, быстро ушел.

Инга сказала: «Молодец». А я видел, что мне нет никакой радости от ее одобрения. Я даже меньше стал думать в это время о ней. Мои собственные вопросы меня всего теперь занимали. А Лида сказала: «Наверное, Гера, вы поступили правильно. Но мне кажется все-таки, что вы поступили чуть-чуть как ребенок». Инга после таких слов печально на меня посмотрела. Она вообще в последнее время в лице часто менялась. Я тоже посмотрел на нее печально. Мы обменялись взглядами, и у меня на душе стало теплее. Лида сказала: «Вы поступили правильно, Гера, но может быть, вы совершили ошибку?» Я вынул тогда дневник и, совсем не скрываясь перед ними, сел писать. Инга сейчас глядит на меня с уважением. Девушки мне не

мешают. А я почему-то предчувствую, что моя рука в последний раз так быстро скользит по этим страницам...

В тот же день, то есть третьего апреля, в лабораторию, где работает Гера, пришел сам начальник отдела. Он не стал, как Марк Львович, предьявлять никаких справок, не стал высказываться туманно и отвлеченно. Он подошел к Гере и прямо в лицо сказал ему, подставив ладонь: «Давайте». Он даже совсем не повысил голоса и не изменил тона. Оказалось, что у начальника действительно имеется внутренняя убежденность. Гера вытащил из-под вольтметра свой дневник и, заранее чуть смущаясь, то есть, может быть, стыдясь перед Ингой, положил его в ждавшую раскрытую руку. Рука сразу пригнулась, и начальник, очевидно, невольно оценил вес тетрадки. «Пописываете? — сказал он. — Развлекаетесь?» Он еще сказал: «Делать вам нечего? Да еще в рабочее время?..» Гера похолодел. Начальник отдела вышел, больше ничего не сказав, но именно эти его слова, которые показывали, что Гера теперь впал в немилость, смягчили, наверное, отношение к нему Инги. Инга подошла к Гере и тихо-тихо что-то сказала. Потом они оба друг на друга понимающе и долго глядели. Потом она опять ему что-то сказала. И так несколько раз.

*4 апреля*

В этот день по отделу поползли слухи. Как известно, все люди отчасти любопытны. В отделе стали говорить, во-первых, что Гера что-то писал. Во-вторых, стали говорить, что он писал про все только плохое. Он будто бы писал плохое про себя самого, про своего руководителя группы Марка Львовича, про Лиду, а также — про Ингу. Имена, как видно, вполне определенно — с глазу на глаз и из уст в уста — назывались.

В этот день Гера почти не выходил из своей лаборатории. Когда один раз утром — по делу — он прошелся по коридору, он увидел, что буквально все встречные и поперечные его с любопытством разглядывают. Это ему было неприятно. Между тем слухи, которые циркулировали сначала в замкнутом кольце чужих комнат, после обеда проникли, он понял, и в его лабораторию тоже. Они выразили себя в том, что Лида как бы невзначай, копаясь со своим прибором, сказала: «Ах, Гера, если бы вы знали, как это все нам неприятно». Она сказала именно «нам». А Инга, он видел, с дрожащими губами сдерживала слезы и глядела на него приторно и как-то по-женски. Гера понял, что Инга догадывается. Ведь она женщина! Он не знал, что ей стало известно, но он видел, что ей что-то сказали. Гера не стал ничего объяснять, потому что подумал, что объясняться сейчас — это

значит унизить себя. Ведь он не знал за собой ничего плохого! Тогда Инга спросила: «Что ты про меня написал?» — и она, вцепившись пальцами в стол, снова, теперь уже в голос, спросила: «Гера, что ты за человек?» Гера вздрогнул после этих слов и чуть-чуть очнулся от своих собственных мыслей. Он понял, что всё, что пишут и говорят про любимых женщин, отчасти правда. Он понял, что им нужны доказательства. Это не очень приятно, но он теперь с этим согласен. Это необходимо! Гера пожалел, что он никогда не дал Инге прежде прочесть хотя бы кусочек — что он писал про нее. Ведь он писал все только хорошее! Хотя бы кусочек!.. Он, как и Инга, чуть не заплакал и сказал, не глядя Инге в глаза: «А ты мне веришь?» Он сказал как мужчина, который знает, что он все-таки прав, какие бы ни были вокруг него обстоятельства. Лида сидела за своей схемой и молчала. А Инга стояла рядом женственная и покорная и тихо сказала: «Верю». Гера видел, что она сказала так тихо, потому что сама не знает, верит она или не верит. Ему стало больно. И еще он подумал, что дело, наверное, в том, что она хочет верить. А после этого он понял, что он ее любит. У него закружилась голова, и все вокруг замерло, как картина, где люди и вещи остановились по воле автора, а только он один, который все чувствует и понимает, стоит около стенки и смотрит. Он один смотрит! А все другие никто ничего не понимают! Ему одному это важно!

Гера подумал, что не важно сейчас — он не хочет этого знать — как к нему относится Инга. Он подумал, что его собственная любовь — одна — может изменить ему жизнь. Только в глубине души, пожалуй, он решил, что Инге нужны доказательства. Ему было приятно думать, что Инга думает сейчас не только о себе, но ей еще дорого знать то, что же все-таки он про нее написал. Он снова подумал, что надо бороться. Он взял Ингу за руку, и она дала ему руку. Они оба, не глядя друг на друга, стояли, держась за руки, у Лиды за спиной в пустой комнате, а рядом с ними на полу щелкал стабилизатор. И Гера снова смутился. Он, правда, подумал, что скоро, наверное, он уже перестанет смущаться.

*5 апреля*

В этот день Геру загрузили работой. Он догадывался, конечно, почему это случилось. Достаточно высказать начальству хотя бы раз, что ты о нем думаешь, — пусть даже не на собрании, не прямо в лицо, а даже вот так, в «личном» общении, в своем дневнике — и начальство уже, прочитав твой дневник, начинает относиться к тебе по-другому: оно именно «имеет в виду». Самоуверенные люди здесь бы сразу сказали, что «начальство боится». Но это, конечно, не так. Как известно, начальство «ничего не боится». И еще неизвестно,

в каком «виду» оно тебя держит: в хорошем или в плохом. Во всяком случае, есть и такое мнение, что пока с человеком не поругаешься, на тебя вообще не обращают внимания, а когда поругаешься, тебя даже отчасти начинают любить и уважать. «Надо бороться», — сказал сам себе Гера и принял решение. Он, конечно, не представлял себе, как именно надо бороться. А сегодня с утра сам Марк Львович подошел к нему и дал большую работу. Работа была сложная, срочная! Гера понял, что в действие приходят скрытые незаметные производственные пружины и механизмы, которые он, молодой инженер, во-первых, еще совсем не знает, не представляет, а во-вторых, почти сам того не желая, в своем дневнике, может быть, случайно затронул. С одной стороны, ему стало приятно и он почувствовал удовольствие, а с другой стороны — теперь это можно заметить — его лихорадило.

В это серьезное и — как бы сказать получше? — волнительное для него время Гера почувствовал, что работа становится для него прямо-таки отдушиной и в некотором роде убежищем, отдохновением. «Я хочу работать!» — сказал сам себе Гера и с головой ушел в свои электронные схемы. Вот он сидит, вглядываясь в цепи и контуры, набросанные в строгом порядке чуть заметными линиями на синьке. Вот он роется в кассе, подбирая нужные номиналы. Проходит полчаса, а в голове Геры уже созрело решение. Вот он завинчивает панельки, а потом берет свой паяльник и, густо наливая припой, закладывает на макете шину заземления. Проходит еще час, и Гера идет обедать, занятый по уши своими мыслями о работе и не вспоминая больше про то, что на него по-прежнему смотрят. В столовой он съедает суп и компот, ясно чувствуя, как это вкусно, и желудок, отяжелев, тянет его вниз — присесть, отдохнуть, — но кроме этого Гера ясно видит, что базовый провод в пятом каскаде он ошибочно припаял на восьмой лепесток. Не дожидаясь послеобеденного звонка, Гера снова начинает работать. Вот уже и схема готова! Руки у него летают проворно, как крылья! Он проверяет в последний раз главные цепи и вот — тр-рах! — включает стабилизатор. Неоновые лампы горят, как живые, своим сиреневым светом, а стрелка выходного вольтметра медленно — до красной черты — отклоняется. Схема работает! Но нет, еще неизвестно, как она на самом деле работает. Гера выводит переключатель, и вот — вот, вот, он замечает — из правого угла бархатной струйкой тянет дымок: это значит, где-то что-то горит. Тр-рах! — он выключает стабилизатор. Раз-раз-раз, — он выпаивает сгоревший блок и снова просматривает всю цепь. Трах! — снова вспыхивают неоновые сигналы. Раз-раз! — Гера выводит переключатель. Ну вот, теперь можно взять и блокнот... Он берет карандаш и мелким научным почерком записывает свои результаты. Тр-р-рах! —

Гера снова выключает схему и берется опять проверять все сначала. Он схватился за обгоревший триод и обжег себе палец. Но это все пустяки, ерунда! Он увлечен, он доволен, он забыл про всякие сплетни, он занят делом, работой. Трах! Он, кажется, ни о чем сейчас больше не думает. Трах! Трах! Трах! Так проходят два дня...

*7 апреля*

На улице светит солнце и слепит глаза. Что ни говорите, весна! Пора надежд, любви, как сказал поэт, пора первых свершений! Сегодня утром Гера шел по коридору и прочел на красной доске такое объявление: «Внимание! Внимание! Говорит комсомольский патруль! Внимание, инженеры и техники! Знаете ли вы, что ваш товарищ комсомолец Гера Куликов вчера был задержан в проходной, когда он пытался вынести с работы общественное имущество? Позор!..» и т. д.

Гера подумал, что ему сейчас надо ни о чем больше не думать. Почему «вчера»? Почему там написано «вчера»? Его это смутило. Ведь вчера с ним вообще ничего не случилось... У него так больно стало на сердце! Надо отгородиться от мира какой-то стеной. Чтобы тебя ничто не затрагивало! Чтобы все («будь что будет») шло дальше само собой! Разве он им сейчас что-то докажет? Гера подошел к своему столу и снова начал работать, но он чувствовал, что стена из работы («слава богу, у меня хоть сейчас есть много работы»), которая так хорошо защищала его эти два дня, отчасти обвалилась с одной стороны. Он видел, что ему недостаточно сейчас только работы. Ведь человек на работе живет в коллективе!

В сердце его появилась жгучая обида. Гера понял, что эта обида принимает все более конкретное выражение. Он подумал, что во всем виновата Инга. Если она его любит, то разве не должна она сейчас подойти к нему и сказать, пока в лаборатории никого нет: «Я тебя люблю»? Подойти именно сейчас, после такого объявления, когда он сам подойти к ней не может. Подойти к нему первой и прямо и честно сказать: «Мой дорогой». А потом поцеловать его в губы. А потом обнять за шею и заплакать у него на груди, делясь своими горестями и радостями. Ведь Инга умная девушка! Она ведь все понимает! Так почему она медлит, не подходит?... Он ждал, Гера не понимал, почему она не подходит. Он был уверен, что Инга тоже прочла объявление. Он уже так любил ее, так любил! А она целый день с ним не разговаривала. Ему не удалось спросить ее во второй раз: «Ты мне веришь?»

В этот день на красной доске висело другое объявление: «Внимание, комсомольцы! В среду 11-го апреля в 16.20 в помещении тридцать пятой лаборатории состоится общее комсомольское собрание отдела с участием представителей партийной организации и администрации отдела. Повестка дня: 1) Личное дело комсомольца Г. Куликова; 2) Разное. Явка всех обязательна. Бюро ВЛКСМ».

Вчера было воскресенье. Гера чуть-чуть удивился, как это они за субботу успели все подготовить. Может быть, ради него комсорг приходил сюда в воскресенье? Он почувствовал, что остался один. Он шел по коридору, а черные буквы объявления, выписанного на ватмане, свинцовыми литерами одна за другой вместе с их смыслом ложились ему на плечи. Он даже чуть-чуть согнулся. Он заглядывал в чужие лаборатории, но теперь ему не казалось, что работа там интереснее. Он видел только любопытные лица, которые глядели на него из раскрытых дверей, и, когда он шел мимо, все к нему поворачивались. «Вот так, наверное, приходит к человеку всемирная слава», — подумал Гера. Он с любовью вспомнил свою последнюю полупроводниковую схему. Гера вспомнил, что еще вчера дома он перед сном подумал, что надо поменять концами «эр-двадцать один» и «эр-тридцать два». Да, человек должен работать! В лаборатории рядом с ним сидели Лида и Инга. Это был его коллектив. Да, только в труде человек находит себя и становится сильным. У Геры даже слезы выступили на глазах от таких мыслей и переживаний.

И вдруг Инга, когда все на минутку вышли и они остались одни, сказала ему: «Милый». Гера не ожидал сейчас от нее ничего подобного. Он сразу заметил, что после этих слов Инга стала ему гораздо ближе. Она тогда подошла и сказала: «Дорогой». Было просто удивительно, что она говорит ему такие слова, хотя они еще друг другу довольно чужие. Они звучали даже сначала вроде бы странно. Правда, каждое новое слово их обоих все больше сближало. Гера заметил, что Инга стала ему еще ближе. А она тогда сказала: «Любимый». У нее в руках были какие-то папиросные бумажки, но он не обратил на это внимание. Гера даже не боялся, что кто-то сейчас войдет. Бывают такие часы в жизни человека, когда он на вершине, и с ним ничего не может случиться плохого, а случается только то, что ему надо: одно хорошее. Правда, эти минуты надо уметь готовить. И их нужно уметь почувствовать. Разве не правду говорят, что есть девушки, которые любят нас ради нас самих: просто так, ни за что? Мы все хотим, чтобы девушки нас любили. Чтобы они сами подходили к нам и гладили нас по щеке. Чтобы они сами гово-



рили «люблю». И чтобы потом называли своих любимых мужчин самыми ласковыми именами.

Он обнял Ингу и сразу почувствовал, какая она теплая-теплая. Он поцеловал ее в губы, и Инга тоже поцеловала его в губы. Рядом шелкал под столом стабилизатор и в схеме, как цветы, светились неоновые лампочки и газотроны. «Как хорошо, — сказала Инга. — Как хорошо». И Гера тоже подумал: «Как хорошо». А Инга протянула ему папиросные бумажки, отпечатанные на машинке, которые она держала в руке, и он, целуя ее и глядя по волосам, стал почти машинально читать. Он был сейчас так занят Ингой, что сначала даже не понял, почему то, что он читает, ему чем-то знакомо:

«Я вчера пригласил Ингу в кино. Как только я начал для нее что-то делать, я почувствовал в себе внутреннюю неловкость. Я даже перестаю иногда понимать, правильно ли я делаю то, что нужно. Я иногда хочу от всего отказаться. В то же время я чувствую, что не могу сойти с избранного пути. Обстоятельства волей-неволей меня ведут и подталкивают... А сегодня, когда в лаборатории я остался совсем один, я подошел к нашему зеркалу... и спросил себя: «Ну, как? Как дела?» И ответил: «Ничего дела. Хорошо!» И снова, от радости, я спросил себя самого: «Ну как? Ты сейчас счастлив?» И сам себе ответил: «Да. Я сейчас счастлив». И у меня, я почувствовал, сердце вздрогнуло сильнее. «Это все Инга, — подумал я. — Все она...» Я знал уже про себя, что я сейчас счастлив. Я подумал, что я люблю Ингу...»

#### КТО ТАКОЙ МАРК ЛЬВОВИЧ?

Он руководитель группы. Ему пятьдесят шесть лет. До пенсии ему осталось работать, очевидно, четыре года. Марк Львович в меру энергичен и самостоятелен. Любое дело он выполняет при помощи телефонных звонков, личных бесед и согласований, переговоров с друзьями в рабочее время по углам коридора, причем гораздо лучше со стороны организационной, то есть материальной, чем со стороны теоретической или технической.

Марк Львович окончил институт в тридцатых годах. Он воевал и до сих пор иногда рассказывает, как вместе с дивизией брал в 1944 году какой-то городок на Карельском перешейке.

Лучше всего в науке Марк Львович знает реостатные генераторы. Это его стихия! У него есть любимая книжка, в меру замусоленная и зачитанная: «Г. Шептунов. РС-генераторы синусоидальных колебаний. Физматгиз, М., 1938». Достав из своего стола эту книгу,

Марк Львович может сразу сказать, какие надо выбрать параметры фазосдвигающих цепочек, чтобы получить нужную частоту генерации и требуемый частотный диапазон.

Марк Львович умеет работать с людьми. Его лаборатория всегда выполняет план, причем люди никогда не остаются на бесплатные сверхурочные работы, как это бывает в других бригадах, и потому же он на хорошем счету у начальства. Само начальство обращается с ним, мягко говоря, по-свойски, то есть попросту грубовато. С одной стороны, его обычно хвалят на всех собраниях. От похвалы он расцветает как садовый пион. С другой стороны, в личном общении начальник на него временами покрикивает, не дослушав, прерывает на полуслове, задает неожиданные вопросы («ну как?.. а это что у тебя?») и вообще называет его на «ты», что при всей своей фамильярности явно несет на себе печать равнодушия, и если в первые годы, вероятно, услышав такое «ты», Марк Львович в глубине души был доволен и связывал с ним, видимо, в своем уме какие-то расчеты на будущее, то постепенно, пожалуй, он разобрал все оттенки, которые могут скрываться в таком коротком местоимении. Сейчас посреди разговора он нервничает, а лицо его временами почему-то темнеет. Можно сказать, что начальство видит его насквозь и знает ему цену. Марк Львович тоже знает себе цену. Его часто посылают в командировки, отрывая от непосредственной работы, когда надо что-то «достать». Вообще не столько Марк Львович сейчас руководит группой, сколько старший инженер Дронов. Марк Львович сейчас, как говорится, — это ширма для фирмы. Кабинет начальника находится рядом с тридцатой пятой лабораторией, и Марк Львовича иногда вызывают, стуча кулаком по стене. Это, вообще говоря, унижительно, но Марк Львович бежит. По инерции он большую часть рабочего времени проводит в кабинете начальства. Это в принципе ему ничего не дает. Он и сам понимает, что прошлые его надежды — теперь это точно можно сказать — не оправдались. Он, однако, всегда на виду, и его «терпят». Оклад у него довольно приличный.

Марк Львович иногда на работе, раскрыв иностранный журнал, делает вид, что читает, а сам, задремав, вдруг начинает кивать головой. Английского языка он не знает и без словаря переводить не может.

По временам, правда, Марк Львович, когда подходит срок, оживляется. Тогда он «стоит над душой» и надоедает всем в группе, прося ускорить работу и подгоняя все теми же банальными выражениями: «Давайте, давайте-давайте, скорей...» И тогда даже то, что можно было бы сделать хорошо, из-за его настояний («работа горит») делается плохо. В этом смысле можно сказать, что он иногда теряет рассудок. Дронов и Лида, как положительные и взрослые люди, его жалеют.

Марк Львович ведет себя не всегда как джентльмен. Например, когда он за что-то однажды рассердился на Ингу, он сказал ей, что у нее плохая прическа. Инга потом весь день не работала, а смотрелась в зеркало.

Инга относится к нему равнодушно. Она даже, кажется, не рассматривает его как мужчину. Гера до последнего времени был к нему тоже индифферентен, но теперь, когда заварилась эта история с дневником и после всего, что он про Марк Львовича там написал, у него на душе скребут кошки.

### КТО ТАКАЯ ИНГА?

Инге двадцать один год. У нее приятная фигурка, и вообще внешность ее вполне привлекательна. Черные волосы ее немного портят. Они у нее жесткие. Зато глаза и зубы у Инги прелестны. Инга жива и непосредственна, но два года работы, видимо, наложили на нее вполне определенный свой отпечаток. Она иногда о чем-то задумывается и подолгу молчит. В этом смысле можно сказать, что Инга серьезная девушка. Она часто думает о значении в жизни современного человека любви. Инга не решила для себя — она пока колеблется — существует ли только ненастоящая любовь или же есть еще и любовь настоящая. У нее общительный характер. Она любит играть в волейбол. Она не бывает подолгу одна. Часто — может быть, даже слишком часто? — она бывает в компаниях. Компании эти ее развлекают. Но обычно не позже одиннадцати часов Инга уходит. Она говорит всем, что дома ее ждет мама, а на деле она одна идет тихо по улицам и мечтает.

Инга, как было сказано выше, серьезная девушка. Она думает, что если дожила до двадцати лет и сберегла себя для большого человека и для настоящей любви, то уж теперь-то, в двадцать один год, тем более ей не стоит отказываться ради случайных встреч от своего будущего счастья. В счастье она верит.

Инга думает сейчас про себя, что она любит. В принципе она сама не знает, любит она или не любит. Тем не менее она сказала Гере «милый, дорогой, любимый» и т. д., и кажется, сверх того успела сказать (но этого он не записал в дневнике) еще два этих последних слова: «Я люблю». Ей это было, кстати, приятно. Вся история с дневником Ингу лишь забавляет.

## КТО ТАКОЙ ДРОНОВ?

Дронов — старший инженер лаборатории. Ему двадцать семь лет. Он окончил пять лет назад институт. У него в НИИ здесь много приятелей. Сам он из рабочей семьи. У него красное лицо, красная шея и красные руки. Приятели его обычно шумят и смеются, и Дронов тоже не прочь, стоя в коридоре, с ними повеселиться. У Дронова хорошая память и логическое мышление. Он скромнен и более или менее отвечает всем моральным требованиям. Дронов всегда умеет видеть главное, и в его работе — это очень важно! — есть какая-то цепкость, то есть настойчивость и желание повторить то, что не получается, дважды и трижды. У него также есть и фантазия. Дронов, пожалуй, фантазер-самородок. Поэтому он никогда не сидит без дела. У него уж, наверное, такая натура. Он не ждет указаний свыше, а сам находит себе работу: новые оригинальные пути для решения темы. Дронов иногда подкладывает Марк Львовичу «свинью». Он, повторяю, не прочь пошутить. Подмигивая девушке, когда Марк Львович дремлет за своим столом, Дронов кладет ему на колени маленький акустический полупроводниковый мультивибратор. Когда его включают, схема «дает шум» как резаный поросенок. И Марк Львович мгновенно пробуждается.

Дронова обычно не посылают в командировки. Он слишком ценный работник, чтобы гонять его попусту по чужим местам, да еще тратить на это деньги. Это ему отчасти льстит, а отчасти он недоволен. Когда много работаешь, хочется иногда сменить вокруг себя обстановку и хотя бы на недельку проветриться. То, что Дронов уехал в прошлом месяце на завод, почти случайность. Его вызвали туда по техническим вопросам в связи с пуском темы, которой он один занимался и которую сам целиком довел до конца. Марк Львович здесь как официальный представитель НИИ, хотя и ездил тоже туда («там тоже был, мед-пиво пил»), оказался попросту более или менее некомпетентен. В общем, Дронов, как говорится, свой парень. У него хорошие отношения с Лидой. Они оба друг друга уважают. Инги он еще и в глаза не видел. К Гере он относится снисходительно-дружески и иногда, забывшись, называет его «комар». Гера, как это ни странно, на такое прозвище и вообще на такое неофициальное к нему обращение ничуть не обижается. Дронов, кстати, приехал еще в воскресенье, но командировка у него кончилась (и была отмечена в Туле) во вторник. Он вышел на работу одиннадцатого числа.

Итак, я снова пишу. Ура! Собрание постановило вернуть мне дневник. . . Но что было. . . Ах, если бы вы знали, что было! В моей душе сейчас отчасти трагическое мироощущение. Знаете, что такое трагическое? Это когда человеку плохо, а потом другие люди его спасают. Иногда, конечно, и сам человек себя спасает, но при этом ему просто плохо, и он не чувствует подъема в душе, а, наоборот, лишь устаает, а подъем в душе при этом чувствуют зрители, которые смотрят со стороны. Когда же его спасают другие, сам человек может почти ничего не делать. Но в душе он чувствует облегчение. У него от благодарности и признательности иногда появляются на глазах слезы. Человек понимает, насколько люди вообще могут быть сильными, мужественными и добрыми. Я в конце концов тоже чуть не заплакал. Я и сейчас еще волнуюсь от радости. Какие все-таки рядом со мной работают хорошие люди! Мне надо всех, всех их узнать, и тогда, наверное, мне станет легче жить. Всем им я должен сказать «спасибо» . . .

Все собрались в нашей лаборатории, пришел Марк Львович, пришел Дронов (он недавно приехал). Я даже не узнал нашу комнату, когда я увидел, как много комсомольцев влезло в нее, и все они расселись вокруг на столах, на стульях, на стеллажах и даже на подоконниках. Я остался сидеть на своем рабочем месте. Я опустил голову. Можно сказать, я даже спрятался за шкаф, потому что меня не всем было видно. Но никто ничего не возразил, и меня не попросили выйти, как к позорному столбу, на середину. Это было приятно. Девушки, кстати сказать, глядя на меня, улыбались. Значит, подумал я, мне доверяют. Инга села рядом со мной на стабилизатор. А начальника отдела не было.

Я думал, что сразу встанет и что-нибудь скажет Марк Львович. Я знал за собой только одну вину, и они, я думал, сразу на нее мне укажут: я писал дневник в рабочее время. А никакой другой вины я у себя больше не знал. Больше того! Я подумал, что если они начнут читать отрывки из моего дневника и скажут хоть слово про Ингу, то я встану и скажу, что Марк Львович нарочно не дает нам работы. Уж тогда-то, я подумал, моя совесть будет совершенно спокойна. Но Марк Львович сел в сторонке и ничего против меня не сказал. Встал Денисов, наш профсоюзный лидер, — я даже чуть-чуть удивился, как это он сюда попал? — и зачитал для собрания, как он выразился, «сообщение». В этом «сообщении» (я привожу здесь только основные пункты) говорилось, что: а) в свое время, примерно месяц назад, я был пойман на том, что прятал на работе дефицитные детали, и б) недавно я был опять-таки пойман — теперь уже в проходной, — когда пытался

вынести эти детали из НИИ для своих собственных нужд. Когда он так сказал — «для своих собственных нужд», а потом сел как ни в чем не бывало (а Денисов был человек пожилой, уже почти старый, какой-то черный, остроухий и остроносый, худой, более или менее внушающий доверие), я впервые понял, как это бывает, когда человеку говорят, что он сумасшедший. Я даже остолбенел. Я, можно сказать, на целую минуту потерял дар речи. Я ведь думал до сих пор, что в объявлении просто вышла ошибка. И я не знал, что сказать. А все, я видел, слушали разинув рты, и девушки тоже, вздыхая и охая, время от времени между собой печально перешептывались. Людям говорили про меня что-то плохое, и вот, сразу настраиваясь, они уже подумали про меня плохо, хотя сами еще ничего толком не знали. Мне стало так тяжело...

Я не знаю, на что они рассчитывали. Может быть, не так уж все хорошо было у них налажено и подготовлено, как я сначала подумал. Или они думали, что я, ошеломленный, буду молчать? Что я сразу смирюсь и, испугавшись, вообще ничего не скажу? Но я ведь решил бороться! А этот Денисов... Разве они верили сами в то, что говорили?

Я хотел сказать, что я никогда ничего не брал и не прятал. Что мне и детали-то вовсе не нужны! Что в проходной меня ни разу ни с чем не ловили... Может быть, они и хотели, чтобы я так сказал. Чтобы я стал вдаваться в мелочи и оправдываться по мелочам и потом бы сам на этом запутался. А я так растерялся, что выпалил сразу одним духом в общую тишину: «Да нет же... нет!.. ну как же, товарищи... Это был мой дневник...»

— Дневник? — переспросил кто-то.

— Какой дневник?

— Что он там выдумал?

— Ха-ха!

— Да нет, это не дневник, а журнал...

— Да, да... Самый настоящий журнал!

Я сразу услышал, что пошли разговоры. И я сказал, что нет, я не виноват, а, вернее, во всем виноват мой дневник, а я сам ничего никогда не брал.

Потом я увидел, что они и к этому были готовы. Дальше отчасти перепалка на собрании пошла при помощи цитат из моего дневника, причем кое-что у них, я увидел, было перепечатано на отдельных бумажках. Это были как раз такие листы папиросной бумаги, какие я видел в понедельник у Инги. Это было так удивительно! Я опять подумал, что если они начнут читать что-то про Ингу, то мне придется бороться. Но прежде всего они, действительно, вытащили на свет мой дневник и показали всем эту общую тетрадь. «Так вот, — ска-

зали они, — вы говорите про этот дневник?» Я сказал: «Да». И мне сказали, что хорошо, пусть это будет, как я говорю, мой дневник, который во всем виноват, и пусть даже я ничего не брал из деталей, а только выносил с работы этот дневник, хотя на нем, кстати, — и это еще непонятно! это еще надо выяснить! — стоит штамп НИИ и поставлен номер выдачи в проходной, — но как же, они сказали, как же тогда я дошел до того, что стал писать этот дневник? Зачем я его стал писать? Не с целью ли выискать в нашей жизни что-то плохое? Мною, кстати, написано здесь очень много про наших сотрудников. Разве это достойно комсомольца — писать в свой личный дневник всякие вещи, порочащие других? Не думаю ли я, что это оскорбительно, недостойно и я вообще могу потерять доверие коллектива?

Все заинтересовались. Я молчал. Они пока ничего не сказали про Ингу. Я был за это им благодарен. Я не знал, что мне сказать. Я сказал: «Да, я сознаю. Я виноват». Они мне сказали: «Дневник надо было, если хотите, писать дома. Не надо было писать дневник на работе». Они сказали это уже более мягко. И я увидел, что мне уже не хочется бороться. «Вот, это всегда так, — подумал я. — Какой все-таки я мягкотелый. Мне сказали одно теплое слово, и я совсем растаял». Я даже был рад, что мне, наверное, не надо будет бороться. С одной стороны, мне самому приятно, что все отношения между людьми в конце концов кончаются мирно и я здесь не исключение, а с другой стороны, все-таки это вообще трудно: портить с людьми отношения. Я молчал. Я только еще ниже опустил голову. . .

Но тут не вытерпел Марк Львович! Он не усидел на своем тихом месте в углу. Ему, наверное, было мало, что я признал свою вину. Он ведь, конечно, читал мой дневник. Он возмутился. «Как же, — сказал он, — Гера говорит, что у нас нет работы, когда мы сейчас по горло загружены планом, и у нас, может быть, даже скоро будет срыв, все только из-за того, что мы не укладываемся, и мы будем даже просить, наверное, помощи у других бригад. . . Ну, Гера, как вы можете говорить такое?» И тут он встал. «Ну скажите, у вас сейчас нет работы?»

У меня есть сейчас работа. Я смолчал. А Марк Львович, ободрясь, схватил мой дневник и, быстро перелистав, прочитал:

— Вот, вот. . . Смотрите, что он тут пишет. . . Вот, послушайте: «А все-таки неудобно, что вольно или невольно отрываешь эти полчаса от работы. Я уже заметил, что на работе хорошо себя чувствуешь, когда у тебя есть определенное задание. . .»

Нет, это не то. . .

«и тогда, зная, что срок далеко, можно даже немного поволянить и поленился. . . А когда нет работы и началь-

ник что-то там размышляет, что тебе сейчас дать, то тогда, хотя и можно лениться, лениться совсем не хочется...»

После этого Гера говорит, что у него нет работы! Да разве может так рассуждать комсомолец!

И тут весь народ зашумел, потому что услышал наконец, хотя и в искаженной передаче Марк Львовича, живые кусочки из моего дневника, и кто-то крикнул: «А что? Он правильно пишет!» А потом Дронов встал, и я глядел на него с любопытством, я ничего не ждал от него и не знал, что он скажет, он еще только недавно приехал, а он встал и сказал: «Послушайте! Что здесь за споры? Гера говорит правильно! В нашей бригаде часто бывает мало работы!» Все опять зашумели, зашумели, а Дронов сказал (он очень теперь покраснел), перекрывая своим голосом всеобщее волнение: «Все дело, по-моему, в том, что Марк Львович искусственно занижает нам план».

Это были мои собственные мысли. Я писал их, кажется, в дневнике, но сегодня я никому еще про них не сказал. И Дронов их не читал! И Марк Львович тоже ничего из них вслух не прочел! Никто не знал, что я думаю. А Дронов встал и сказал именно то, что я думаю. Это было поразительно! Я ведь знаю, что два человека, хотя они и говорят на одном языке, не всегда могут до конца понять друг друга. У меня руки, я видел, задрожали. Вот как бывает, подумал я! Вот ведь как может быть! Ты идешь один, и думаешь что-то один, и считаешь, что ты один, а на деле оказывается, что ты не один, и люди, которые идут рядом, тебе близки и могут для тебя что-то сделать. Да, подумал я, самое главное — это не мысли и даже не слова, которые тебе говорят, а самое главное — это дела. Дела, подумал я, — венец всем словам и всем мыслям.

Дронов все говорил, говорил, и все его внимательно слушали. Я, правда, слушал, но от волнения плохо понимал, что он говорит. Кажется, он предлагал там конкретно какие-то конструктивные решения, я запомнил лишь одно это слово: «конструктивно». А потом вдруг Марк Львович вскочил и почти закричал: «Но вы еще не знаете, сколько он написал там плохого! Он нигилист! Вы знаете, кто такой Куликов?!. Тут очень много про всех написано. Для Куликова нет ничего доброго и святого. Спросите его, во что он верит!»

А собрание, кажется, уже настроилось в мою пользу. Сначала все онемели, и наступила тишина, как в поле, когда Марк Львович высказал такую тираду. А потом, придя в себя, кое-кто закричал: «Доказательства! Цитаты! Давайте еще цитаты!.. Читайте дневник!» И все хором закричали: «Читайте дневник, читайте!» А какая-то девчонка пискнула: «Автора!»



Я покраснел. И Марк Львович, пошуршав своими бумажками, не из дневника, а прямо из этих бумажек прочел:

«Потому он и задает мне такие вопросы, самые общие: «Как дела?» и пр. И задает их обычно раз в месяц, а я ему на них соответственно отвечаю: «Ничего дела... хорошо...» Я сразу потому показываю обычно, какие у меня успехи... Было время, правда, вначале, когда я просто бурчал себе что-то под нос: «Что, мол, за глупые вопросы вы задаете?» И еще: «Я знаю, что если задать ему какой-нибудь сложный вопрос, он почти наверняка не ответит».

И еще Марк Львович прочел:

«Ох уж эти мне начальники! Они, наверное, будут вечно! Наш ходит сейчас надутый и со мной все время ругается...»

Все засмеялись. Кто-то сказал: «Ну и что?» Потом кто-то спросил: «А кто такой?» И я уже хотел было начать объяснять (я еще не решил, соврать мне здесь или же не соврать?), как вдруг Дронов снова встал. Он сказал: «Да что вы, ребята! Неужели вы меня не узнаете? Ведь это я! Такой же длинный и тощий!..»

Все захохотали. Дронов действительно был длинный и тощий. Вот шутник, подумал я! Ведь он меня спас! И тогда взял слово комсорг.

Он взял слово, и в его руках опять зашелестели папиросные бумажки. Инга поглядела на него с надеждой. Я плохо знаю нашего комсорга. Знаю, что он добрый человек. А вообще я с ним почти не знаком и по душам мы с ним, как пишут в газетах, еще ни разу не разговаривали. Его зовут, кстати, Миша. И вот Миша взял слово.

Он сказал, что, понятно, мне никак нельзя простить того факта, что я в рабочее время занимался посторонними, отвлекающими меня от работы делами. Он сказал, что моему поступку нет извинения. Все вокруг сразу притихли и внимательно слушали. Но надо также принять во внимание, сказал Миша дальше, что Гера еще человек молодой. Он молодой инженер, работает в НИИ недавно, еще не распробовался со студенческими замашками. Надо его понять и постараться перевоспитать. Надо, сказал Миша, видеть в человеке не только плохое, но и хорошее. Что вообще получится, если мы будем видеть только плохое? Надо доверять людям, сказал Миша. Тут он пошелестел своими бумажками, и все облегченно вздохнули. Разве может, сказал он, вот такие слова, например, написать плохой человек?

«... Как только я начал для нее что-то делать, я почувствовал в себе внутреннюю неловкость. Я даже перестаю иногда понимать, правильно ли я делаю то, что нужно... В то же время я чувствую, что не могу сойти с избранного пути.

Обстоятельства волей-неволей меня ведут и подталкивают. . . Сегодня я стоял перед зеркалом и спросил себя: «Ну как? Как дела?» И ответил: «Ничего дела. Хорошо!» И снова, от радости, я спросил себя самого: «Ну как? Ты сейчас счастлив?» И сам себе ответил: «Да, я сейчас счастлив». И у меня, я почувствовал, сердце вздрогнуло сильнее. . . И тогда, совсем вроде как дурачок, я снова спросил себя в зеркало то же самое! «Ну как? как дела?» И в это время в дверь вошел. . .»

Тут Миша покраснел и запнулся. «Да, — сказал он. — Да. . . Ну, в общем так. . . Да. Разве может такие слова, — сказал Миша, — написать человек без души, без сердца, без совести — вообще плохой человек? . . .»

Когда Миша начал читать, у меня душа сжалась, а сердце мое, наверное, ушло в пятки. Неужели, думал я, он назовет ее имя? Инга покраснела как майский цветок и, раскачиваясь, сидела на стабилизаторе, не подымая глаз. А я вообще никуда не глядел. Я снова почувствовал в себе трагическое мироощущение. Как ни странно, я на Мишу совсем не обиделся. Я видел, что меня спасают. Свои ребята, которых я почти и не знаю, за меня заступаются. Да, подумал я, вот они мне верят! Ведь есть все-таки такие люди, которые мне верят! Вот Марк Львович мне не верит, а Миша верит, и Дронов верит, и Лида тоже верит. И оттого, что я уже чувствовал, что они все мне тут верят, и все такие хорошие, и знают, что я тоже хороший, я почувствовал, что мне для них что-то хочется сделать, сделать тут же, сейчас, что-то такое хорошее, встать и что-то сказать, встать и им доказать, что да, так вот, все — хорошо, потому что они все такие хорошие. И я встал, чуть-чуть задыхаясь и еще не разобравшись как следует, что же мне надо сделать. Я, кажется, сделал два шага вперед, всем им что-то хотел доказать, но тут увидел свой злополучный, свой многострадальный дневник у них в руках — у всех на виду, и, с ужасом чувствуя, что делаю что-то не так, что-то такое ужасное, за что они меня — хотя, казалось бы, все так наладилось — больше уже никогда не простят и не захотят больше знать, чувствуя, что этим я все только порчу себе, все свое, так сказать, будущее, это все сознавая и сам того не желая, я все-таки сделал что-то совсем для меня — и, конечно, для них — неожиданное: с отчаянием, с горечью, с ненавистью к себе самому, но в то же время все же с неожиданно вспыхнувшей радостью, самому непонятным мне вдохновением. Я выхватил из рук Миши дневник, какие-то доли секунды повертел его неловко в руках, словно бы сам себе удивляясь — что это такое? что я вообще вдруг здесь делаю? — не зная, зачем я это сделал и что мне с ним делать теперь. Но это длилось недолго — я понял! Я повернулся вдруг к Инге

(а она сидела у двери) и крикнул ей громко: «Лови!» — и кинул дневник прямо ей. И она тоже, я сразу почувствовал, поняла и, будто б только того и ждала, ловко и радостно поймала дневник и, счастливая, хотя покраснев от стыда, с напряжением, медленно, но внешне спокойная, пошла к выходу у них у всех на глазах. Ее никто не держал. . .

Я и сам — не побежал, конечно, нет! — пошел потихоньку за ней. Я думал, что после моего последнего такого поступка мне остается лишь уйти вместе с нею, потому что все уже, наверное, конечно тут для меня, но я тут же подумал, что, увидев, как она была рада и какая она тут идет, я, право, наверное, сделал бы все только так, если бы стал вдруг делать еще. И тут мой ближний сосед, подвернувшись под руку, сунул мне свою копию: «Вот, возьмите еще. . .» И тогда другой мой сосед дал свою, и я сказал Инге: «Подожди, вот еще. . .» И они все стали мне отдавать свои копии, я только успевал их переключивать ей, так что она была уже нагружена ворохом бумажек, но все равно она шла, и все расступались, а я шел рядом с ней, кое-что падало, и я подавал, клал снова ей в кучу, и все тоже передо мной расступались. Так мы вышли за дверь и наконец-то остались одни. Я хотел ей что-то сказать, объяснить. Но она потянулась и поцеловала меня. Тогда я опять вдруг стал делать что-то вовсе необъяснимое. Я наклонился и молча, без слов, тоже поцеловал мою Ингу. Довольно неловко, тем более что я видел, что она уклонилась, и сначала подумал, что она все же не хочет со мной целоваться, но потом я заметил, что это лишь видимость, что ей тоже хочется, может быть, я это поздно заметил, и потому мы все-таки целовались неловко, но все равно я понял, что вот — мое счастье, что вот я, наверное, счастлив, — и то же самое можно сказать, вероятно, сейчас про нее. Мы целовались, пока не послышался шум. Я оглянулся и увидел, что собрание за моей спиной расходилось и наполовину уже разошлось. Я только подумал, как быстро, и подумал, что был бы не против, чтобы они меня обсуждали еще, если бы только это кончилось вот так. . .

. . . . .

Миша подошел ко мне и сказал, что комсомольцы решили меня наказать: они попросят администрацию на один день отстранить меня от работы. Я должен буду почувствовать на своей судьбе, что такое работа! Они обязуются в этот день работать так, чтобы перевыполнить план и за меня, а я должен буду весь день сидеть на своем рабочем месте, но не буду иметь права работать. . . Оказалось, когда мы с Ингой вышли, начались перевыборы, т. е. «Разное». Им надо было переизбрать новый состав редакции в стенгазету отдела. Газета у нас комсомольская: «Электрон». Все это дело провернули за десять минут. Миша зачитал по бумажке новый состав редколлегии, и все

сразу — списком — в ту же минуту его утвердили. А потом кто-то крикнул: «Запишите еще Геру». И Дронов сказал: «Раз он умеет писать». И тут все поглядели на дверь, улыбаясь, и все громче и громче шумели: «Геру, Геру в редакцию, запишите Геру, пусть он там пишет...» И все поняли сразу, что само собою собрание кончилось и все темы исчерпаны. И они меня записали. Я тоже был избран! У меня сегодня трудный и счастливый день. Во-первых, со мной ничего не случилось. Во-вторых, я избран в редакторы. А в-третьих... В третьих? Но моя рука уже совсем устала писать. В-третьих, я просто думаю — и это заботит меня, надо сознаться, больше всего — что я ничего не успел Инге больше сказать, потому что нам помешали, и хотя мы целовались, это совсем не конец, а только начало.

*12 апреля*

Марк Львович сегодня утром сказал мне: «Ну, ладно, Гера. Работайте...» А Лида сказала: «Марк Львович, ему ведь нельзя работать». — «А план, — сказал У, — кто будет мне план выполнять?» Лида улыбнулась. «Господи, — подумал я, — что он за человек?» И еще я подумал: «Все-таки трудно быть начальником. Недаром им платят большие деньги». А потом я сел на свое место, но ни один прибор не включил. У меня был целый день впереди. Моя схема стояла безжизненная. Неоновые лампочки были погашены, и цветной монтаж тускло поблескивал.

Инга подошла и спросила: «Как ты себя чувствуешь?» Она была, я увидел, самым близким для меня человеком на свете, но моя тоска, которую я с раннего утра в себе чувствовал, почему-то не уменьшилась после того, как я это понял. Я глухо сказал: «Хорошо себя чувствую». А Инга сказала: «Все-таки ты плохо выглядишь. Ты мне покажешь сегодня весь твой дневник?» Я кивнул головой и ничего не ответил. Потом я вынул дневник. Я стал писать...

.....

Я сегодня буду, наверное, писать весь день. Я сегодня не имею права работать. Но сегодня я в последний раз пишу свой дневник. Больше я вообще его не буду писать. Я не хочу! Зато теперь я буду писать в стенгазету. Одно качество, как говорится, перешло в другое, и все равно я буду писать: теперь уже прямо для всех наших людей в отделе. Я сижу и гляжу в стену — я пишу свой дневник на виду у всех, — а все-таки я сейчас чувствую, что меня гложет тоска. Я хочу работать! Когда у тебя нет работы, чувствуешь себя неприкаянным, неприглядным. Я это знаю давно, а они вот только сегодня стали меня воспитывать.

По-моему, молодых специалистов, которые еще не привыкли,

надо через каждые полгода на день-два освобождать от работы, чтобы они острее почувствовали, что вообще такое «работа» и потом ее полюбили. Они бы тогда больше хотели работать! Как я сейчас! Моя тоска, я знаю, пройдет, но в душе потом, я думаю, останется темный осадок. Я хочу работать! Я все больше думаю о смысле жизни. Я люблю Ингу. Я люблю свою работу. Я сейчас несчастлив, потому что сижу и пишу свой дневник. Мне надоел мой дневник! Я вижу, что человек не может жить все время одними словами...

.....

Я пошел сейчас к Мише и сказал ему: «Скоро обед». А после обеда, я сказал, они уже могут дать мне работу. А Миша посмотрел на меня и засмеялся. Он сказал: «Сиди и пиши. Ты же любишь писать». Я подумал, что уже весь отдел знает, что я люблю писать. Я рассердился. Я сказал: «Вы все обо мне разрезвонили. Я сейчас пойду к начальнику». А Миша сказал: «С ним уже все согласовано. Сиди и пиши». И он опять около меня вслух («ха-ха!») рассмеялся.

.....

Я сидел во время обеда в лаборатории. Потом Лида пришла и сказала: «Гера, я сейчас была у начальника. Он велел вам передать, что после обеда вы можете приступить к работе». Я поглядел на часы. До конца обеда оставалось пятнадцать минут. Я подсоединил свою схему, чтобы она прогревалась, и сказал Лиде: «Спасибо». Лида сказала: «А еще он меня спросил, читала ли я ваш дневник. Я сказала, что читала. Он сказал: «И раньше читала?» Я сказала: и раньше читала, уже давно. Он меня, Гера, тогда попросил, чтобы я вас в следующий раз вовремя предостерегла. Так что вот, Гера, запомните. Теперь я буду вас чаще предостерегать». Я сказал Лиде: «Спасибо». А она рассмеялась. И тут после столовой, еще не дожевав на ходу, вошла Инга. Она увидела, что моя схема включена, и сказала: «Ого, у нас новости!» Я сказал: «Я сожгу дневник». Инга сразу сказала: «Ой! Ну! Что ты! Не надо!..» А мне до того это все надоело, что я встал и начал лист за листом рвать тетрадь на куски. Инга не говорила ни слова, а я все рвал и рвал. Я начал рвать с самого начала, с 20 февраля, и первые листы я вырвал легко, потому что там не было ничего интересного, но потом, чем больше я рвал, тем больше они производили на меня впечатление, и тем больше тяжелела моя рука, а потом я случайно прочел про молодого техника, который должен прийти ко мне в подчинение, и потом я впервые (это было 5 марта, накануне Международного женского дня) прочел ее имя, написанное моею рукой: «Инга». Я взглянул на Ингу и увидел, что в глазах у нее появилась боль. А потом я сам уже вспомнил, как я да-

рил им «Ромашку», как мы сначала с Ингой ругались, как я делал из себя начальника, как мы ходили в кино и как она потом мне сказала: «Мой дорогой». У меня защемило сердце. Я снова подумал, что это нечестно: я ей еще ничего не сказал. Я подумал также, что это, наверное, плохо, что мы с ней все время работаем вместе. Мы никогда не бываем одни! Мы никогда не бываем в разлуке! И даже если уйти в коридор, мы там не будем одни. Я ничего не смогу ей сказать...

Я перестал рвать дневник. Я собрал вырванные листы снова в тетрадь. Но теперь мне хочется сделать одно: отдать этот дневник Инге на память. Я напишу здесь на углу: «Инге на память!» Вот так!

# Татьяна Галушко

---



## ЯНВАРЬ

*В пятиминутном мире на столе  
Бессрочная свеча горит и тмится,  
И вдоль каналов свежий снег дымится,  
Не успевая прирасти к земле.*

*На шею мне, скорей, твою ладонь!  
Вот чем деревья живы и спокойны:  
Как под зимой река, как под рукою,  
Пирует в них непойманный огонь.*

*Без имени огонь, без языка, —  
Не обличить, не вытянуть по нитке, —  
Безглаво торжествующий, как Нике,  
Огонь, огню не преданный пока.*

*Как перенять его? Губами с губ.  
Губами с губ. (Не так! Еще нежнее. . .)  
Перегорит душа — мы вместе с нею.  
Не погуби, а лишь — а лишь пригубь.*

*Все площади замешаны в родстве,  
Все улицы уличены в потворстве,  
На шпиле остром и на камне черством  
Следы от губ — как почки на ростке.*

*Я город исцелованный ношу  
Во рту. Он изнутри палит мне губы.*

*Тепло без дома. Горячо без шубы.  
Я ничего, ты слышишь, не прошу!*

*И без плеча могу, и без луча:  
Не прирастает снег к стремнине красной...  
Но ты постой. Побудь. Пускай погаснет  
На пять минут настольная свеча.*

\* \* \*

*Эти медленные реки,  
Из которых страшно пить,  
Возникали для элегий,  
Для трагедий, может быть.*

*Эти тонкие деревья  
В полотне своих туник —  
Стилизация под древних,  
Непохожая на них...*

*Эти каменные дамбы  
На финляндском берегу  
Чередуются, как ямбы,  
Вырастая на бегу.*

*Но в другой земле июля  
Жизнь мгновенна и резка,  
Птицы свищут, словно пули,  
В сантиметре от виска.*

*Но из южного кипенья  
Роц и камня, рек и мха  
Не извлечь мотив для пенья  
И размера для стиха.*

*Но Кавказ, лишенный мрака  
(Не влюбить и не спугнуть),  
Непохож на Пастернака,  
И на Пушкина — ничуть.*

*Видно, их и знало это,  
Уязвляло и влекло, —*



*То, что он для глаз поэта  
Невозможен — набело.*

*Офицерам и повесам  
Он швырял бешмет в пыли —  
Сам же, сам же был процессом  
Сотворения земли.*

*Не они, а он их строил  
И навек определял,  
И питал их чистой кровью  
Голодающий Дарьял.*

\* \* \*

*Горами обведенный вечер  
Зеркален и шероховат,  
И снова город весь просвечен,  
Как в черной вазе виноград.  
И, падкие на эту россыпь,  
На запах сахарный вина,  
Глаза впиваются, как осы,  
В сиянье каждого окна.  
И ненаглядно и прохладно,  
Не ведая моих обид,  
Там за стеклянную преградой  
Сквозная жизнь твоя горит.  
Что нужно ей — сейчас? всечасно?  
Вне этой чаши — нет ее.  
И потому она прекрасна,  
И даже без меня — мое.*

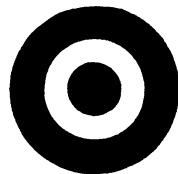
\* \* \*

*И горько захотела я  
Жилого звяканья посуды,  
Печей, крахмального белья,  
Гвоздики и грибного супа.  
Устроить все, как у других:  
Свой дом и свой мужчина в доме,  
Его тяжелые ладони  
На бедрах зябнущих моих.*

*С путей нехоженых свернуть:  
Искала я на них немало...  
Как долго я не понимала,  
Что благ один — всеобщий путь.  
Достигнуть этого пути  
Среди травы и сбитых листьев,  
Оплакать боль избитых истин,  
Не заживающих почти...  
Где слава? Для чего успех?  
Когда я поутру увижу,  
Как над водою неподвижной,  
Над чернотой клубится снег,  
Не торопясь, сойду с крыльца  
И постою под этой манной,  
Пока в окне не крикнут: «мама!»  
Два перепуганных птенца.  
И словно кровля, чтобы кровом  
Назвать истоптанный загон,  
И словно кровь, когда бескровна,  
И словно в хаосе — закон,  
Как вновь дарованное имя  
И смысл скитаний по земле,  
Проступят лица их сквозь иней  
На замороженном стекле.*

# *Александр Рытов*

---



## *ЕДЕМ В ГАРНИ*

*Скачут красные всадники — это горы.  
Горы в морщинах каменных — это годы.  
Всадники вспыхнут саблями — это слюды.  
В сизой долине садики — это люди!*

*Там под землей — источники, руд сверканье.  
Там на земле — история в грудях камня.  
А за трехтонкой облако бурой пыли,  
Грузовичок наш крохотный будто в мыле.*

*Мимо летят обочины в сером дыме,  
Кирками бьют рабочие: смерть пустыне!  
Руки покрыты золотом высшей пробы.  
Будет дорога! — солонь были тропы...*

*К вам, деревушки горные! Выше, выше!  
Кузов бросает в стороны — кузов дышит.  
Тучки вдали над склонами замелькали.  
Солнце в Гарни — колоннами с завитками!*

*Алла  
Тер-Акопян*

---



\* \* \*

*Весна — огромный птицедром:  
Взмывают с аэрополяны  
Пернатые аэропланы,  
И подрывает первый гром  
Последний сон медведей тощих.  
Для грома нет забавы проще.  
А мне весь век летать во сне  
На этой аэровесне.*

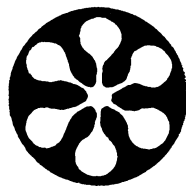
\* \* \*

*То находить,  
то вновь терять из виду  
заглавье жизни,  
упираясь в быт.  
А я не йог:  
я слишком уязвима  
для пуль и рака,  
стужи и обид.*

*Нет, я не йог.  
Но среди гор и комнат,  
среди газовых конфорок и морей  
так нужно, чтобы кто-нибудь напомнил  
об этой уязвимости моей.*

*Ирэна  
Сергеева*

---



\* \* \*

*Ты впусти меня поскорей  
в грустный город воспоминаний,  
в эти улицы без названий,  
в дом без окон и без дверей.  
Дай коснуться — рукой твоей,  
дай взглянуть — твоими глазами,  
дай цветов принести, хозяин,  
в дом без окон и без дверей.*

\* \* \*

*Это терем или тюрьма?  
Если терем, то мало света. . .  
Это лето или зима?  
Очень холодно, если лето. . .  
Это верность или любовь?  
Это — ревность.*

\* \* \*

*Угощаешь ты сулгуни,  
виноградом и вином.  
Я, притворищица и лгунья,  
вижу радости в ином.*

*Говорю тебе «спасибо»,  
«ах, как вкусно» — говорю,  
а сама в окно смотрю,  
как светло там и красиво.  
Вижу город за окном,  
он причудлив и неровен,  
вижу горы за окном  
и уступы старых кровель.  
И такая синева,  
что глаза я закрываю,  
и гляжу, и забываю  
все привычные слова.*



## БЕЗ РОДИНЫ

### ПОВЕСТЬ

#### 1

Он остановился с мешком в руке и ждал, пока пожилая финка переступала порог магазина. За спиной у себя он чувствовал взгляды, гримасничанье мальчишек, шепот и, боясь оглянуться, стоял неуверенно, с полусогнутыми коленками, словно опасался, что его укусят за поджилки.

Уже немало лет встречаясь с этими людьми, совершенно чужими, молчаливыми, он неизменно испытывал какой-то беспричинный стыд, растерянность, а порой и страх, когда что-нибудь напоминало ему первые годы здесь, на чужбине. Память об этом осталась не только на лице — стянутый на сторону рот, — но и в душе... При этих редких встречах с людьми, при их молчаливых взглядах у него что-то заходило внутри, как в детстве на качелях, в его родной тамбовской деревне Русинове, только не было той радости...

Вышел, задев мешком за косяк. У магазина стояло несколько пар лыж, воткнутых задниками в снег. Он осторожно положил мешок с продуктами и стал надевать свои самодельные лыжи — предмет насмешек всей округи. По привычке спокойно отнесся он к баловству ребят, связавших крепления одно к одному. «Хорошо не обрезали, дьяволята, ишь наузлили!» Когда он стынущими на морозе пальцами развязал узлы, надел лыжи и закинул за спину мешок, из-за магазина выскочили два подростка и бросили в него комьями слежавшегося снега.

— Ифана! Ифана! — кричали они вслед, добавляли что-то по своему и хохотали.

Дорога домой была легче: перелеском, прямо на хутор Эйно Лайпенена лежала накатанная лыжня, шедшая под уклон, а там еще полчаса ходу — и свое жилье.



Иван слишком горячо пошел от магазина и вскоре остановился передохнуть. Огляделся — все то же. . .

Поселок, ничем не напоминавший ему ни одну из русских деревень, лежал в широком распадке меж возвышенностей, похожем на гигантский котлован. Дома стояли на большом расстоянии друг от друга и так беспорядочно, что нельзя было отыскать подобия улицы, а кое-где они углублялись в окружающий лес и белели оттуда заснеженными крышами. По окраинам поселка и даже в его середине, между домов, — пашни и покосы, лежавшие сейчас под снегом, и лес, со всех сторон лес. Ивану нравились в нем прямые, как стрелы, просеки, да и сам лес, чистый, ухоженный. Он обрывался у полей строевыми соснами и только не имел той милой российской опушки с ее неизменной кустарниковой зарослью заколичного олешника, какая была за Русиновом.

С привычным равнодушием посмотрел он еще раз на дома, на огромные дворы, на прямые столбы бело-розового дыма из труб и решил, что сретенские морозы еще постоят. Он двинулся дальше, и вскоре за перелеском показался хутор Эйно. Его дом, небольшой, крепкий и аккуратный, был защищен от ветров с севера и востока двумя плотными рядами елок; внутри этого треугольника был разбит сад, а за домом — высокий сарай и два заснеженных бугра, один — картофельное хранилище, второй — зимнее помещение для пчел. Иван замедлил шаг: не выйдет ли кто из домашних или сам хозяин, помахать бы рукой, уж больно хороший человек. Но никто не вышел на этот раз, только дым из трубы сонно вытягивался в солнечную синеву.

Иван свернул на свою лыжню, очень неровную и рыжкую, поскольку он редко ездил в магазин, и заскользил кромкой высокого косогора, откуда открывалась бескрайняя лесная низина. Слева, на уровне лица и ниже, проплывали заснеженные вершины елок и сосен, поднимавшихся из низины, а выше их виднелось вдали широкое озеро — белое ровное поле, без единой точки. А вот уже и большой валун, величиной с дом Эйно, на валуне растут две кривые сосны, уходящие корнями в глубокие расщелины. Отсюда до жилья — полторы версты.

В частом сосняке маленькой лесной поляной мелькнуло озеро, а на берегу, под кручей косогора, — само жилье. Озерцо уже начинало зарастать, летом здесь много комаров, а камышовые берега не манили рыбаков, да и рыба здесь отдавала тиной, так что единственным хозяином водоема был Иван, и озеро это финны прозвали «Ифана-ярви», то есть Иваново озеро.

Жилье Ивана больше походило на дровяной сарай, занесенный снегом. Со стороны косогора, у глухой стены, сугроб поднялся до

крыши и сравнялся с нею, так что сверху на сплошном снежном покрове была видна лишь черная щербатая труба. Сейчас около трубы сидела собака — рыжая финская лайка, прозванная Иваном «Мазай». Собака издали почувствовала хозяина, и когда тот показался среди сосняка — кинулась с крыши по глубокому снегу. Со всего размаха она радостно ткнулась в ноги хозяина, запрыгала, стараясь достать мокрым носом его лицо. Он отталкивал собаку то одним, то другим локтем, притворно сердясь:

— У, дурак! У, обалей! Ну на, лизни!

Мазай лизнул колючую щеку, успокоился и побежал по лыжне.

В избе было тепло, пахло смоляными дровами, капустой, сушеным грибом. Два маленьких оконца выходили на озеро, и сейчас, когда там искрился на солнце снег, в помещенье поступало много света.

— Ну вот, мы и дома, — разговаривал Иван с собакой, — сейчас печурку растопим, картошки сварим, грибочков достану. Что, не любишь соленые? А я люблю, а я... Ну-ко, не вертись под ногами!

Не снимая шапки, лишь повесив ватный зипун, он залил водой нечищеную картошку и поставил чугунок на плиту.

— Дай-кошь полешко возьму. Эх, хороша смолюха! Да переступи ты лапой-то, обалей ленивый! Расселся тут, как какой... Эх, трубу-то!..

С собакой он говорил охотно и много — это было единственное после Эйно существо, с которым он отводил душу.

Обедали они вместе. Иван ел картошку с грибами и капустой, приправленной постным маслом, потом торжественно достал из мешка дешевую колбасу, отломил кусок и стал чистить ее ногтями. Собака тотчас заволновалась, заскулила и оставила свою картошку и хлеб под столом.

— Ишь, опришенник! Особинки захотел? На, ешь!

Он бросил сначала кожицу, потом откусил и дал собаке кусок.

— Ну, завтра на охоту пойдем? — спрашивал он собаку и кивал на одностволку.

Собака просила еще колбасы.

— Не-ет, брат, ты и от целого фунта не откажешься, а я ведь не купец, у меня нет колбасной лавки. Вот подожди, наплетем мы с тобой корзины, продадим или летом на косьбе подработаем, да осенью — на дровах, да шаек наделаем — вот тогда и поедем колбаски, а сейчас облизись и лежи, понял? У меня марок-то не ахти сколько, беречь их надо: без денег, брат Мазай, везде худенек, — понял, как она, жизнь-то, устроена? То-то!

Иван запил обед кружкой холодной воды, потянулся и ощутил на голове шапку. Он нахмурился и сбросил ее на постель позади себя.

«Опять забыл, — проворчал он, покосившись на темное финское распятие в углу, затем бегло, виновато перекрестился, — все-таки бог, хоть и не такой, как надо бы, лютеранский, да ладно!»

Махнул рукой и вышел из-за стола.

— Что, Мазай, посуду мыть будем? Нет? Вот и я думаю — нет, ведь сегодня не суббота.

Иван сел к окошку и дотемна, пока не зарябило в глазах, сидел на низкой скамейке и плел большую гуменную корзину. Собака лежала рядом. По временам она приподымала рыжеватые кочки бровей и всматривалась в широкое доброе лицо хозяина. Оно было загорелым от зимнего солнца, и морщины, которые уже не разглаживались, углублялись еще больше, когда он, пригоняя очередной прут, скалил зубы от напряжения. В такие моменты его рот уводило еще больше в сторону. Изредка он распрямлял спину, ворошил обеими руками рыжегато-белесую путаницу волос, потом брал с подоконника самокрутку, которую он звал «чинарик», и с наслаждением курил, прикрыв утомленные глаза.

— Эх, хорошо. . . Благодать-то какая, Мазай, и умирать не надо.

В сумерки вышел за водой. Мороз усилился и потрескивал в соснах на горе, а внизу, у избенки, стояла чуткая морозная тишина, только еле слышно, словно звон в ушах, журчал под снегом ручей, падавший с обрыва. Иван зачерпнул из обложенной камнями ямки ведро воды и заметил след лося.

— Нюхай, нюхай, обалдай! Дома торчишь, а тут лоси ходят, эвон рябину-то поглодали. Вот возьму да выпихну на мороз!

Над лесом поднималась луна. Иван оставил ведро и вышел на лед озера. Он знал, что вечером проверять донки, поставленные на живца, — не дело, но ему захотелось, чтобы и ужин сегодня у него был, как и обед, — на славу. Однако попался только небольшой налим. Иван постоял над лункой, подумал, потом поспешно вернулся в дом, взял лыжи и ушел на них в лес, на тот берег озера. Там он отыскал нужное место и, не приближаясь вплотную, подбросил налива к лисьему капкану.

На ночь он еще протопил печь, поужинал и лег спать, шурша соломенным матрасом. Собаку он не выгнал. Она лежала на широкой лавке, вплотную придвинутой к постели хозяина, ляскала зубами, лениво гоняя блох, и совала морду под одеяло.

— Не лезь! У тебя шуба, тебе тепла хватит. Ну, расчесался-тут, обалдай! Что — блохи? Тебе хорошо: у тебя зубы, — тихо говорил Иван, засыпая, — зубы. . . А вот мне как за это дело браться — рубаху скидывай да палец мочи. Да-а. . . А крючок-то на двери опять не накинул, кажись. . .

Лай собаки раздался у самой его головы так неожиданно и громко, что был похож скорей на обвал потолка в ночи. Иван инстинктивно сжался в комок. Мощный луч света ударил ему в глаза, и в следующий момент среди ошалелого лая кто-то кинулся на него, обхватил, а лицо ощутило колючую, промерзшую одежду.

— Спишь! — раздался голос, и горячее дыханье шевельнуло волосы.

Иван сильно оттолкнул навалившегося коленками и руками.

— С ума сошел, Иван! Не узнал, что ли? Я же в шутку! . .

Иван настороженно поднялся с постели в одних подштанниках, а тело его гудело, как натянутая струна. Свет фонарика бил в стену, но в полумраке было видно лицо гостя. Да, это он. Острое, клином лицо, брови вразлет. Длинный, сутулый. Холодный взгляд.

— Зачем пожаловали? — спросил Иван и притопнул на собаку.

— Лампу бы засветил, — ответил гость, сразу сбавив веселость, и добавил обиженно: — А что это ты на «вы» меня? Ведь тут нам не палуба, да и времечко утекло, а ты все меня на «вы»!

— На «ты» ноне только бога зовут! — угрюмо ответил Иван.

Он снял с лампы нечищенное стекло, покрутил и зажег фитиль. Потом снял валенки, надел их, накинул зипун и растопил печку.

Гость ужинал за столом один, а Иван медленно слонялся по избе, посвечивая подштанниками, да косился на бутылку, к которой так и не подсел. «Зачем опять появился этот человек?» — эта мысль волновала Ивана, но он больше не повторял вопроса. Ждал.

— Ну, спасибо, Иван. Зря не выпил! — Гость посмотрел по сторонам, покачал головой и сказал, брезгливо поморщившись:

— А у тебя все так же, как сначала было. Плохо живешь. Как крот живешь, и, как крот, ничего не видишь. Ну, ладно, потом поговорим — утро вечера всегда мудренее. Где меня положишь?

— На полатах, если желаете. . .

— На полатах? Это хорошо, это по-русски как-то. . .

Он разделся и полез на полаты, протянувшиеся под потолком от печки до двери. Там он долго копошился, потом высунул голову и медленно, строго проговорил:

— А я за тобой, Иван, пришел. Пора жизнь менять.

Иван вскинул голову, приподнялся с постели, но ничего не мог ответить, только руки его мелко задрожали, когда он убавлял в лампе фитиль и тушил ее.

В постели он почувствовал лихорадку. Пота не было, но трясло, и мысли, одна другой невероятнее, наплывали на него. Он осторожно, как не дома, ворочался, но уснуть не мог. Наконец встал, насунул ощупью валенки не на ту ногу, накинул зипун и без шапки вышел на волю.

Ночь была тихая, ясная. Изредка на полную луну наплывали тонкие, как пар, облака, и тогда тени бесшумно скользили по белому диску озера, выбирались на том берегу по заиндевевшей стене леса и просеивались в него, как дым. По-прежнему жаворонком вызванивал под снегом ручей, но мороз на горе трещал в деревьях звонче, суше. Иван хорошо знал, что в этой тишине зимнего леса, во всей этой притихшей природе теплится неистребимая жизнь. Ему казалось, что где-то рядом спит лось и завтра зажелтеет на снегу его новая лежка; он знал, что сейчас ходят лисы, и одна из них, может, подошла к капкану; почему-то живо представилось, как спят белки на соснах и на старых осинах, заткнув дупла мохом, как под толстым льдом ходит по дну ночной хищник налим и облюбовывает живцы, лениво пожевывая широкой пастью.

Иван остро почувствовал себя частью и хозяином этой природы, своего маленького обжитого лесного мира, от которого так легко и самоуверенно хочет оторвать его этот человек, спящий на полатах. Нехотя пошел Иван в избу. В сенцах он задел валенком за топор и остановился в тяжелом раздумье. Мысль заработала четко, быстро. Он поднял топор, прижал его промерзшее жало к животу и осторожно переступил порог. Волосы его ощущали доски полатей.

«Перво-наперво — пусть покрепче заснет», — подумал он, и эта мысль не испугала его, только сердце забилося резко и жестко, да память, как мутная волна, накатила на него непрошенные воспомина-ния...

## 2

Перед отбоем опять был митинг.

Комитетчики выступали по очереди. Каждый из них требовал «быть верными революции до конца».

Какой-то матрос, стоявший с Иваном Обручевым бок о бок, подумал вслух:

— Опять до конца. Землю народ получил — вот те и конец.

А чернявый человек на трибуне рывками подавал свое длинное тело то в одну, то в другую сторону и надсадно кричал сиплым, простуженным голосом:

— Товарищи революционные матросы! На залитой кровью России сейчас остались лишь только два светлых пятна, две надежды обманутого народа — это наш революционный Кронштадт и славная армия бесстрашного гладиатора революции Антонова на Тамбовщине!

— А это что за галидатро там? — спросил Иван у матроса и пояснил свой вопрос: — Я сам тамбовский, а про таких не слыхивал.

Матрос сердито повернул голову с большими красными ушами,

оглядел Ивана, потом сморгнул злость и ответил, касаясь Ивановой щеки мягким белесым усом:

— Кто такой? А вот такой же, — кивнул он на трибуну, — видеть, тоже власти не досталось, ну и забегал. Блин один, хоть и со стол, да едоков — со сто: кому-нибудь да не достанется. . .

Матрос подмигнул без улыбки строгим карим глазом и отвернулся от Ивана так же сердито, как и повернулся к нему.

— Товарищи матросы! — хрипел оратор и размахивал синим от мороза кулаком. — Сейчас уже никто не сомневается, что нынешний, одна тысяча девятьсот двадцать первый год станет годом последней русской революции! Советское правительство отклонило наши требования, но мы все равно добьемся их выполнения!

Иван смутно помнил требования, выработанные комитетчиками в кают-компании броненосца «Петропавловск», но одно требование он запомнил хорошо и был целиком с ним согласен: дать свободу мешочникам, не притеснять их со стороны государства.

«Пущай ездят, торгуют хлебом, дороже денег не возьмут», — думал Иван, но считал, что мятеж из-за этого подымать не следовало, и в душе осуждал комитетчиков.

— . . . Пусть сейчас там, на Съезде, знают и помнят об этом! К нам приковано внимание всего мира, — кричал человек с трибуны, — и мы докажем силой нашего грозного флотского оружия, что революционный Кронштадт стоит не на острове. . .

Оратор неожиданно замаялся, беспомощно огляделся и подался назад, к человеку в гражданском. Тот нервно шагнул к чернявому, что-то шепнул на ухо, после чего оратор набрал в грудь воздуху и продолжал, не смутившись:

— . . . не на маленьком острове Котлин, а на великой правде!

Оратора оттянули за рукав, а на его место выдвинулся генерал Козловский и энергично захлопал в ладоши. Его горячо поддержали на трибуне и кое-где в массе матросов.

— А какого хрена у нас в командирах ходит эта полевая крыса? — негромко прогудел чей-то бас позади Ивана.

— Да, ну и времечко, братцы матросики! — весело воскликнул хитроватый матрос.

— Время как время, только полевых крыс нам не надо.

— И я про то, — отозвался хитроватый и почесал щеку о штык, — отчего это, братцы матросики, адмирал Колчак по Сибири бегал, а пехотный гриб в море пророс?

— Ох-хо-хо! — устало вздохнул матрос с красными ушами и подергал белесым усом. — Плохи, братишка, смешки, коль прилипли к кровищи и не отстать. Домой бы. . .

— Вот это бы — да. . .

— Знамо дело — домой. . . — отозвались вокруг.

— Эх вы, домоседы! А кто будет революцию продолжать? — раздался чей-то недовольный голос.

Матрос с красными ушами повернулся, отыскал глазами крикнувшего и негромко, но веско сказал:

— Эй, Ермолай! Ты рядом там стоишь — закрой ему прикладом хайло, пусть молча продолжает революцию!

На трибуне очень грамотно и монотонно заговорил гражданский.

— Этот тоже понес, мать его в угол! — прошипел хитроватый матрос, оглядываясь. — Хоть бы кто-нибудь вышел да и сказал: а ну, братцы матросики, — домой!

Иван почувствовал, как при слове «домой» екнуло у него сердце. Что-то скажет сегодня боцман Шалин Андрей Варфоломеич? Хоть он человек еще и молодой, выдвинувшийся лишь в пятнадцатом году, но толковый. Не нравилась Ивану в боцмане лишь его замкнутость. Вот уже неделю, как они с боцманом тайком готовятся к серьезному делу, а он еще не открыл всех карт Ивану. Подвести боцман не должен, конечно: одной веревочкой связаны, — а нехорошо молчать, ведь все-таки из одних мест, деревни рядом. . .

После отбоя, как было условлено, Иван пришел в галюн, где его ждал Шалин.

— В одиннадцать в конце пирса! — жарким шепотом выпалил Шалин, приблизив к Ивану свое заостренное, что колун, лицо. — Возьмешь, что сможешь, как говорили. Ждать нельзя!

Боцман вышел, притворно застегиваясь на ходу, а Иван, растерянный и радостный, стоял в своей шинели внакидку, боясь поверить, что настала эта желанная и страшная ночь.

С самого начала войны, с четырнадцатого года, с того самого часа, как под бабий вой повезли Ивана и других рекрутов в город, он неотступно думал о возвращении. Письма приходили редко, а с той поры, как в Кронштадте поднялась буча, он уже ничего не знал о доме. Сослуживцы отговаривали его от деревни, советовали жить в городе, но Иван неизменно думал про себя: «Пустота все это — город, когда теперь земли в деревне вволю». И ему представлялась деревня, чаще всего в летнюю пору, в сенокос, когда по вечерам у каждого дома: тук, тук, тук! — отбивают косы. Пахнет сеном. Бабы мочат веники в прудах, разговаривают. На березах ленивый птичий гомон, а во дворе отцовского дома, под большим корявым тополем, стоит новый одер, сделанный дедом Алексеем, скоро к одру подведут беззубую лошадь Тамарку и повезут сено с дальних покосов. . .

Все это представилось Ивану и сейчас. Ежась от холода, он с особым удовольствием вспомнил сенокос, домашний квас и свежую баранину, специально прибереженную для тяжелой работы. Теперь он

понял, что дорога домой лежит только через эту ночь, идти в которую — не менее страшно, чем остаться в Кронштадте. «Надо ли?» — вставал вопрос. Так, случилось, еще ребенком, томясь по купанью, прибежал Иван на берег, и надо было прыгать с обрыва за мальчишками, как сейчас идти в эту ночь, — а желание пропадало, оставалась только обязанность и страх показаться трусом.

В одиннадцать встретились с Шалиным в конце пирса.

— Иди за мной! — тихо бросил Шалин и сразу же прошипел: — Тише! Мягче ставь свои копыта. Достал бы валенки, как я. . .

Кронштадт был тих в этот послеотбойный час, лишь на Николаевском проспекте кто-то пел «Варяга». В темноте слабо различались силуэты фортов, за которыми Иван слышал вой ветра в мачтах судов — уж это-то он ни с чем не спутает! Иногда справа мирно мелькал случайный огонек в тихих уснувших улицах, и тогда Ивану начинало опять казаться — не напрасно ли он покидает этот, в общем-то, тихий город на острове, рискуя жизнью, которая в любую минуту может сейчас оборваться? Может быть, все обошлось бы благополучно, и весной его отпустят домой? И что бы комитетчикам не помириться с Лениным?

Боцман шел быстро, уверенно, но осторожно. Дважды они ложились в снег за какие-то каменные выступы и пропускали встречных. То были или патрули, или разводящие, но встреча с ними была одинаково опасна здесь, в северо-западной части города, сейчас наименее оживленной. Норд-вест был здесь как в море — напорист и плотен. Иван все чаще закрывал рукавом лицо и в один из таких моментов наскочил на спину неожиданно остановившегося Шалина.

— Да тихо ты, серммяга! — еще злее прошипел Шалин, не разжимая зубов.

Он замер вполоборота, схватив Ивана за шинель на груди, и прислушался. Но все было по-прежнему тихо, лишь ветер безжалостно резал себя в мачтах судов.

— Замри тут! Я сейчас. . . — коротко бросил Шалин.

Он отпустил свою длинную руку с груди Ивана и полез за пазуху. Послушав еще немного темноту, он швырнул на снег, прямо под ноги Ивана, мягкий куль, что держал в другой руке, нахохлился, поспеел, нервно проглотил слюну и, как в холодную воду, осторожно шагнул в темноту.

Иван потоптался застывающими ногами на снегу, потрогал куль, величиной с шинельную скатку, и присел на него.

«Серммяга. . . — с обидой подумал он. — Сам-то невелик барин, лавчонка была у батьки, да и та — не ахти. Всю службу только и знал лаяться, а вот в комитет не выбрали. Тоже власти не досталось».

С той стороны, куда ушел Шалин, Ивану почудилось, что там



кто-то вякнул, словно подымая груз, а через минуту вернулся боцман.

— За мной! — прохрипел Шалин и сплюнул.

Шагов через пятьдесят они остановились возле черного пятна на снегу. Шалин кивнул на распластанное тело часового, спросил:

— Винтовку возьмешь?

— А ну ее!

— Снимай валенки! — приказал Шалин и раскинул ноги убитого.

Иван наклонился и различил лицо усатого матроса, стоявшего рядом на митинге. Это было так неожиданно, что он замешкался.

— Скорей! — не выдержал Шалин и, оттолкнув Ивана, сам снял валенки с усатого матроса.

Иван слышал, как голая пятка убитого цыкнула в снег.

— Держи, сермяга, и бежим! На льду переоденешься, ясно?

Они вышли на лед и пошли в сторону Ораниенбаума, чтобы сбить с толку погоню, потом обошли Кронштадт с северной стороны и двинулись на восток. Опасаясь талого льда, держались берега.

— В Петроград, Андрей Варфоломеич?

Шалин не ответил.

Шли несколько часов, Шалин впереди, Иван за ним. Снег под ногами стлался во тьме серым сбитым одеялом, а впереди сливался с темнотой, которой, казалось, не было конца.

— Как ноги?

— Окоченели ноги, да и только.

— Ну, снимай свои копыта! — раздраженно сказал Шалин и бросил Ивану куль.

Тот сел и стал переобуваться в валенки.

Когда он надел первый валенок, ему показалось, что там, в самом носке, еще жило тепло от ноги убитого матроса. Он с трудом подавил в себе чувство отвращения к Шалину, торопливо курившему в рукав, к самому себе и к валенкам. Когда нога вошла в голенище, Ивану чудилось, что оттуда вот-вот выкачет кровь невинного матроса с красными ушами.

— Скоро рассвет, — заметил Иван, чтобы как-то отогнать мрачные мысли, к тому же с приходом рассвета, казалось ему, придет освобождение от всех страхов.

— Да, пожалуй, черт возьми.

— А что так? — удивился Иван.

— До границы не успеем, конечно, но за Питер надо бы зайти засеро, до разгара дня.

— До какой такой границы?

— До финской. Другой ближе нет.

— А на кой она нам? — с возраставшей тревогой спросил Иван.

Он даже перестал обуваться и держал на весу голую ногу.

— Тебя, дурака, забыл спросить!

— Зачем так, Андрей Варфоломеич? Может, я и не ровня вам, а в этом деле сам хочу разобраться.

— Ну и как же ты в этом деле разбираешься? — Шалин сплюнул сквозь зубы и насторожился.

— А так: не пойду я ни в какие Финляндии — и весь сказ!

— Куда же?

— А на берег. Сдамся, да и домой.

Удар ногой в живот свалил Ивана с куля.

— Так ты что же, сука? Хочешь, чтобы за мной тут же погоню послали? Да?

Иван поднялся, с трудом увернулся от второго удара и отскакал в сторону, утопая голой ногой в снегу. В правом боку поднималась острая колющая боль, перехватившая дыхание.

Шалин надвинулся черной согнутой тенью. В его руке тускло блеснул офицерский кортик, с которым он вышел из Кронштадта.

— Андрей Варфоломеич. . .

Иван отскочил еще на несколько метров, но это было уже бесполезно: Шалин был рядом. Слышалось его бычье дыхание, но особенно устрашающим было его молчание и решительная неторопливость.

«Конец! . .» — с ужасом подумал Иван и беспомощно вытянул вперед руку, но нервы не выдержали, и он еще выставил вперед свою голую мосластую заочневшую ногу. . .

— Андрей Варфоломеич! . . Грех на душу. . .

Широкая зарница дрогнула во тьме в стороне Кронштадта, словно там кто-то встряхнул большим белым полотнищем, а через несколько секунд мощный, как обвал, грохот залпа пронесся над заливом. Дрогнул воздух, лед и сама тьма.

Шалин вскинул голову и опустил руку с кортиком.

— Штурм начался! Штурм Кронштадта! Слышь, серммяга? А ну, пойдй теперь сдаваться, после-то штурма, — стенка!

Он говорил не разжимая зубов и с особой сладостью произносил слово «штурм».

Иван все еще предостерегающе держал руку и бормотал:

— Стенка, стенка, Андрей Варфоломеич!

— То-то, дурья башка! Нешто я не дело говорю тебе? Неужели ты думаешь, что если бы мы не были земляки, так я взял бы тебя с собой, а?

— Знамо не взяли бы. . .

— Одевайся! Что стоишь, как цапля?

Иван, сторонясь Шалина, подковылял к кулю, поправил его и сел надевать второй валенок.

— Андрей Варфоломеич, погодите чуток — я ногу ототру: зашлась, окаянная. . .

— Да скорей же: рассвет!

Иван оттирал ногу снегом, а Шалин смотрел на запад и с удовольствием произносил все то же слово: «штурм!»

— Ну и заварушка там сейчас! — сказал он Ивану. — Ну и каша там манная, ха-ха-ха! Бьют свой свояка, дурак — дурака. Нет, Иван, пока в России-матушке неразбериха, поживем-ка мы в другом месте. Когда в доме скандал, умный всегда выходит покурить во двор. Как ты думаешь? — спросил Шалин.

— Неужели договориться не могли без пальбы? — вопросом ответил Иван, все еще косясь на Шалина.

— Хэ! А ты видел — парламентары были от Ленина?

— Видел. Сам командующий флотом был.

— А еще был Калинин, тот, что с бородкой-то. Добром наших комитетчиков просили, а вышло видишь что? — Шалин кивнул на пегий от вспышек горизонт и опять с удовольствием начал свое: — Штурм! Штурм Кронштадта! Ха-ха! Дождались! Ну и каша там, ну и каша, только — шалишь! — без нашего мяса!

Рассвет застал их вблизи Петрограда, но день выдался пасмурный, серый, ветром переметало по заливу снег, и видимость от этого была плохая. Шалин радовался, но тем не менее он был осторожен и держался с Иваном подальше от берега. Шли, чувствуя большую усталость и голод. Примерно в полдень Шалин вдруг остановился, сунув руки в рукава шинели, осмотрел у себя под ногами снег и рухнул в него боком.

— Отдохнем! — сказал он и свесил голову на плечо. — Развязывай мешок, пожрать пора!

Иван тяжело опустился рядом с Шалиным, развязал боцманский куль и подал тому.

— А подстынем мы на ветру-то, — заметил Иван и поднялся.

— Ты чего?

— Сейчас подгребу снежку от ветра, — пояснил он боцману и стал валенками сгребать снег.

— Снежный бастион? Дело! — похвалил Шалин, но не двинулся с места.

Потом они отдыхали, укрывшись слегка от ветра и досыта наевшись всухомятку. Шалин хвастал, как он растряс камбуз, но сожалел тут же, что мало. Иван слушал и не слушал, а на сердце у него

была такая же непроглядная муть, как над Финским заливом. Он никак не предполагал, что так скоро, в одну ночь, к нему вплотную приблизится его мечта о доме и так же скоро рассыплется. Опять томилась неизвестность.

— Андрей Варфоломеич, а как там, в Финляндии-то, — ничего?

— Насчет чего?

— Да насчет стенки? . .

— Не должно!

Иван тяжело вздохнул от такой неопределенности и закрыл глаза. За воротник и снизу под шинель подкрадывался ветер, и все тело понемногу начинало стыть.

— Не должно! — убежденно повторил Шалин. — Мы с тобой завимся туда как гражданские, понял? У меня в мешке и одежда на обоих есть кой-какая. Да если и в военном, так, я думаю, — ничего. А не захотят принять, так мы с тобой в Швецию подадимся. Мир-то, брат, велик. . .

Иван отцепил патронташ и бросил его в снег.

— Правильно, — кивнул Шалин, — хватит в революции играть! — И, повалившись на спину, вздохнул: — Эх, мама! Зачем мне все это было нужно? Сидел бы сейчас с милахой в бабкиной лавке. . . Да-а. . .

— Кортик-то тоже бросьте, — посоветовал Иван и отвел глаза, подумав: «Зря не взял винтовку, не дался бы ему».

— Успею! — сухо ответил Шалин.

После еды к обоим незаметно подкралась дрема. Ветер стал казаться теплее, тише, не хотелось ни говорить, ни двигаться. Колени невольно поджимались к животу, а спины прилегали одна к другой.

— Вот ведь как, Андрей Варфоломеич, вдвоем-то хорошо. Не зря говорится, что одно полено и в печке гаснет, а два и в поле горят.

Но Шалин его уже не слышал.

Иван засыпал долго, с тяжелым чувством. Ему все казалось, что Шалин, чтобы избавиться от обузы, готовится зарезать его и сделает это сейчас же, как только Иван заснет. Однако сон перебарывал страх и делал нестрашной даже самую смерть, которая уже начинала казаться пустяком перед опасностью нарушить эту сладкую дрему с ее неподвижностью и призрачным теплом.

— Вставай! Проспали! — взревел Шалин, глянув на свои часы, приобретенные еще в семнадцатом, когда патрулировали в Петрограде.

Иван быстро, по-флотски вскочил и скучно оглядел залив.

— Что, неохота? — ухмыльнулся Шалин.

— Так ведь и неохоч медведь плясать, да губу теребят. . .

— Выкинь дурь из башки и не смотри на Питер!

— Да мне на Питер наплевать-дако! Мне домой бы. . .

— Брось, говорю! Захочешь, так вернешься через год-другой.

— Хорошо бы, как через год-то. . .

Иван тяжело вздохнул и побрел за Шалиным, ступая в его следы.

В Финляндии Шалин бросил Ивана, и тот, в полную меру хлебнув горя, устроился наконец на пивной завод на окраине Гельсингфорса, где делал пивные бочки. Себя, как человек одинокий, он обеспечивал, к тому же вина опасался, крепко помня, что вино уму не товарищ. Жил он одной надеждой: вернуться домой. Как-то там? Живы ли? Помнят ли еще? Иной раз начнет нагонять обруч на бочку или станет врезать днище, да вдруг остановится, опустит руки, повесит голову так, словно сердце схватило, и замрет надолго.

Чаще всего в такие минуты подходил к нему кто-нибудь из троих русских, работавших на заводе, хлопал его по плечу и весело говорил:

— Не горюй! Перемелется — мука будет! Пойдем-ка сегодня в кабак — сразу зазнобу забудешь, легче станет.

Иван молча принимался за дело. Что им, этим зубоскалам, — они с малых лет тут, по-фински лопочут, как из пулемета.

Вскоре Иван набил руку на бондарстве. Лишние марки копил, рассчитывал, что пригодятся. По субботам он садился на кровать спиной к окну, выходящему на плотный забор, и принимался считать деньги. В маленькой комнатушке, которую он снимал у многосемейной финки, было все слышно — как возится на кухне хозяйка, как бегают по дому дети, поэтому Иван, считая деньги, косился обычно на дверь, припертую в таких случаях скамейкой. Он считал, расправляя марки, а по окончании держал их в руке под одеялом и прикидывал в уме, чего бы лучше купить, когда придет время ехать домой.

Изредка наезжал к нему Шалин, нанявшийся матросом на рыболовное судно. Приезжал всегда пьяный и просил у Ивана денег. На вопросы о том, скоро ли они направятся в Россию, Шалин отвечал всегда раздраженно и грубо:

— На кой она те черт, твоя деревня, твоя Россия? Зачем ты туда поедешь — кресты целовать? Там все с голоду передохли! — Он делал широкий жест рукой, потом долго и молча грозил ему длинным шершавым пальцем и неизменно добавлял: — Ты должен по гроб на меня молиться, что вытащил тебя из Кронштадта. Дай марок! Да отдам, не мнись, сермяга!

Иван давал марок и просил:

— Андрей Варфоломеич, может, меня одного как-нибудь направить домой-то, раз вы. . .

— Хм! Направить! У тебя, должно быть, деньжата завелись, так дай их мне, я куплю пост президента — и дело в шляпе: направлю!

Последний раз он был угрюмее обычного, а уходя от Ивана, зло твердил:

— Все там в России передохли! Все!

Но Иван не верил, он знал одно: Обручевы — цепкий народ, из земли всё выжмут, спать не будут, лаптей наплетут, полотна наткут, но ни голод, ни холод их не возьмет. Живы они, и жива деревня! С этого не мог сбить его Шалин. Ну, а если и в самом деле нехватки, думал Иван, так вот тут-то и пригодятся, тут-то и придутся в пору те вещи, что привезет с собой Иван.

Однажды в воскресенье он надел чистое белье, брюки и пиджак, повязал шарф, чтобы скрыть неважную рубашку, примерил новую кепку с большой пуговицей, надел и ее и отправился в центр города, в магазины, присмотреться к товарам.

Он видел много интересного. Незнание языка, боязнь показаться смешным или помешать кому-нибудь сделали его осторожным, развили внимательность, какой раньше не было у него даже на флоте. Некоторые явления этой неизвестной ему жизни казались странными, другие — даже смешными. Так, например, он совершенно твердо установил, что мужчины, заходя в магазины, где продавались женские товары, обязательно сымали шляпу, а многие даже заставляли себя улыбаться, хотя на улице Иван видел их озабоченными. Продавцы тоже были ласковы, не как Шалин-старший в своей лавке, кричавший, бывало: «Не мусоль мануфактуру, суконное рыло!» Здесь продавцы каждому купившему у них вещь говорили: «Китош»,<sup>1</sup> даже тем, кто долго торговался с ними и сбил цену, а кой-кого, кто сделал покупку крупной, провозжали до двери и кланялись.

Иван путался в толпе, вслушиваясь в финскую речь и узнавая в ней некоторые уже знакомые ему слова, но всего смысла быстро брошенной фразы он еще не мог постичь. Порой он слышал совершенно незнакомую речь, и тогда неизменно решал: шведы. Ему уже было известно, что среди финнов немало живет шведов. Он знал также, что на хуторах шведов и финнов различить очень легко — по цвету крыши, но не запомнил, кто из них красит крышу в зеленый, а кто в красный цвет. «Надо бы узнать», — решил для себя Иван и продолжал присматриваться к окружающему. Все, что он видел, старательно запоминал и с удовольствием раздумывал над тем, как, возвратясь домой, в деревню, будет рассказывать там, сидя где-нибудь на завалинке со стариками.

Устав в магазинной суতোлке, он принимался бродить по улицам, потом опять его манили витрины, затем снова он стремился уйти от тесноты и вышел наконец на окраину. Улица кончалась у залива,

---

<sup>1</sup> Спасибо (фин.).

широко, до самого горизонта раскинувшегося слева, а направо, напротив города, залив врезался нешироким — в полторы версты — рукавом, на другом берегу которого зеленел прибрежный камыш и подымался по скалам сосновый лес. В заливчике чернели лодки рыбаков, а слева, на огромном водном просторе, где виднелись острова, и дальше за ними, — вода была бурая от легкого шторма. Иван остановился на краю спуска к берегу и ощущал лицом знакомый морской воздух, его тонкий солоноватый вкус. Вспомнился флот, броненосец, собратья-матросы, которые полегли, должно быть, в бастионах Кронштадта, но сердце не защемило тоской. Он стоял на обочине булыжной дороги, кончавшейся тут же, у последних домов города, где уже не сметали с камней конский навоз, вспоминал сослуживцев, а на душе было тихо и пусто. Не было ни мыслей, ни желаний, лишь только тогда, когда по горизонту пролегал длинный хвост пароходного дыма, Иван подумал, что судно ушло к берегам России, — сердце его слегка зашлось и защемило, как от большой высоты.

В городе ударил колокол. Иван очнулся и понял, что это звонят в русской церкви, очень похожей на один собор, который он видел в Петрограде.

Обратно шел по левой стороне улицы, поднимавшейся в гору, мимо кладбища с не по-русски низкой — до пояса — оградой из грубого гранита, с желтыми дорожками, с косым натесом могильных плит. Было еще не совсем поздно, и он снова походил по магазинам, но в свою камнатушку он вернулся не в лучшем настроении: по ценам на вещи он понял, что денег у него очень и очень мало. Ложась спать, он почувствовал себя совершенно измученным от того нервного напряжения, которое он испытал в воскресной сутолоке Гельсингфорса, и решил, что больше туда не пойдет до самого отъезда в Россию. «А ну их всех! . . .» — думал он, засыпая. А в глазах — магазины, лица, кривые и короткие улицы, на которые то и дело выбегали сосновые перелески с живыми белками на ветвях, неровные, разноэтажные дома, вывески на чужом языке, нахальные квадратные окна — все совсем не такое, как в Петрограде. . .

Всю минувшую неделю Иван ждал Шалина, приготовив ему немного выпивки и упреки, но тот не появлялся. «Не убили ли где горячую голову?» — думал Иван, и при этой мысли на него находил страх от того, что он может остаться один в этом чужом городе. Это чувство не могли рассеять ни изнурительная работа, ни шустрые хозяйкины ребятишки — трое белоголовых, немного озорных сорванцов, которым он частенько покупал дешевые конфеты, ни сама хозяйка — молодая стройная женщина, тихая и аккуратная. Ивану нравилось ее смуг-

лое тонкое лицо, вечно утомленное и строгое, но порой это лицо освежала светлая улыбка, и тогда Ирья, как ее звали, с ее недавним семейным счастьем, неожиданно рухнувшим под сырыми бревнами в порту, где погиб ее муж, вызывала в Иване какую-то смутную тоску и заставляла надолго задумываться. «А ведь ладная бабенка-то, только и есть, что в бедности, а ну-кось приодеть!..» — размышлял он и сожалел, что не прицелялся к женской одежде. Он решил подкопить денег побольше и сделать ей дорогой подарок.

Но вот по заводу поползли слухи, что кончатся запасы зерна, а это значило, что завод может остановиться и не будет работы. Зерно завозили небольшими партиями из разных стран Европы и частью — с внутреннего рынка. Иван слышал, что, с тех пор как Россия начала войну с Германией, с самого четырнадцатого года, на пивном заводе не было настоящей работы — все перебой, увольнения.

Однажды — это было в конце зимы — Иван пришел на работу, как обычно, одним из первых, сел на свое место под навесом, посторонился от сквозняка и принялся за дело. Он так увлекся и так привык не обращать внимания на окружающее, что не сразу почувствовал необычное настроение рабочих. Все почему-то стояли кучкой и — кто с интересом, кто с сожалением — смотрели на старательного Ивана. Когда появился старший, рабочие заговорили все разом, но тот отмахнулся и, подойдя к Ивану, объяснил ему через русского, что его увольняют и что надо идти в контору за расчетом. В конторе Ивану сказали, что работы больше нет, что скоро уволят и остальных, даже давно работавших, поскольку тары на складе накопилось на несколько лет. Кризис.

«Кризис, — повторял Иван, ошарашенный неожиданностью, — кризис. . .»

Лес, заготовленный в зимние месяцы, был заранее вывезен торговцами в порт. Это был прекрасный строевой лес, срубленный не в сок, а в зимнюю замреть, когда древесина не размякла от весеннего пробуждения и была плотной и звонкой. Такой лес дольше стоит, лучше обрабатывается под столярные изделия и потому именно его отправляют за золото в Европу и дальше.

Иван знал, что началась массовая отгрузка леса, и пришел в порт, но места не нашлось. Каждая бригада стремилась сократить число рабочих, чтобы общий заработок делить на меньшее количество голов. Правда, это был тяжелый труд, но зарабатывали грузчики неплохо. После полочки они дня два-три приезжали на работу на извозчиках и навеселе — вот, мол, как, знай наших! Поэтому не случайно возле каждой бригады слонялось много завистников, кляузников и просто желающих заработать.



Иван по-прежнему жил у Ирьи, аккуратно платил ей за жилье, но питался плохо, экономя подработанные за зиму деньги. С конца мая он взялся за огород хозяйки и весь его вскопал. Вместе с ней они обрабатывали кусты и посадили овощи. Потом недели три он поработал с рыбаками, что рыбачили в заливе, спрашивал у них про Шалина. Молчали. Один, правда, слышал о нем, но в ответ только почесал в затылке, махнул рукой в сторону открытого моря и плюнул, что должно было означать: не делом занимается человек.

А лето уже было в разгаре. Под окошком Ивана, у забора, поднялась высокая сочная трава. «Сейчас в лугах травы цветут, к покосу дело идет. Не пойти ли по хуторам?» — подумал он между прочим, но эта мысль крепко засела у него в голове, а дня через два он посоветовался с Ирьей. Та с недоверием отнеслась к его затее: не хочет ли он просто уйти от нее? Но, все взвесив, она забыла свои интересы и страх потерять этого русского парня, о котором ей разное думалось, по-житейски. Она собрала и проводила его, может быть навсегда, зная одно: можно ему заработать на хуторах, на покосе. Был хороший травостой.

Ранним июльским утром Иван уехал из города, и всех вещей с ним было — два узла. В вагоне он несколько раз повторил проводнику название станции, до которой ему советовала ехать хозяйка, и успокоился. Поезд часто останавливался на мелких станциях и снова уходил сосновыми перелесками да редкими березняками в голубую июльскую даль, где ждала Ивана одна неизвестность.

Через несколько часов проводник дал знак, что пора выходить.

На станции было несколько домов, стоявших в стороне от вокзала. С другой стороны железнодорожной линии было большое озеро, спокойное, с легкой рябью и синее в этот погожий день. На другом, далеком берегу его, чуть подернутом синевой, виднелись просторно стоявшие дома, среди них один большой, белый, должно быть каменный. Там же виднелась квадратная серая колокольня кирпичи.

Поезд скрылся за поворотом. Иван посмотрел вслед последнему вагону и с тоской понял, что в той стороне, на юге, где-то совсем близко — русская граница.

Из вокзала — маленького деревянного здания — смотрел пожилой железнодорожник. Иван хотел расспросить его о местности, но тот убрался и через минуту, уже без форменного сюртука, без фуражки и босой, вышел и направился в другую сторону с граблями. Иван поднялся в гору и вошел в один из домов. Хозяев не было, но дом оказался незакрытым. Иван походил по комнатам, позвал, напился воды и, с чувством какого-то неудобства, торопливо вышел и зашагал по дороге.

Было часа два пополудни. Стоял хороший сенокосный день с жа-

рой и легким продувным ветерком; воздух подрагивал над песчаной дорогой, зудели кузнечики в сухом, но не пыльном придорожье, и лесная даль с ее редкими хуторами совсем по-русски тонула в синеве. Иван спустился в прохладную ложину, потом вновь поднялся на гору и увидел вдали раскиданный по низине поселок и кривые ручейки бело-желтых песчаных дорог, сбегających к нему из окружающего леса. Он вновь стал спускаться вниз по дороге и вскоре услышал голоса и почувствовал запах сена. Внезапно из-за поворота показался огромнѣй, покосившійся воз сена — зеленого и душистого, как чай.

«Хорошие хозяева, — отметил про себя Иван, — вовремя косят: духмяное сено, а вот лошадь не берегут, эвона нагрузили...»

У переднего колеса хлопотали двое, крихтели и переругивались. — Хювя-пйявя!<sup>1</sup> — приветствовал Иван.

— Тэрвэ!<sup>2</sup> — коротко бросил один из них из-под сена.

У телеги свалилось колесо, видимо железной окантовкой втулки съело чеку или ее выдернуло где-нибудь в кустах.

Иван бросил вещи на траву и кинулся помогать. Он уперся спиной в сено, руками — в колени и, подождав, пока приноровятся финны, стал сам командовать.

— Раз-два — взя-аали! — натуживался Иван.

Завалившийся воз качнулся и медленно выпрямился. Один из финнов, что был постарше, быстро накинул колесо на ось и, облегченно вздохнув, поблагодарил Ивана.

— Сейчас, — сказал Иван и стал развязывать мешок, откуда он вынул молоток, — сейчас загнем.

Он взял из рук молодого финна сломанную чеку, примерил, не будет ли коротка, загнул и вставил в отверстие втулки.

— Вали, ребята, теперь хоть до Москвы!

— Хо! Москафа? — спросил молодой.

— Нет, — печально ответил Иван. — Гельсингфорс. Русский...

— Руссака! Руссака! — весело повторил молодой.

— Китош, руссака, китош! — еще раз угрюмо поблагодарил старший и тронул лошадь.

Воз заскрипел и медленно поплыл среди молодого сосняка,

К Ивану подошел младший, и вместе они зашагали позади воза. Изредка молодой финн осторожно посматривал на русского, но всякий раз, когда Иван поворачивал к нему лицо, тот смущался.

Впереди слышались приветственные голоса, и воз остановился около хутора. Под окнами обшитого вагонкой дома на ошкуренных

---

<sup>1</sup> Добрый день! (фин.)

<sup>2</sup> Здорово! (фин.)

по-хозяйски бревнах сидели люди. Спутники Ивана подошли к ним, а он остался стоять на дороге у воза.

— Эйно! Эйно! — закричали с бревен.

Из дома вышел пожилой финн, растирая лицо ладонями. Он, видимо, отдыхал, пережидая жару, но стеснялся этой слабости. Вслед за ним вышел здоровый молодой парень, лицом в отца, белокурый и голый по пояс; мышцы на его теле мягко обозначались при каждом движении. За этими двумя из дома вышел еще парень, помоложе, еще совсем хрупкий, но такой же беленький, а следом за ним пожилая женщина осторожно выглянула из-за косяка. Потом стремительно убежала девушка в голубом платье и с распущенными, хорошо ухоженными волосами. Она подошла к хозяину воза, и тот стал ей что-то сдержанно, но строго выговаривать. Видимо, это была его дочь. Потом он что-то сказал Эйно, качнув головой в сторону Ивана, и воз тронулся. Следом за ним пошли люди с бревен и девушка.

— Фы русской? — спросил Эйно и склонил голову, ожидая ответа.

— Да! — обрадовался Иван. — Я из города. Есть документы. Я ищу работу. Я деловой, умею косить, делать бочки, корзины, лапти. . .

— О, лапти — нет, — улыбнулся Эйно, и лицо его подобрело.

Иван смутился от своей скороговорки и посмотрел на остановившегося на почтительном расстоянии старшего сына Эйно. Тот переступил и стал смотреть в сторону. Ивану это понравилось. По опыту он знал, что за такого рода смущением у молодых людей кроется порядочность, у пожилых — беспокойная совесть.

— А бочки — это хорошо, — продолжал финн, произнося слово «бочки», как «почки». — Фы будешь тут иметь покупатель многа.

— Вот и ладно, — улыбнулся наконец Иван.

Эйно огляделся, жмурясь от солнца, и быстро спохватился:

— Та! А как фас зафут? Меня — Эйно, а фас?

— Иван. Обручев Иван я, вот документы. . .

— О, Ифан! Не ната такументы! — поморщился он и обернулся к сыну: — Ифан. . .

— Ифана, — негромко сказал сын тем, что стояли у крыльца.

— Итем, Ифан, ф мой том. Там пакафарим!

Подошел сын Эйно, поняв по жесту отца, что русского приглашают в дом, и взял у Ивана рюкзак и мешок с инструментом.

Ивана накормили отдельно в дощатой кладовой, примыкавшей к крыльцу, с которого был вход. Там же, на низком топчане, был послан ему старый тощий постельник, пахнущий сенной трухой и по-

том. У маленького оконца, выходявшего на засеянный рожью косо-гор, стоял шаткий столик, наспех сколоченный из досок, около него — скамейка. Когда хозяйка унесла посуду из-под молока и кусок пирога, который Иван не решился съесть, и шаги ее затихли за тонкой дверью, он огляделся и торопливо съел обломок хлеба из своего мешка. Затем он встал со скамейки и, постоянно оглядываясь на дверь, стал ощупывать предметы, окружавшие его. Он потрогал стол, ту же скамейку, проверяя их на прочность, под обоями его ладонь определила неструганые доски стены, постельник ему показался тонок, но он был доволен и этим. Далее он отметил про себя грубо сделанную глухую раму в оконце, зато ему понравился плотно пригнанный пол и удивило отсутствие запора на двери.

«Смело живут, — решил он, — да и воровства, видать, не заведено».

Ивану хотелось лечь и уснуть, но он опасался, что придет Эйно, однако тот не пришел, и потому, когда в доме все затихло, Иван торопливо, по-флотски, разделся и лег на постельник, под лоскутное одеяло. Голова его покоилась на неожиданно мягкой и большой подушке; в оконце была видна зеленая стена заколосившейся ржи, а над ней — широкий закат светлой северной ночи. Было так светло, что Иван видел отдельные колосья ржи и ее гибкие, еще сочные стебли. Сегодня из окна поезда он дивился обилию вот таких же зеленых островков среди перелесков; рожь была посеяна даже в топких низинах и на каменистых взгорьях — там, где сеять ее рискованно, и он еще раз понял, как велика нынче у людей цена хлебу. Вспомнился нетронутый кусок хозяйского пирога, и легкое сожаление о нем уступило место первоначальному — когда он уже ужинал — чувству человеческой совестливости и исконно неписаному закону хлебопашца: сначала заработать, потом — есть. За время службы во флоте Иван утратил остроту такого мироощущения, только первое время он тайно дивился тому, что такую силу народа, какая была на их крейсере, в том числе и его, Ивана, кормили три раза в день ни за что. Это сначала веселило его, потом он привык, стал принимать все это как должное и даже ворчать вместе со всеми, если еда была плохой или ее было мало. Сейчас же, увидев заново землю и пахаря, он понял, что в мире ничего не изменилось и не изменится в том извечном порядке вещей, при котором каждый обязан сначала заработать, потом есть.

«Сначала заработать, потом — есть», — прошептал он и вспомнил: что-то похожее он слышал от грамотных матросов на судне или где-то на митинге. «Да, это на митинге, в Петрограде. . .»

Иван с большим недоверием относился ко всем, кто кричал перед народом с трибун. Но был один случай, когда он поверил. Разговор между оратором и народом шел именно об этом, о самом важном —

о земле, о свободном труде и о праве есть. «Но кто же тогда так хорошо говорил с трибуны? Да кто, кроме Ленина? — Он!»

Мысль о свободном труде, неожиданно пришедшая к нему в такой момент, когда он нанимается, взволновала Ивана, и все же он решил работать по совести, так, чтобы о нем не думали плохо. «Завтра же покажу им, как у нас, тамбовских, работают!» — твердо решил он.

У дома прошуршали шаги, потом кто-то остановился у калитки.

Иван осторожно приткнулся к оконцу и заметил молодого, плохо одетого парня. Тот уже остановился у входной двери и ждал чего-то.

«Хозяева спят, а он... Неужели вор?» — мелькнула мысль.

Незнакомый вошел в дом и вскоре вышел вместе с Эйно. У калитки они поговорили немного и разошлись.

— Не спишь, Ифан? — заглянул Эйно. — Работник прихотил. Хороший.

Иван молчал.

— Ну, латна! Утро фечера умней! Хювя-йёда! Спокойной ночи!

«Вот оно что, — подумал Иван с тревогой, — работник был. Видно, Эйно своего возьмет, а мне придется дальше горе мыкать...»

— Спокойной ночи, Эйно, — ответил Иван, очнувшись от тяжелого раздумья, и отвернулся к окну.

Зеленая рожь за стеклом качнулась от случайного ветра, заволновалась. Показалось, что легкие колосья задевают за стекло, и в глазах Ивана все зарябило, заколыхалось... Вспомнилось почему-то Русиново, отцовское поле и тот год перед войной, когда отец так плотно припахал землю к овину, что поднявшаяся рожь стучала и царапала стену.

«Неужели никогда больше не увижу? Как там сейчас, в России? Неужели худо? Неужели зря кровинца лилась столько лет? Взглянуть бы вот хоть через такое оконце...»

Иван перевернулся на живот и уткнулся лицом в подушку.

— Ифан, фстафай!

Иван вздрогнул, секунды две — пока не осознал, где он и что с ним, — дико смотрел перед собой, затем быстро, как по тревоге, вскочил и оделся. Эйно улыбнулся, довольный его поспешностью, и приотворил дверь.

На столе уже стояло молоко и два куска пирога с кашей — очевидно, хозяйка неслышно поставила все это совсем недавно.

Иван торопливо выбежал во двор, умылся у скотного двора из бочки с теплой водой, отряхнулся, лениясь достать полотенце из мешка, и, вернувшись, съел завтрак, поскольку уже чувствовал, что предстоит работа. Эйно вошел опять, когда Иван еще сидел за столом.

— Ешь, ешь! — махнул он рукой приподнявшемуся со скамейки Ивану, но тот уже дожевал, ногой двинул свои мешки под топчан и выпрямился перед хозяином.

— Косить?

— Та, немного: сегодня воскресенье, — ответил тот и пошел первым на улицу.

К удивлению Ивана, перед домом, опираясь на косу, стоял вчерашний поздний гость. Иван поклонился ему, тот слегка кивнул в ответ и украдкой смерил фигуру Ивана оценивающим взглядом.

Эйно предложил Ивану выбрать косу и повел его под навес. «Короткой не натяпаешь, длинная утомит скоро, а вот она, матушка, средняя», — подумал Иван и заметил, что у партнера коса длинная.

Выбрав косу, он подошел к стене сарая, упер ее носком в бревно и сделал несколько нажимов, отчего коса несколько раз спружинила. Иван заметил, что носок волнил при выпрямлении, и повесил косу обратно.

Эйно и молодой финн с интересом смотрели на непонятные действия русского.

«Знай наших!» — подумал Иван и снял со стены вторую среднюю косу, тоже неплохо отбитую, и так же, как и первую, проверил. Носок этой косы был мягче, но не волнил, что, как Иван знал по опыту стариков и своему собственному, означало хорошую ковку металла. По звуку — долгому и ровному — коса тоже была хороша.

— Вот эта пойдет, — сказал Иван и подмигнул молодому финну. Тот не ответил.

Настроение Ивана, поднявшееся было во дворе, испортилось, как только они пришли на покос.

Площадь покоса лежала несколькими полосами среди прямых неглубоких канав и была тщательно ухожена, не было по канавам ни одного кустика, лишь кое-где белели сваленные в кучу камни.

Иван отметил хороший травостой и прикинул длину полосы. «Ну и длиннущая, — подумал он, — два броненосца встанут в кильватер, ей-богу! Ну, зато — размах».

Эйно тронул его за плечо и повел на противоположную сторону покосной полосы. Там он поставил Ивана по одну сторону, а второму показал издали знаком, чтобы тот встал на другую.

Иван понял: проверка.

Хозяин дал знак начинать, а сам ушел на другую, соседнюю полосу и принялся там деловито, неторопливо косить, посматривая на работников исподлобья.

Иван поправил лопаткой косу, скинул пиджак, поплевал на ладони и начал свой прокос.

Было половина шестого, но солнце уже показалось над ближним лесом и играло в росе. Пахло срезанной травой, растревоженной пылью цветов и томной прохладой земли. От леса неслась птичья разноголосица, сливавшаяся со стрекотом кузнечиков, зелеными каплями брызгавших из-под косы, но Иван был глух ко всему этому. Его подавляла и казалась обидной эта никчемная проверка сил. Он стал проникаться неприязнью к идущему навстречу сопернику — сопернику по куску хлеба. Иван видел его экономные уверенные движения, сильные повороты корпуса, неподвижность головы и, невольно поддаваясь подмывающему чувству, — не отстать, одолеть! — ускорял свои движения. Однако скоро он понял, что едва ли вытянет: отвык.

Финн шел навстречу. Он был все ближе и ближе, уже была слышна его коса. Вот уже скоро они должны будут разминуться, а силы уходили. Ивану стало казаться, что напрасно он взялся за это, уступить бы и попытать счастья в другом месте. И только он это подумал, как сразу же подступили десятки различных желаний: хотелось передохнуть, потянуться, зачесалась спина, потом показалось, что плохо намернута портянка и трет большой палец правой ноги. Возникло желанье напиться, и он пожалел, что не сделал этого в лесном ручье, который они переходили по пути сюда, — словом, все выходило так, что лучше бросить косу и уйти.

Но вот они поравнялись.

Иван торопливо точит косу, расслабив тело, и украдкой оглядывается на свой прокос, прикидывает длину его и сравнивает на глаз с прокосом соперника. Ивану кажется, что он прошел не меньше, а парень устал тоже. «Еще ничего не потеряно, еще можно потягаться», — думает он с надеждой и усиливает свои взмахи. Он слышит, как удаляется коса соперника, и видит впереди конец полосы. . . «Нажать!» — думает теперь он и еще ускоряет движенья. Уже не хватает дыханья, он дышит короткими вздохами, в горле, между ключицами, колет, как будто он проглотил кость, колет поясницу. «Эх, поотвык!» — сокрушается Иван и слизывает пот с губ. Ему становится стыдно за то, что он с такой важностью выбирал косу, и этот стыд еще сильнее подстегивает Ивана. «Нажать! Нажать!» — твердит он и ожесточенно выписывает косой дуги, мах за махом. Скоро конец прокоса. Последняя поправка косы. Смотрит через плечо, и кажется ему, что соперник уже у самого края. «Нажать!» Остается немного, еще полсотни взмахов. «Эх, взглянуть бы, закончил он или нет?»

Птица с криком взмыла из-под самой косы Ивана. Он вздрогнул и остановился с занесенной косой, потом подался вперед и увидел гнездо, а в нем головки пестреньких птенцов.

Иван опустил косовище, встал на колени и раздвинул траву трясуцимися руками. Кровь стучала в ушах.

— Эка ддура, где угнездилась, — с ласковой укоризной проговорил Иван и хотел вынести гнездо, но вдруг снова схватил косу, короткими косыми ударами обтяпал траву вокруг гнезда, оставив его одиноким зеленым кустиком, и добил свой прокос несколькими десятками отчаянных взмахов.

«Все. . .»

Иван оглянулся — соперник стоял, опершись на косовище. Он закончил раньше.

Эйно шел к Ивану, обтирая на ходу свою косу пучком травы. Он бросил взгляд вдоль Иванова прокоса, начатого строго, по одной линии, но с того места, откуда Иван стал спешить, стена травы выгнулась и зубрила провалами. Эйно, как бы между прочим, подошел к прокосу финна и мельком взглянул на него. Виновато покашливая, подошел Иван.

Соперник Ивана неторопливо шел к ним с косою на плече вдоль прокошенной полосы, безукоризненно строгой, как отбой по нитке, — шел с явным сознанием своей победы.

Эйно закинул свою косу на плечо.

— Пора, — сказал он, — воскресенье.

И пошел, не оглядываясь на идущих за его спиной парней.

Соперник Ивана свернул вскоре в поселок, а они с хозяином все так же молча пошли домой.

Иван прошел к себе в комнатушку, сел на скамью в тяжелом раздумье и опустил руки между колен. Он видел, как через некоторое время прошел в кирху Эйно с женой и младшим сыном, прошел, не взглянув на оконце кладовки. Видимо, ему нелегко было отказать человеку без крова и без родины, но он надеялся, что русский сам поймет.

Вошел старший сын хозяина — Урхо, принес поесть и опять вышел, потоптавшись у двери в своих меховых бараньих туфлях на босу ногу. Иван вяло, не думая, что делает, съел глиняную миску картошки со сметаной, кусок хлеба с подожженной коркой и только после этого испугался своей бессовестности. Он стал торопливо собираться в путь. Завязал покрепче свои мешки, перевернул потные портянки, накинул пиджак и задумался — ладно ли он делает, уходя не простившись? И решил, что хозяйева только этого и ждут. Однако он почувствовал перед ними какую-то вину за то, что обманул их надежды, и какой-то долг за ночлег и съеденное. В раздумье он вышел во двор, опустил свои вещи к ногам и присел у поленницы ольховых дров. Дрова были хорошо просохшие, с лучиками трещин по срезам. Он зачем-то выдернул одно из поленьев, подержал его в руке и подумал, что из такого материала, если выбрать поленья пошире и без сучков, можно сделать хорошую шайку под ягоды или грибы. . . Эта мысль понравилась ему,



он обрадовался ей и решил сделать шайку, чтобы оставить ее хозяевам за ночлег.

«Пусть не думают, что русский нахал», — решил Иван и достал свой инструмент из мешка.

За работу он взялся горячо. Отобрал десятка полтора плащевидных поленьев без сучков, отесал их в одну ширину и толщину, профуганил кромки наискось, задумался на минуту: «С ушками шаечку аль без ушков?» И решил, тряхнув рыжеватой, слегка курчавой головой: «Делать так делать! С ушками — и весь сказ!» Две дощечки он выбрал повыше и рассчитал их одну против другой. Затем началось главное: подготовка и врезка днища. Он работал не подымая головы и только раза два кивал подходившему к нему Урхо. Он уже затесывал нижние концы досок-боквин, когда почувствовал жажду, но не остановил работу и даже не отодвинулся в тень, боясь, что не успеет до прихода Эйно закончить свою работу. Днище он сделал потолще и боквины врезал в него глубоко и плотно. «Ни в жизнь не потечет!» — обрадованно и гордо подумал он и побежал к елкам срезать ветку для обручей.

К полудню, когда он уже провертывал сверлом дырочки в ушках шайки, мимо дома Эйно прошли несколько нарядно одетых женщин, видимо возвращавшихся из кирхи, что была за большим озером у станции. Иван заторопился.

Он нагнал обручи, красиво обрезал кромки, вытряхнул из шайки мелкие кусочки дерева и стружки и поставил ее, легкую, плотную и красивую, на самом виду на крыльцо.

«Ну вот, и в расчетах теперь», — промолвил он про себя и, сложив инструмент в мешок, побежал к колодцу пить.

Через некоторое время он уже брел по дороге к поселку. На душе было тихо, пусто. Он с тоской начал думать о доме, о Шалине, который теперь, потеряв его след, уже не поможет выбраться на родину.

Где-то, показалось, крикнули.

Иван оглянулся.

— Ифана-а! Ифана-а!

По дороге от хутора бежал Урхо и, невзирая на то что Иван тотчас остановился и ждал его, продолжал бежать, блестя на солнце своими новыми сапогами дубленой кожи, надетыми в честь праздника. На бегу он придержививал финскую узкополую шляпу, махал рукой и кричал:

— Ифана! Тулэ-таннэ! Тулэ-таннэ!<sup>1</sup>

Иван понимал, но не двигался с места, ждал.

---

<sup>1</sup> Иди сюда (фин.).

Урхо подбежал и, схватив его за рукав, потянул назад, к дому, и не переставал быстро говорить что-то, из чего Иван только и понял, что его ждет Эйно.

Хозяин встретил Ивана около дома и со сдержанной улыбкой объявил ему, что утром тот не так уж и плохо работал и что он оставляет Ивана до осени.

— А тот? — спросил Иван про утреннего напарника и качнул головой в сторону, словно финн-работник стоял за углом.

— Я ф кирхе погофорил с ляккяри, тот его возьмет к себе. Ляккяри — это по-финскому, а по-русскому — фрач, — пояснил Эйно и, похлопав Ивана по широкой спине, заглянул ему в глаза и добавил: — А почка тфой очень хорошо понрафилась фсем, та-а...

В глубине крыльца мелькнуло платье хозяйки, ее доброе смуглое лицо с тонким прямым носом. Она вся светилась сдержанной радостью, которая пришла к ней в этот праздничный день и потому, что она побывала в кирхе, и потому, что у них в страдную пору, что начнется завтра, будет хороший помощник — совестливый трудолюб, и оттого, что в печи все готово к празднику, а пироги, по обыкновенью напеченные в субботу на целую неделю, со вчерашнего вечера уже лежали на полке под холстом.

Эйно, от которого уже слегка пахло спиртным, был по-прежнему степенен, но весел и неточен в движеньях. Он не торопясь подошел к шайке Ивана, похлопал по ней, погладил, поднял на уровень лица и посмотрел на свет, нет ли дыр.

Иван засмеялся и покачал головой.

Эйно понял, что дал маху, и тоже засмеялся, потом крикнул сына и заставил его налить в шайку воды, а второму приказал принести Ивану мыло, полотенце и проводить к ручью, поскольку вчера он не мылся в бане.

Иван с удовольствием вымылся в ручье холодной прозрачной водой, а когда вернулся в свою комнатунку — там все было по-новому. На топчане, подвинутом в уютный угол, был постлан новый постельник, хорошо набитый и покрытый коричневым одеялом, а сверху лежала полная белая подушка. Стол был накрыт холстом, а на полу, у самого входа, стояли хотя и поношенные, но еще здоровые меховые туфли для ходьбы в помещении. На гвозде, необыкновенно длинном, квадратного гранения (такие гвозди Иван видел впервые), висело свежее полотенце. Обои на стенах были обтерты сырой тряпкой и еще кое-где хранили непросохшие пятна влаги, а пол, тоже вымытый и еще не просохший, наполнял комнату бодрящим запахом свежести.

Иван решил переодеться.

Вечером у Эйно были гости. Пришел тот самый финн из поселка,

которого Иван встретил у сломанного воза в лесу, пришла его жена и старуха, должно быть мать, и сын, которого Иван сразу узнал тоже. Не было только дочери, светловолосой девушки в голубом платье.

Иван видел, как все они, нарядные и торжественные, прошли мимо его оконца, и понял по их виду, что праздники у этих тружеников — то есть дни отдыха — редки и они относятся к этим дням с уважением.

Мужчины прошли с ножами у пояса, причем отец имел нож длиннее, чем сын. К своему удивлению, Иван заметил, что и Эйно, вышедший встречать гостей, тоже прицепил к поясу длинный красивый нож, а Урхо — поменьше, брат же его — еще короче, и тоже в кожаных ножнах.

«На гулянку, должно, собрались, — решил Иван и тут же отметил: а у нас ведь не показывают, в голенище носят, и если что, так из голенища достают. . .»

Ивана позвали, но не сразу. Уже слышались из дома песни, когда пришел за ним сам Эйно и повел в просторную кухню, где за раздвинутым столом сидели все — хозяева и гости. Появление русского не смутило и не нарушило их настроения.

Немного стесняясь, Иван сел на предложенный ему стул. Хозяйка суетилась, подвигая закуски, и руки ее, по локоть голые, по-крестьянски натруженные, но опрятные, то и дело мелькали перед ним на столе. Она подвигала и указывала Ивану на тушеное мясо, на всевозможную — жареную, тушеную, фаршированную, отварную и прочую рыбу. Тут же были и пироги с самыми различными начинками — от яиц до брюквы, только не было пирогов с капустой, которую, как уже знал Иван, финны не любят.

Хозяйка позвала женщин показывать шайку, сделанную русским, а хозяин занял свое председательское место и достал бутылку.

«Ах, мать честная! — изумился Иван, увидев на столе лишь один стакан на всех. — Как же это они пьют-то?»

Эйно налил водку в стакан, говоря что-то неторопливо и торжественно, потом выпил при общем внимании, стряхнул остаток на пол и налил еще. Второй стакан поднес соседу. Тот выпил, тоже стряхнул из стакана на пол и стал закусывать, а хозяин пошел к следующему, что-то приговаривая.

«Дивья!» — подумал Иван, и глаза его засветились озорной желтизной.

Хозяин налил и своему старшему сыну, но не полный стакан, младшего обошел, но когда тот посмотрел на отца, Эйно смыкнул ему стаканом по носу под общий смех. Наконец дошла очередь до Ивана.

«Дивья!» — подумал он опять, принимая водку, а вслух поблагодарил по-фински: «Китош!» И еще раз добавил, выпив: «Китош!» — а про себя подумал: «Эх, тоже хозяева! И огурчиков-то нет...»

Он достал себе круто посоленную жареную салаку.

К вечеру молодежь отправилась на другую сторону поселка, к лесному озеру, где в этот единственный в году день жгут старые лодки и водят хоровод. Там же деловые люди устраивают свои дела по найму работников, а молодежь пробует устроить свою самостоятельную жизнь. Обо всем этом сказал Ивану Эйно и посоветовал пойти к озеру с его сыновьями и молодым гостем, сыном Густава, что сидел тут же за столом, крепко выпив.

Иван согласился. Он надел вышитую русскую рубашку-косоворотку, купленную у соотечественника еще на пивном заводе, пригладил ладонью лацканы пиджака, почистил кепку, выбрил свое широкое лицо и пошел с парнями. В красивой рубашке с глухим воротом, с твердой морской походкой он мог еще успешно молодиться и выглядел немного старше Урхо.

С озера уже доносились песни. Голоса слышались преимущественно женские, а мелодия песни была такой широкой и задумчивой, что сразу понравилась Ивану и чем-то напомнила ему русскую песню.

На берегу уже разгорался костер, по традиции сложенный из старых лодок, а вокруг его горланили подростки, перетягивая палку. Жались друг к другу девушки.

Парни постарше, с ножами у пояса, в желтых дубленых сапогах, в рубашках с раскинутыми воротами, держались поближе к тем девушкам, у которых были «выходные ножи» у пояса, а в сущности — одни ножны. Носить эти ножны могли лишь те из девушек, которые уже окончили к шестнадцати годам три класса церковноприходской школы и могли открыто ходить на гулянья.

Иван внимательно наблюдал со стороны. В новой группе парней он заметил своего утреннего противника. Финн был одет почище, чем утром. Он сразу подошел к Ивану, пожал ему руку и ткнул себя пальцем.

— Юмари, — сказал он.

— А я Иван.

От поселка подошла группа пожилых мужчин, среди них был Эйно, его гость, какой-то господин в очках и в белом галстуке и еще несколько человек. К этой группе молча подходили парни. Юмари тоже направился туда и долго говорил с господином в очках.

В костре сгорела еще одна лодка, когда к Ивану подошел Эйно.

— А Иван все один! А почему ты не спрашиваешь, как я пуду тебе платить? Вон Юмари догофорился с ляккяри.

- Авось не обидите.  
— Афось? Что это — афось?  
— Ну, как сказать. . . Может быть, не обидите.  
— А! Афось — может пыть!

Иван кивнул и огляделся. На самом берегу у воды стоял Юмари с девушкой. «Ох, ловкач», — подумал Иван и тут же заметил, как его утренний соперник вынимает нож. «Ну, уж это. . .» — Иван кинулся было в ту сторону, но Эйно удержал его с улыбкой.

— Смотри, — прошептал он.

Измученный Иван заметил, как Юмари вложил свой нож в ножны девушки, но та встrepенулась, покраснела и бросила его нож на землю, Юмари медленно поднял его и побрел к поселку.

— Хороша Ирья, — шептал Эйно, — да и Юмари хороший сулханен,<sup>1</sup> да только педный, не пойдет за него Ирья.

«Эвона как у них, — удивился Иван, — ай да сватовство!»

В костер вворотили еще одну лодку.

— А я, Ифан, своей Ефе три раса сфой нож флошил, а на четфертый. . .

Эйно замолчал, не договорив. Его внимание привлек сын Урхо, разговаривавший с девушкой в голубом платье, с дочерью гостя.

— Это Хильма, Ифан. Та-а. . .

От озера Иван возвращался вместе с Эйно. Шли узкой тропой, и высокая трава обдавала росой их ноги. Сырость проходила через кожу. «Эх, зря деготь у них не в ходу! Смазать бы сапоги — и шабаш, а так нога будет сырая завсё».

Придя домой, к Эйно, Иван прошел в свою кладовку, переоделся в старое и вышел во двор. От озера еще доносился говор, а над лесом уже подымалось раннее летнее солнце.

Иван взял косу и пошел на покос.

До середины сентября Иван жил у Эйно.

Вся их семья с помощью Ивана вовремя справилась с покосом, и хотя в это время прошли обильные дожди, они сумели высушить сено на вешалках и убрать под навес. Картофель тоже они выкопали одними из первых в округе, и об Иване, как о главном работнике, пошли слухи. Многие зажиточные хуторяне сожалели, что не они наняли русского.

В конце сезона Эйно сказал Ивану:

— Ифан, ты хороший рапотник, ты можешь сам фести хозяйствфо.

---

<sup>1</sup> Жених (фин.).

Глаза Эйно светились многообещающим блеском.

У безымянного лесного озера стояла еще пригодная для жилья избенка дальнего родственника Эйно, по существу безродного человека, утонувшего года три назад на большом озере, что за станцией. . . Эйно подарил ее Ивану за его труды. После небольших хлопот Иван стал хозяином своего дома. Жена Эйно снабдила нового поселенца кое-какой посудой, дала лампу, банку с керосином и совсем новый матрас. Урхо перевез целый воз хорошо просушенных ольховых заготовок на бочки. Сам Эйно подарил Ивану старую одностволку и снабдил едой на первый случай.

Иван с радостью взялся за устройство своей жизни, и года через два уже считал, что в жизни его все прояснилось. Ему казалось, что надежды на возвращение домой, на родину, ушли вместе с Шалиным, что сам он, должно быть, останется холостым и умрет бобылем в лесном захолустье. От этих мыслей, от одиночества Иван стал угрюмым, задумчивым.

Однажды Урхо написал ему письмо для хозяйки, у которой он жил в городе. В письме Иван просил передать адрес Шалину, если тот появится. Ответа из Гельсингфорса не было всю зиму, а по весне приехала сама хозяйка, ее привел к Ивану младший сын Эйно.

Только четыре дня смогла пробыть она у Ивана, но остаться у него навсегда не могла и не обещала: дети подрастают и не согласятся ехать в глушь, а самому Ивану не прокормить ее семью в таком суматошном городе. Долго, несколько лет, помнил Иван эти четыре светлых дня, звал приехать свою горожанку еще, но больше она не приезжала. Однако Иван один раз в год напоминал о себе: он посылал ей деньги для ребят под Новый год. Когда он возвращался с почты, где отсылал деньги, он чувствовал себя так легко, словно побывал в бане или в церкви. А однажды перевод вернулся, и Иван понял, что он уже никому не нужен. . .

Осень в тот год стояла теплая, тихая — не осень, а сплошное «бабье лето». Порой перепадали легкие дожди, насквозь пронизанные солнышком, и, видимо, от этой удивительной одновременности противоположного в природе — солнца и дождя — такая осень и зовется «бабьим летом». Она как добрая слабая женщина, которая способна от теплоты душевной одновременно и радоваться всему, и обогреть, и плакать от счастья; все это в ней лежит рядом, и так близко, как эти легкие осенние дожди и солнце.

Тонкие светлые березки на том берегу озера и чистые осины уже поредели и багряно-желтой осыпью напестрили вокруг; их листья падали в озеро, и по временам, когда в эту заповедную тишь сры-

вался с горы обессиленный ветер, они дрожали вместе с водной гладью, топорщились и шевелились, словно продолжали жить.

Иван возвращался из лесу с двумя полными корзинами грибов. Белые уже иссякли, но соляников было еще много, поэтому он решил насолить их большую бочку, чтобы весной продать по сходной цене. Он спускался с горы по крутому откосу прямо к своему жилью, но, прежде чем увидеть замшелую крышу, почувствовал запах дыма. Неясная тревога закрадывалась в душу: кто-то в избе.

Дверь на озеро была растворена настезь, и в коридорчик нанесло рябиновых листьев, длинных, бледно-желтых.

Иван оттопал песок с сапог и прямо с корзинами через плечо вошел в помещение.

На постели лежал Шалин.

Ноги его, обутые в сапоги, свесились на скамью, рукава рубашки высоко закатаны, ворот расстегнут: печь протапливалась, и в избе было жарко. На столе стояла немытая посуда, кастрюля с остатками супа, чугунок с картошкой и недоеденный кусок черного хлеба.

Некоторое время Иван смотрел на знакомое клинообразное лицо с бровями вразлет, потом не торопясь поставил корзины у входа, и все это время Шалин следил за ним с легкой самодовольной улыбкой, не произнося ни слова и не двигаясь. Иван снял шапку, пиджак, кашлянул без надобности и протянул наконец Шалину руку, с усилием улыбаясь.

— Та-ак. . . Гость, значит. Как это вы нашли меня, Андрей Варфоломеич? — спросил Иван. — Городской хозяин подсказал, что ли?

Иван держался не заискивающе, как раньше, а с хозяйским достоинством.

— Да вот нашел, — отвечал гость все с той же прицеливающейся улыбкой, — захочешь найти — найдешь.

— Хорошо. . . Нашел, значит. . .

Беседа не клеилась.

Иван сполоснул посуду и, не приглашая гостя, стал есть остывший сун и картошку. Потом оставил стол в том же беспорядке и сел к окошку чистить грибы.

— Что-то ты вроде и не рад старому приятелю, — заметил Шалин и сел на постели.

Иван ничего не ответил.

— А я к тебе по большому делу, — опять сказал Шалин после продолжительной паузы, — поедешь со мной?

— Куды?

— Скажу. Поедешь?

Иван заволновался, но ничем старался себя не выдавать, однако руки быстро и бестолково стали резать грибы.

— Домой, что ли? — не выдержав томительного молчания, спросил Иван Шалина и с надеждой повернулся к нему.

— Какой там дом! Дом, брат, там, говорят американцы, где дела идут хорошо.

У Ивана загорелись уши.

— Ну, так как?

— Никуды я не тронусь! Мне и тут хорошо — и слава богу.

— Да я тебе настоящее дело предлагаю! — вскочил Шалин.

— Говорю: не пойду — и весь сказ!

Шалин нервно прошелся по избе, от окна до печки, посвистел, успокаиваясь, потом сел на корточки перед Иваном и со смешком заметил:

— А изменился ты, Обручев, изменился. Хозяином стал, что ли? Смотрю сегодня — участок разработал, все честь по чести... Только не это нам, эмигрантам, нужно. Мы с тобой должны большие дела делать!

— Эвона что!

— Большие, чтобы большими людьми стать на чужбине. Понял?

— Понял.

— Так надо не сидеть да грибы чистить, а делать эти дела!

— Делайте, а я пока посмотрю. Глядишь — опосля и мне понравится!

— Слушай, Иван, в каждом деле нужен риск, а ты...

— Рискуйте...

— Я уже рискнул, — ответил Шалин, сдерживая раздражение, — я уже многое сделал без тебя и опять, как тогда в Кронштадте, пришел звать тебя на готовое, а ты мне такие слова говоришь. Не хорошо так, Иван. Нехорошо.

Иван разрезал большой красноголовый подосиновик, посопел, высматривая червей, и стал неторопливо, по-деловому, как ломать хлеба, разрезать. Ножку — вдоль, шляпку — на кусочки.

— Так ты хочешь знать, в чем дело мое?

— Ну?

— А дело вот в чем. — Шалин запнулся, поскреб в затылке и начал: — Приобрел я рыболовную шхуну. Она, правда, не новая, но еще такая, что я те дам! На ней, если с головой работать, можно целое состояние сколотить. Рыба сейчас в хорошей цене на всех рынках, да и консервные заводы берут — только дай. Теперь ты понимаешь что-нибудь?

— Нет.

— Мне нужен надежный, работающий экипаж, человек из трех. Понял теперь? Пока, конечно, можем поработать и вдвоем, пока оперимся, а потом — ты за капитана, я — на берегу. Ты в море рыбку бе-



решь, я деньги делаю на берегу да с тобой делюсь. Ну, теперь-то понял?

Иван молчал.

Шалин нервно закурил. Иван тоже достал с подоконника вчерашний чинарик и докуривал его, держа в зубах за самый кончик.

— Ну, так как, Иван? Дело надежное. Мы с тобой моряки, все нам знакомо, дела пойдут бойко. Ты представь: высадимся мы на берегу, загоним рыбку, сосчитаем деньги (а их до черта!), а сами — в кабак. . . Вот уж покуражимся, вот уж попируем да девок помнем, а? Тебе сколько лет-то сейчас?

— Скоро тридцать семь, — ответил Иван и посмотрел в окно.

Ему показалось, что накрапывал дождь.

— Вот видишь — тридцать семь, а без бабы, брат, нельзя — с ума сойдешь.

Иван встал, стряхнул в опустевшую корзину ненужные грибные обрезки, отнес корзину в коридор и постоял там, в приотворенной двери, послушал.

— Накрапывает, — сказал он, не оборачиваясь, как будто подумал вслух.

— Да, уже осень. . . Ну, Иван, соглашайся! А впрочем, подумай еще, я не тороплю. Поживу у тебя еще денька так три-четыре. Не прогонишь?

— Живите, — ответил Иван и посмотрел на падающий дым из трубы, стлавшийся по воде озера.

«Погода еще хуже испортится», — заметил он про себя и сел на лавку.

Через три дня рано утром Иван пошел проверять перемет. Одевался он очень тихо, чтобы не разбудить Шалина, однако тот свесил голову с полатей и неожиданно бодрым голосом спросил:

— Ну как, надумал?

Иван вздрогнул и не ответил.

— Скажи мне только: да или нет?

— Какой-то вы, право. . . Прямо с утра, не успели глаз продрать.

— Ладно, за обедом скажешь. Последний срок! Я мешать тебе не буду, за грибами уйду, а ты думай.

Иван отправился проверять перемет.

Еще издали, только садясь в лодку и нащупав береговой конец, он почувствовал, что попалась крупная рыба: леска дергалась тугими затяжными толчками. Пришлось наспех снимать мелочь, и вот наконец леску дернуло и сильно натянуло в сторону уже у самой лодки, где на глубине метра металось большое черно-белое тело крупной щуки.

— Ага, попалась, матушка! Попа-алась! — горячо шептал Иван.

Он ловко подвел сачок с головы, и вот уже щука заколотила головой и хвостом по бортам лодки, обдавая слизью руки и ноги рыбака.

— Эва! Эва! Попалась! Ха-ха-ха! Экка ддура, стой!

Иван изловчился и не сильно, но точно ударил щуку черенком ножа по черной широкой голове, прямо между глаз. Рыба дернулась, глотнула воздух и вытянулась в судорогах.

Иван дошел до конца перемета, облегченно вздохнул и осмотрелся.

Его избушка на берегу показалась ему очень красивой, а берега, поднимавшиеся вокруг озера, и лес на них, и обрыв за избушкой, и выжившая рябина, к которой он тоже вдруг проникся непередаваемой теплотой, — показали ему такими близкими и манящими к себе чем-то хорошим, необманным, что Иван не удержался и прошептал: «Боже мой, как хорошо тут у меня! Зачем мне уходить?» Вспомнив, как минувшей ночью Шалин намекал, что для начала дела потребуются деньги еще, Иван понял весь замысел и цель приезда Шалина, который никогда не раскрывал своих планов до конца.

Иван подогнал лодку к берегу и увидел, что Шалин уже ушел. «Черт с ним! Я тоже в лес пойду», — решил Иван.

Из леса вернулся он еще засветло. У самой избы он съехал с обрыва с двумя полными корзинами грибов и сразу заметил, что дверь, припиравшаяся палкой, открыта настежь. Вторая — тоже, а из сумрачного помещения потянуло на Ивана нежилым холодом, озерной сыростью. Нехорошая тишина царилла внутри. Он переступил порог, не снимая с плеч связанных кушаком корзин.

В полусумраке он увидел сдвинутый стол, упавшую на пол посуду. Около печки валялась скамейка. Постель была разворочена, матрас вспорот и висел, одеяло забито в угол, а на полу валялась затоптанная подушка.

«Кто же так?» — подумал Иван.

Он снял корзины с плеча и поставил их на стол. Дальше он не знал, что делать, и стоял посреди избы, соображая. В душе подымалось чувство горькой, незаслуженной обиды. Наконец он прошел по избе, нечаянно щелкнув ногой кружку, и заглянул за печку, на вешалку. Одежды Шалина там не было.

Испытывая все возрастающее волнение, Иван подошел к постели, присел на корточки и выдвинул самодельный деревянный сундучок. Он был открыт, а денег в конфетной коробке не оказалось. В ней лежала записка.

Иван взял ее, поднялся и подошел к оконцу. Там он прислонился головой к верхнему косяку, стараясь вникнуть в смысл неразборчивых слов.

«Я понял, что ты не годишься для дела, — читал он медленно, — деньги взял. Не ной — вышлю, если. . .»

На дворе торопливо и глухо простучали шаги. Дверь распахнулась с грохотом, так что на голову посыпалась потолочная засыпка, и в комнату влетели двое. Иван успел только заметить, что один был сын Эйно — Урхо с неузнаваемо страшным лицом, а второго, с веревкой в руках, он не успел в сумраке различить.

Сильный удар свалил Ивана с ног. Потом второй — кованым сапогом по лицу — резкий, мертвящий, от которого мелко задергалось его согнутое на полу тело, успокоил его. Некоторое время он чувствовал, как пахнет грибами пол, потом были удары еще, еще — и все то, что только сейчас волновало Ивана — сомнения, злоба, недоумение, Шалин, деньги, эти двое и страх, — все побледнело, отодвинулось, стало ненужным. . .

Где-то ныл ветер, должно быть в трубе, и был еще какой-то непонятный звук, настойчивый, частый.

Вот уже несколько суток, как на столе стоит будильник, принесенный Эйно, а Иван всякий раз, когда приходил в себя, забывал об этом и неизменно удивлялся новому в его жилище звуку. Он много лет прожил без часов, вставая и ложась, как птица, по солнышку, но сейчас понял, что с часами веселее. Он приподнял голову, чтобы взглянуть на них и узнать, который час. Имеет же он право, раз у постели стучат часы?

— Леши, леши, Ифана! — встрепенулся Эйно и встал со скамьи, отложив книгу. — Что тепе? Пить?

Он налил в кружку из маленького бочонка брусничного соку с сахаром и подал Ивану.

— Пей, это от фсех полезней, так и ляккяри гофорил.

Иван выпил весь сок, целую кружку, потом, к удивлению Эйно, сам повернулся на бок и попросил есть.

— Ха! Ифана! Жить пудем! Кушать тут нет, я принесу, леши!

Эйно надел шапку с козырем, пальто, которое он не успел застегнуть, и заторопился домой. Иван видел, как прокачался за концем его белый затылок, и отметил этот необычайный серебристо-стальной отлив волос, какой, видимо, всегда бывает у поседевших блондинов. Затихли шаги Эйно, остался только вой ветра в трубе — тонкий, жалобный — да сухой стук будильника. Через стекло смотрелась рябина, еще не оклеванная дроздами, а за ней виден край озера — серая вздрагивающая вода. Разнепогодилось, как и предполагал Иван. Да уж и пора: октябрь. . . Сейчас на горе такой ветер, что деревья валяются, не иначе, раз здесь, в низине, труба воеет. Иван посо-

чувствовал Эйно, ушедшему за едой в такую погоду. А должна была прийти такая погода, ведь недаром дым падал. . .

Мысли его понемногу стали стройней, и он вспомнил, как накануне через полузабытье он слушал рассказ Эйно о случившемся, а сейчас он уже мог дорисовать полностью всю картину.

Утром того самого дня, когда Иван, не дав Шалину ответа, ушел в лес, тот принял уже давно созревшее решение: забрать у Ивана деньги и уйти провизываться в жизни. Так он и сделал, но, поскольку денег оказалось мало, он забрался в дом Эйно, выследив, когда там никого не было. У Эйно он без особого труда разыскал деньги в спальне, за темным лютеранским распятием Христа. Однако уйти из дома спокойно ему не удалось: неожиданно зашла дочь соседа — Хильма, нареченная невеста Урхо. Шалин тотчас ударил ее кулаком в лицо, от чего она потеряла сознание, затем придушил ее немного, для верности бросил в подвал и, не закрыв его, убежал на станцию к поезду, на который ему нельзя было опаздывать после всего того, что он совершил.

Все остальное произошло уже под вечер, когда домой вернулась семья Эйно. Они подняли Хильму из подвала, Урхо послали за родными. Когда Хильма очнулась, она произнесла одно слово: русскака.

Урхо и брат Хильмы бросились расправляться с Иваном, поскольку другого русского они в округе не знали, и в тот момент, когда эти парни уже могли убить Ивана, подоспели их отцы и объяснили, что Хильма показывает на другого русского. . .

Иван оторвался от этих невеселых мыслей, уловив шаги за стеной своей гнилой избы. Вошли Эйно и его жена, они принесли еду. Иван ел медленно и только то, что можно было не жевать, так как ударом сапога Урхо повредил ему лицевую кость и, видимо, перебил мышцы, поскольку рот увело в сторону. Иван ел, а Эйно неторопливо, но взволнованно рассказывал новости. Жена его сидела у печки, не раздевалась и, не понимая по-русски, лишь тяжело вздыхала и причитала про себя. Вскоре она ушла, прибрав немного в избе и оставив еду на печке.

— Урхо просил изфинить себя, — неторопливо говорил Эйно и морщил смуглый лоб, — он уходит из дома и не гофорит куда. А Густаф, отец Хильмы, совсем с ума сашел: фыпил многа и ф магазине троих поресал. Фечером тела была. Атин чуть не умер та смерти, а другие дфа — сафсем жифы. Густафа судить будут. Фот что надедал тфой друг, Ифан. А на станции абфарафали начальника: денег не стала, тоже русскака. . .

Иван угрюмо молчал, трогая завязанную щеку.

В тот вечер Эйно ушел поздно, но ночевать не остался, как в минувшие ночи, это означало, что здоровье Ивана в безопасности.

— Эйно, темно ведь. Того гляди — волк. . . Останься.

— Нет, пайду, а то жена другофа прифедет, — пошутил он и ушел.

Сухой стук будильника наполнил избу и словно хотел пробиться сквозь остальные звуки — шум леса и стон ветра в трубе.

Иван посмотрел в черное окно, и ему показалось, что на горе качнулся огонек. Он подумал и решил, что это Урхо пришел встречать отца, но зайти сюда не посмел.

Огонек еще несколько раз мелькнул на горе и исчез.

Иван почувствовал себя очень одиноким, а шум леса, как водопад, обрушивался с горы на прижавшуюся к обрыву избу, подвывал в трубе и еще больше нагонял тоску. Он потушил лампу, но еще долго не мог уснуть. Когда же он начинал впадать в дремоту, его что-нибудь будило — или треск сучьев в лесу, за стеной, или скрипучий крик совы.

А под утро ему приснился долгий и сладкий сон — родная деревня. Словно стоит он, еще совсем маленький, на покато крыльце родного дома самой что ни на есть ранней весной. Кругом еще снег, а на снегу уже вытаяли мелкие березовые сучья, нападавшие за зиму. Ветер широко шумит, по-весеннему. Терпко пахнет большой тополь во дворе. Дед Алексей идет по прогону в распахнутом полушубке. За сараями видно речку — берега ее в снегу, а на льду уже зачернела вода и обступила кусты, а низкое небо над лесом обложили тяжелые синие тучи, обещая скоро первые весенние дожди. Еще пройдет немного времени, и побегут ручьи. Уже слышно, как, перекликая грачей, кричат на деревне ребятишки, и Иван спускается с крыльца по отсыревшим ступеням и идет прямо по осевшим сугробам в дырявых валенках: теперь уже все равно, теперь уже скоро весна. Ветер, тугой и гладкий, пахнет талым снегом. . .

Иван проснулся и пожалел об этом. Он закрыл глаза и силился вернуть то, что ему виделось. Потом он до полудня лежал, погруженный в счастливые воспоминания, и улыбался чему-то, и моргал припухшими веками, и грустил. Нет, никогда бы раньше он не подумал, что его нищая деревня, кривое отцовское крыльцо и даже корявый большой тополь, который давно грозился спилить дед Алексей, станут для него так дороги и единственно необходимы.

С этого дня в душе крепко поселилась тоска. Иван уже не считал себя счастливым в своем заповедном раю, и прежнее стремление увидеть родную землю вспыхнуло в нем с новой, неиссякаемой силой.

В полдень пришел Эйно, Иван поделился с ним своей тоской. Тот выслушал внимательно, подумал. Потом спросил Ивана, не хочет ли он обратиться к властям, — по мнению Эйно, это был тот разумный

путь, по которому следует возвращаться на родину. Он вызвался даже помочь Ивану, когда будет в столице.

Месяца через полтора Эйно съездил в столицу и там отправил от имени Ивана письмо в Москву. Корешок квитанции на отосланное письмо Иван хранил, как талисман. Но проходили месяцы, а ответа не было. Было послано еще несколько писем — ничего.

Однако Иван не терял надежды и деятельно готовился к тому дню, когда надо будет собираться домой. В связи с этим его больше всего волновало поврежденное лицо. Кость еще ныла, но самым мучительным было сознавать, что он урод. Он попросил Эйно узнать, сколько ляккяри возьмет за лечение и за операцию, чтобы вернуть рот на прежнее место. Тот узнал. Сумма, которую ляккяри написал для Ивана на белом листе бумаги, была так велика, что даже Эйно, выйдя из дома ляккяри, шел как ударенный и полдороги не надевал шапку — забыл.

— Ой, Ифана! Плоха, сафсем плоха! — воскликнул он и сел на лавку. — Денег столько тебе никогда не нателать, та-а! Деньги, деньги... Фсе фезде деньги, без них из леса не фыйдешь, а ты — к ляккяри... Тфой Шалин сфарафал — значит, ему тоже пыла педа пез денег. Там, ф горотах, труг труга ест за деньги, здесь — тоже...

— Да, Эйно, без денег — везде худенек, — подтвердил Иван и вдруг встрепенулся: — А за что ляккяри так много берет? Может, с русского так?

— Нет, со фсех.

— Невыгодно болеть, — заметил Иван, вздохнув, — самое лучшее — это сразу умереть.

Эйно молча покачал головой.

Ивана еще долго лечила жена Эйно какими-то примочками из трав и настоями корней. Боль постепенно исчезла, но рот так и остался стянутым набок.

— Ничефо! — успокаивал Эйно глубокомысленно. — Рот набок — ничефо, худо, когда мозг набок, а рот — ничефо...

Иван постепенно и сам привык к этой мысли. На ощупь ему уже не казался рот таким уродливым, и только бритье перед длинным осколком зеркала доставляло ему страдание.

Жители поселка и окружающих хуторов относились теперь к Ивану холодно, с недоверием, граничащим со злобой. Мальчишки бросали в него грязью, снегом, палками и даже камнями; они дразнили его на виду у взрослых. При виде его они с притворным ужасом хватались за карманы и бежали в сторону, что означало: берегись, идет вор. Словом, за все проделки Шалина остался расплачиваться Иван. У него не хотели покупать рыбу, корзины, бочки, и Эйно

помогал сбывать все это на дальних хуторах, а грибы и ягоды — сдавать оптовикам.

Однажды Эйно принес ему щенка, и это украсило жизнь Ивана. Он зажил веселее и вновь стал ждать ответа из Москвы. Он уже меньше жалел украденные Шалиным деньги, не огорчился, что придется ехать домой без подарков, теперь у него была одна мысль: как-нибудь пробраться домой, на родину. И все ему казалось, что вот-вот придет вызов и тогда все он бросит, все как есть — и бочки, и корзины, и наготовленные не на один год дрова, и грибы, и картошку под полом, даже инструмент, и в чем есть направится в родные края. Он верил, что родная земля примет его и в обносках.

Однажды в начале апреля, поутру, Иван вышел из избы попытаться счастье на подледном лове.

Стоял легкий утренник. Снег на озере, подтаявший днем, за ночь прихватило коркой, и он шуршал под ногами ядреным настом. Иван сделал несколько шагов и остановился.

На горе, где-то совсем близко, пели тетерева. Их токовинная песня, чуть задумчивая и чистая, как бульканье родника, разносилась по основному лесу, и хотя это пение, и прозрачный, глубокий лес с его прямыми соснами, и эта широкая заря, от которой нежно розовел снег, и бодрящая утренняя свежесть — были Ивану не в новинку, он все же остановился, потом поднял у шапки уши и прислушался.

— Слышь, Мазай, тетерев поет! — сказал он насторожившейся собаке и невпопад добавил, кривя рот: — А ответа все нет, видать, уж здесь умирать нам, вместе. . .

Собака закрутилась, беспокойно завилала хвостом, зовя хозяина в лес, но, видя, что тот не двигается, насторожилась и замерла, наострив уши.

Иван еще постоял немного, опираясь на пешню, послушал, потом вздохнул, будто всхлипнул, и с грустью добавил:

— Пое-ет. Весна, брат, идет. Весна. . .

### 3

«. . .Перво-наперво — пусть покрепче заснет», — повторил про себя Иван, остановившись под полатями с топором.

Его острая ненависть к Шалину, освеженная воспоминаниями, стала еще сильнее.

Холод от топора прошел через рубаху и напомнил, что надо действовать. Ему показалось, что он слышит глубокое и ровное дыхание Шалина. Иван не помнил, сколько времени он стоит в этом напряжен-

ном оцепенении, только чувствовал, будто солью жжет его уставшую руку с топором.

— Ну, чего же? Давай!

Иван вздрогнул. Голос с полатей прозвучал бодро и обиженно.

— Давай, руби! Не бойся: я без оружия... Ну?..

Ивану вдруг показалось, что нет никакой ночи, что стены избы раздвинулись и он, Иван Обручев, никого не убивавший даже на войне, стоит с топором у головы безоружного в ярком свете дня, а откуда-то взявшиеся люди в молчаливом презрении смотрят на него...

— Ну, Иван! Вот моя голова, потрогай сперва...

Голос оборвался, как на икоте, и Ивану показалось, что Шалин плачет.

Старый будильник громыхал на столе, как железная банка с гвоздями. Собака опять лежала на лавке и лязгала зубами, слюнявя и растирая блох. Все было по-прежнему, только гудело в голове, да по всему телу растеклась непонятная слабость.

Иван приотворил дверь и выбросил топор в коридорчик. Его согнутая фигура неверным шагом пересекла избу по скрипучим половицам; в лунной полосе света полыхнули подштанники, и он виновато лег на постель.

В избе наступила томительная тишина. Ни один не шевелился, но каждый знал, что другой не спит.

Первым заговорил Шалин.

— Та-ак, Иван... За что же это ты меня хотел, а? За то, что деньги у тебя взял да пока не вернул? — голос Шалина дрожал, словно его трясла лихорадка. — За то, что я опять к тебе приехал в твое болото и хочу вытащить тебя отсюда?

— Никуды я не поеду! — ответил Иван и лег наконец удобнее.

— Не веришь?

Иван молчал.

— Ну, не верь. А я ведь пришел сюда как за искупленьем. Думал, оправдаюсь перед тобой за все плохое. Думал, подадимся мы с тобой вместе отсюда...

— Никуды я не пойду, и весь сказ! Нашему брату где ни летать — все дерьмо клевать. Везде надо горб ломать — тогда и житье будет. А ветродуям нигде не место. Вот вам мой последний сказ, Андрей Варфоломеич!

— Та-ак... Это я, значит, ветродуй. Э-эх, Иван! А ты знаешь, какое у меня дело было! Я ведь шхуну-то тогда купил.

— Знамо дело!..

— У меня, брат, такое дело развернулось — я те дам! Деньги пошли. Я уж хотел тебе выслать, а потом думаю — сам привезу. Тут еще надо было в одном месте рассчитаться...



— С железнодорожником?

— Да, — ответил, помолчав, Шалин. — С железнодорожником. Не хотелось, понимаешь, с камнем на душе жить, когда жизнь так красиво пошла.

— С камнем не житье, знамо дело, — смягчился Иван.

— У меня команда была, несколько парней. Сам-то я в море уже не ходил: хозяином стал, да и на берегу работы хватало, поскольку мои ребята в море контрабандой обменивались.

— Чем торго-то шли? — решил спросить Иван, еще на флоте слышанный о контрабанде.

— Меха, итальянский ратин, золотишко и еще кое-что. . . Я хотел к тебе не на лыжах темной ночью приехать, а в ясный божий день на своей машине с лихим шофером.

— К кому с моря на кораблях, а ко мне все на корыте!

— Эх, Иван, Иван! Живешь ты тут, как крот, ничего не видишь, ничего не знаешь. В мире нынче таким блаженным не проживешь, даже если и за топор хвататься будешь. Уж на что я! Думал, что зубы у меня крепки, а оказалось, что звери есть почище меня. Что делается в мире! Друг друга топят, друг друга заживо без соли жрут да хвалят, а ты говоришь, почему я на машине не приехал. Ветроду! Я ночи не спал, первые три года жизнью рисковал: в штормяги за рыбой ходил на такой-то посудине. Идешь, бывало, а она вся трещит, сволочь, — и только по коже мороз. И все труды — даром. Вышли мои молодцы в море за рыбой и взяли с собой самую большую контрабанду, на все мои деньги. После того рейса, думалось мне, брошу это опасное дело, женюсь, домишко приглядел. Будут, думал, мои ребятки потихоньку рыбку ловить и меня не забывать. А они вышли в море — да и были таковы!

— Утонули?

— Если бы! Загнали контрабанду, выручили товар, наловили рыбу и вместе со шхуной загнали, а денежки — себе. Был бы ты со мной — не было бы ничего этого, жили бы как короли. А теперь. . .

Он замолчал ненадолго. Потом, уже под утро, заскрипели полати — Шалин спустился на пол. Его длинная фигура приблизилась к постели Ивана.

— Не спишь?

— Нет, — ответил Иван.

— Допьем? — спросил Шалин и взял бутылку.

Иван отказался.

Шалин допил водку из горлышка, вместо закуски хватил ртом воздуха, словно собирался нырять. Постояв немного, он безвольно опустился на постель в ногах у Ивана и вдруг неожиданно, без слез, заплакал, ткнув лицо, как колдун, в свои длинные худые колени.

— Лучше бы утонуть мне, Ива-ан! — стонал он и скрипел зубами. — Лучше бы ты убил меня топором. . .

— Бог с вами, Андрей Варфоломеич, это нечистый меня. . .

— Лучше бы нам с тобой в Кронштадте расстрелянными быть, все в своей земле лежать.

— Так вот и пойдете обратно, Андрей Варфоломеич, а? — оживился Иван и тронул его за плечо.

— Не живал в аду, так иди! — зло отрезал Шалин, изменившись в лице. — Иди, говорю, иди!

— Ну и пойду! — тоже повысил голос Иван.

— Давай, давай, собирайся! Прямо через границу и — в колхоз!

— А это чего такое?

— А это барак длиннуций. Бабы и мужики — все вперемешку. Работают как лошади. Утром председатель выдаст портки всем, по лопате и пошел, до вечера на поле, а вечером-то портки и лопату сдать: ужин не получишь, понял? Иди, иди!

— А обеда нет, что ли?

— Как нет? Есть! Вытащат, значит, общий котел на полосу да как начнут из него жвыхать — за ушами трескоток.

— Ну и пускай на здоровье. . .

— А ложки-то у всех разные.

— Правильно. Лентяям и надо поменьше, потому как лентяй. . .

— А если наоборот? — оборвал его Шалин с издевкой.

— Да вы откуда знаете это? Из книжек?

— Из газет, — буркнул Шалин и отвернулся от глаз Ивана.

Несколько длинных секунд продолжалось тяжелое молчание, потом Иван поднялся с постели и встал перед Шалиным.

— Врешь! — вдруг испуганно крикнул он, впервые называя боцмана на «ты». — Врешь! Ты всю жизнь мне врешь! Креста на тебе нет! Побожись!

— Ну, вру, — опять сник Шалин и опустил голову, — только что от этого тебе? Пойдешь туда — не простят: стенка. . .

Иван долго стоял посреди избы, босой, в одном белье.

— Ну и пускай! — горячо прошептал он, оттягивая подол рубахи. — Пускай стенка, а я пойду. Пойду!

Плечи Шалина вздрагивали. Иван помедлил и тронул его за рукав:

— Пойдем вместе, тут ты тоже головы не сносишь, а?

Шалин поднял голову, утерся рукавом и ушел на полати.

— Мне, Иван, и там места нет, — вздохнул он оттуда.

— А мне?

— Тебе, думаю, можно. Пиши в Москву.

— Писано-переписано.

— Не доходит. Надо тогда самому заявиться, не иначе.

— Да как? Вразуми, Андрей Варфоломеич!

— Как пришел, так и уходить надо. Я тебе не помощник: граница не та, что десять лет назад. Тут финны нужны. Есть надежные?

— Для человека всегда люди найдутся.

Встали поздно. Иван внизу озяб раньше и, посмотрев на толстый слой льда на стекле, нехотя встал и растопил печку. А вечером Шалин ушел от Ивана. Прощаясь, он сказал:

— Ну, Иван, не поминай лихом! Теперь уж не увидимся. Будешь дома — земным поклоном поклонись всем и всему. Скажи, кто помнит, что, мол, Андрей по свету мыкается.

Они обнялись. Иван — сдержанно, с холодком, Шалин — порывисто и откровенно.

Он ушел вверх по лыжне, к Большому камню, и долго был слышен скрип снега в морозном воздухе.

Нехотя вернулся Иван в свою избу.

Никогда еще, казалось, не было ему так неуютно в своем жилье, все в нем виделось сейчас ненужным, временным и уже надоевшим. Ивана раздражали маленькие оконца, скрипучие половицы и даже эти, им же самим сделанные полаты, о которые, как ему стало казаться, он обязательно разобьет голову.

В избе было прохладно, но он не хотел топить. Когда же вспомнил, что если не протопить, то утром не высунуть носа из-под одеяла, — сердито пошел за дровами.

Топилась печь. Он сидел на низкой скамейке против дверцы и смотрел в огонь. Мысли его были далеки от печки, от ужина и даже от собаки, что жалась к его ногам и заглядывала ему в глаза. Он смотрел в огонь и видел... свою деревню с ее двумя рядами домов — широкую, прямую, с прудами да ивами под голубыми окошками. Он слышал звуки гармошек и вспомнил свою — розовые мехи. Жива ли?

Он оторвал глаза от огня и вдруг впервые увидел, что боров печи, сложенный еще при прежнем хозяине, кривит, а разделка под потолком выложена некрасиво. Он осмотрелся и заметил еще, что в стенах неровно выпирают бревна, а пол наклонился к порогу. Ему стало тошно оставаться в этой избе, он подумал, что забыт здесь всем миром. «Вот ткнуть где-нибудь, умру, и никому до меня нет дела», — с ужасом подумал он и захлопнул дверцу. Его потянуло на волю, к людям.

— Мазай, давай к Эйно! Давай к Эйно! — суетился он по избе, разыскивая шапку, что была у него на голове. — Все, Мазай, дошло мое терпенье до края. Не могу больше!

Он ударился головой о край полатей, простонал и затих.

— Пойдем к Эйно, Мазай, — снова сказал он собаке, но уже совсем упавшим голосом.

Вечер опять был, как и накануне, спокойный, лунный. Иногда на полную луну находили случайные облака, и тогда так же бесшумно скользили по озеру тени, взбирались по стене леса и просеивались в него. Лес по-прежнему был полон неуловимых звуков и потрескивал от мороза, но Иван уже ничего этого не замечал. Он торопливо надел лыжи, позвал собаку и только тогда по привычке огляделся вокруг. В природе все было по-прежнему: и белый диск озера, и высокая круча откоса, особенно любимая Иваном, и сама изба, приютившая его, но он отвернулся от всего.

— Яма! — с ужасом произнес он и, окинув взглядом кругом нависший лес, еще громче повторил: — Яма!

И заспешил навёрх, словно выбирался из глубокого колодца.

#### 4

Иван успокоил кинувшуюся на него собаку, снял лыжи и вошел в дом Эйно.

В просторной, как и в большинстве финских домов, занимавшей почти половину помещения кухне он снял у порога шапку, поздоровался с хозяйкой и огляделся. Здесь ничего не изменилось: все так же возилась с тяжелыми чугунами хозяйка, в которых мылась, варились и стыла еда животным — коровам, пороссятам, овцам, курам, собаке и кошке. Все так же было здесь немного парно от этого и так же пахло картошкой, свеклой и заварной мешаниной, приправленной мукой. Крестьянская, полная и напряженная жизнь текла здесь своим обычным чередом, и люди трудились изо дня в день, терпеливо и буднично, производя самое нужное, самое ценное для человека — пищу.

Но сегодня было и новое.

Посредине кухни сидел на стуле сам Эйно. Он даже не поднял головы, когда вошел Иван, и продолжал что-то ворчать, по временам громко выкрикивая и косясь на дверь, что вела в другую комнату, слева.

— Хювя-илта, Эйно!<sup>1</sup> — поздоровался Иван отдельно.

— А!.. Ифан!.. — так же сердито воскликнул хозяин и снова опустил тяжелую голову.

Он был нетрезв.

Хозяйка с улыбкой кивнула Ивану на скамью у стенки. Лицо ее для такого необыкновенного случая с хозяином было слишком светлым, она то и дело отворачивалась от мужа, пряча улыбку. А тот все

---

<sup>1</sup> Добрый вечер! (фин.)

ворчал и выкрикивал что-то, по-прежнему косясь на закрытую дверь комнаты.

— Урхо там! — радостным шепотом сообщила хозяйка Ивану, проходя мимо него с ведрами в руках.

Она позвала младшего сына, и тот понес вслед за матерью еще два ведра корму.

Ивану было известно, что Урхо ушел из дома после того несчастья. Доходили слухи, что он работал в городе на заводе, был в армии. Возвращение Урхо было для всех неожиданностью, хотя его и ждали всегда.

И вот Урхо приехал, он здесь, за дверью, а отец почему-то недоволен и напился.

— А! Ифан!

Иван подошел.

— Эйно, я к тебе по большому делу, с большим секретом я к тебе пришел. . .

Иван говорил неуверенно, понимая, что с пьяным об этом говорить не следует, но он уже не мог молчать и, сказав это, почувствовал большое облегчение. Теперь он знал, что первый шаг к дому уже сделан. Сейчас он был доволен и этим.

— Бальшшой секрэ-эт. . . О! Ты хытрай русской челафе-ек! Ты харашшо знаешь, что финн чэснай, что финн не расскажет тфой секрет, та-а. . .

Вернулись хозяйка с сыном, и снова стали наполнять ведра кормом. Эйно быстро наклонился, пошарил рукой под столом и вдруг кинулся на сына с ремнем.

Иван был удивлен еще больше и не знал, что ему делать.

— Лайскури! Лайскури! <sup>1</sup> — кричал Эйно.

И ударил по широкой спине сына. Тот поежился и улыбнулся.

Дверь из комнаты старшего сына отворилась, и вышел Урхо. Он удивленно глянул на неожиданного гостя, и было видно, что с трудом отвел глаза от кривого рта Ивана. Урхо сдержанно поздоровался с гостем и обхватил отца огромными руками.

— Ися! Ися! <sup>2</sup> — негромко повторял он одно слово.

Осторожно, почти по воздуху, но так, чтобы не унижить старика, Урхо подвел его к стулу и усадил. Эйно рвался, кричал, мотал головой, но сын держал его. Он чуть развернулся и прижал седую голову отца щекой к своему плечу. Эйно еще немного пошевелился, потом притих и заплакал — то ли от бессилия, то ли от радости, что у него

---

<sup>1</sup> Лодырь (фин.).

<sup>2</sup> Отец (фин.).

такой сын. Урхо погладил отца по спине, но тот скинул его руку, и сын опять ушел в свою комнату, не подымая на Ивана глаз.

— А! Ифана! — вдруг воскликнул Эйно. — Спать лапшись!

— Спасибо, Эйно, на добром слове. Я завтра приду по делу.

— По делу? А, секрет-эт!..

Утром неожиданно пришел к Ивану Эйно с извинениями за вчерашний вид. Он тяжело сел на скамью и молчал, видимо надеялся, что Иван спросит о причине вчерашнего расстройства, но тот молчал. Эйно выпил брусничного соку, покряхтел и сам заговорил. Говорил он с полуулыбкой, потирая виски.

— Урхо, — говорил он, — это фсе Урхо. Ты понимаешь, Ифан, — он теперь коммунист. Мой сын. Это неплохо, феде и Ленин был коммунист, а он людям сфоподу дал, он финнам сфоподу дал.

— Ну вот, а ты кричал на него. Зачем?

— Зачем? А я кто ему? Отец! Я не против, что он коммунист, сафсем не против. Урхо мне много опьяснил. Хорошо это... .

— Так чего же тогда?

— Чефо же, чефо же! Он не спросил меня, фот чефо же!

Рот Ивана увело еще больше в сторону.

— Я понимаю, это немного смешно, но надо было показать, что я отец, ферно? — оправдывался Эйно и мял шапку.

Иван кивнул, и они долго молчали.

— А ты, Ифан, плохо сделал — Россию остафил. Урхо гофорил, там большая жизнь. Там школа — бесплатно, ляккяри — бесплатно, рот бы тебе починили, фо-от... Там челофек прямо ходит. Там... .

— Эйно... .

— Молчи, Ифан! Плохо сделал! Только зферь уходит с родной земли, когда там трудно, та! А челофек должен жить до конца и делать там жизнь сепе и другим, так сказал Урхо, та! Ну, чефо ты плачешь, ну? Феде правду сказал Урхо, ну?

— Экой ты, Эйно! У меня вся душа почернела — домой тянет. А ты... .

— Ладна... Гофори секрет.

— Так вот за этим и приходил, что сил больше нет. Бежать хочу через границу. Помоги!

Эйно присвистнул и так вжал свою седую голову в плечи, что ошчетинились волосы на затылке. Он чмокал губами, качал головой.

— Ой, Ифан, ой, Ифан! Умереть там можно, на границе. Та-а!

— Ну и пускай!

— Кофо пускай?

— Наплевать, говорю, — убьют, так убьют, от смерти не посторонишься, а здесь я теперь все равно зачахну. Умру от тоски.

Эйно долго сидел и все охал и качал головой.

— Подумай лучше, Ифан, это опасно, — наконец сказал он и пошел к двери.

— Эх, Эйно!.. Чего уж тут думать — голова трещит.

— Фот и у меня трещит, а я фсе же пойду думать. Жди. До сфиданья, Ифан!

— Хювястэ,<sup>1</sup> Эйно! Хювястэ, друг...

Два дня не было Эйно. Два дня Иван ничего не делал, не варил еду, питался неохотно, мало и всухомятку... Он зарос еще больше и не умывался. Многие часы без сна валялся в постели прямо в одежде и все силы употреблял лишь на то, чтобы сдержаться и не бежать к Эйно.

Ночью проходили перед ним вереницы воспоминаний, его семья, родные. Иван смотрел на них и дивился: лица были как в тумане, он не мог их точно восстановить в памяти. Он досадовал, силился — бесполезно: годы стерли их. Порой он представлял себя подходящим к границе. Вот его окликают... Выстрелы... Он живой и на той стороне... Его поднимают с земли, и какой-то большой начальник идет к нему... Иван плачет, падает на колени.

Собака царапала дверь, просясь на улицу, и отвлекала его.

На третий день пришел Эйно. Снял у избы лыжи, вошел, поздоровался. Лицо было непроницаемо и торжественно.

— Идем! — сказал он наконец, поправляя свою зимнюю шапку с козырем.

Иван ни о чем не спрашивал. Он поспешно вставил ноги в холодные валенки, накинул зипун, шапку и вышел за Эйно. Они встали на лыжи и вскоре были в доме Эйно.

Потом они вдвоем сидели за столом, ели горячие жирные щи, кашу с мясом, оладьи со сметаной и пили чай. Иван с наслаждением опускал лицо в клубы пара и ждал. Эйно молчал. Иногда он посматривал на жену, просил что-нибудь подать и опять погружался в раздумье. Под конец обеда Эйно дал понять Ивану, что не лучше ли еще раз попробовать официальным путем, то есть обратиться к письмам и ходатайствам, но Иван уже и слушать не хотел. Тогда Эйно встал и попросил пройти в комнату Урхо.

Иван вошел вслед за хозяином.

Это была лучшая комната, в два окна. В углу — печь, выложенная изразцовыми плитами, в большом простенке все та же кровать, а на стене, где раньше висело лишь ружье, теперь были сделаны полки. Половина из них была заполнена книгами.

---

<sup>1</sup> Прощай (фин.).

Эйно притворил дверь — так, для порядка, поскольку в этом доме не было тайн, — и посадил гостя на стул. Сам прошелся по комнате, остановился у полок и достал одну книгу в темно-красном переплете.

— Ленин, — сказал он многозначительно, — мой сын читает.

Эйно дал Ивану подержать книгу и снова поставил ее на полку. Потом он сел напротив Ивана, смущенно потер коленки ладонями и сказал, что Урхо уехал в столицу по делу перемены гражданства и выезда Ивана на родину.

Это сообщение Ивану не очень понравилось, он не верил в успех. Тогда Эйно сказал:

— Не будет успех, тогда Урхо профедет тебя через границу, он там служил. Там у него тофарищи. Та-а!

Это Ивана обрадовало больше, потому что не требовало волокиты и ожидания, хотя и было сопряжено с опасностью.

В самом лучшем настроении он вернулся домой. Теперь осталось ждать немного. Скорей бы вернулся Урхо!

Урхо вернулся на четвертый день, сумрачный, усталый, и сообщил, что придется Ивану возвращаться нелегально. Через отца он передал Ивану, чтобы тот собирался, ибо по первому хорошему насту им предстоит идти.

— Вот так, Мазай, уйду скоро от тебя, как только наст ляжет. Уйду, брат. Надо идти, пора, а то уж мочи моей больше нет, кончилось терпенье — шабаш. Ты тут не убивайся по мне, будешь у Эйно жить или другого какого хозяина найдешь, во-от... Дай-ка полешко, приподымись, обаляй!

Иван подложил в печку еще одно полено и сидел перед открытой дверцей весь раскрасневшийся, разомлевший. Собака лежала на поленях, вытянув лапы, и слушала хозяина. Иногда она вскакивала, если Иван трепал ее по голове, и лизала его в щеку.

— А у нас сейчас на Тамбовщине уж снег давно осел и наст такой — как по столу иди. Бабы с вязанками из лесу идут — дороги не разбирают: гладь такая, как все равно тебе лед. А если, бывает, провалится какая — так одна голова торчит да подол кругом лежит. Смех, право! Сейчас уж там коровы телятся, ребятишки по деревне бегают — только щеки розовеют. Это, брат, с молока, с парного. Да-а... А ты думаешь, с морозцу? С морозцу щеки только синеют, больше ничего, вот дело-то какое, Мазай... Да не лижись ты, обаляй, не лижись! Пойду я скоро, Мазай, а то тут совсем зачахну.

Иван протопил печь, наелся грибов соленых с хлебом, напился чаю с медом и лег спать не раздеваясь. Раньше этого с ним не случилось, но сейчас он уже чувствовал себя как на случайном ночлеге, и не удивлялся этому.



Однажды он проснулся среди ночи и понял, что лежит на постели животом вниз в верхней одежде, в сапогах и даже в шапке. В избе было очень холодно. Он вспомнил, что после проверки донок — рыбалкой он занимался теперь без охоты, лишь по привычке — он прилег отдохнуть и уснул. Собака скулила у двери, просясь на волю. Иван выпустил ее и остановился на пороге, прислушиваясь. Кругом шумел лес, и шумел по-особому. Он вышел.

Из кромешной тьмы, прямо на его заросшее лицо, косо падал то-ропливый снег, редкий и крупный, а по вершинам деревьев прокаты-вались, словно волны, затяжные порывы ветра; и по тому, как необыкновенно шумит лес — просторно, широко, без свиста, — он понял, что надвигается желанная оттепель. Скоро сядет снег, в голубые деньки солнце подплавит верхний слой, ночной морозец схватит корой — и наст лег.

Скоро в путь. . .

## 5

Дня за три до намеченного срока Иван пришел к Эйно, сел у порога на корточки, что он всегда делал, если чувствовал смущение, — мял в руках шапку, кряхтел, пока Эйно сам не спросил, в чем дело.

— Эйно, я хочу на денек в город. Можно ли, спроси у него. . .

И он ткнул шапкой в сторону двери Урхо.

Эйно ушел к сыну, погудел там, за дверью, и умолк. Потом заговорил Урхо — спокойно, деловито, а когда и он замолчал — отворилась дверь и вышел Эйно. Лицо его было озабочено. Он пояснил Ивану, что съездить можно, но — тайна должна остаться в любом случае тайной. Кроме того, вернуться надо быстрее, если можно — через сутки.

— Да я мигом обернусь! Ночью там пересплю, а в середине дня тут буду. А что про тайну, так я не маленький, — ворчал Иван и с радостью побежал на лыжах домой — собираться в город.

Под утро он купил на полустанке билет, дождался поезда и уехал в город.

В разгаре следующего дня он вышел из вагона на городском вокзале и с непонятным самому волнением пошел к той окраине, что выходила к заливу. Он надеялся застать Ирью дома.

Сначала, когда ехал в поезде и думал о встрече, он хотел купить ей и ребятам подарки, но потом поразмыслил и решил, что лучше отдать ей деньги, а она сама знает, какие сделать покупки. Иван старался представить, какая она стала теперь, но не хотел разбираться в себе и в своих думах об Ирье, он даже избегал этого и чувствовал, что он перед ней в большом долгу, что он ее помнит и нежно, поче-

ловечески, жалеет ее за рухнувшее семейное счастье и неустроенную судьбу.

«А ребята-те выросли, поди! Да, сколько лет прошло...»

Домик Ирьи он узнал с трудом. Вокруг вытянулись деревья, кусты заслонили половину стены, где было его окно в огород. В остальных окнах он заметил новые рамы, сделанные по-фински — без переплетов, крыша была покрыта новой дранкой, а над самой землей белели в стенах два новых венца бревен — дом подрубали. Калитка тоже была новая и на другом месте. На лавочке возле дома сидела седая старуха и шурилась на прохожего. Иван поздоровался и медленно заговорил по-фински. Старуха слушала, оскалив полуразрушенные зубы, а когда он спросил про Ирью и ее сыновей, старуха замачала руками куда-то в сторону и затараторила, из чего Иван с трудом понял, что Ирья давно уехала на хутор, к родным.

«Все ясно, — думал Иван, покачивая головой. — На хуторе легче подымать троих: там спрос меньше — не город...»

Он вышел к заливу и посидел там на берегу. Поел вареных яиц, которыми угостила его жена Эйно, погадал, в которой стороне сейчас от него Россия, и побрел в город.

Ивану некуда было спешить: до поезда ждать весь вечер и почти всю ночь. Он ходил по улицам, подмечая в них новое, радуясь старым зданиям. Он видел пивной завод с новыми большими воротами, послушал, как стучат там бондари; видел пекарню, обнесенную высоким каменным забором, построенным уже после Ивана, но сердце его не забилося от волнения, как при виде домика Ирьи. Он понял, что приехал в этот город напрасно.

Иван вернулся к Эйно, как обещал, в середине следующего дня. Он привез жене Эйно дорогой материал на платье, а самому Эйно — дорогой водки.

— Это из нового магазина, что на большой улице, — сказал он, выставляя две бутылки на стол.

В семье Эйно все считали, что Иван только за этим и ездил в город, и восторгам их не было конца. Урхо был сдержаннее, но и тот не мог скрыть улыбки удовольствия. Вечером они пили чай и только один хозяин — водку, поскольку Урхо перед серьезным делом не решил пить Ивану и не притронулся сам.

## 6

В тамбуре было сыро.

Иван осторожно переступил за широкой спиной Урхо, и валенки чмокнули в темной лужице под дверью. Оба стояли с ружьями в чехлах, с лыжами и с вещмешками за спиной. Урхо шутил с вышед-

шим проводником по поводу предстоящей охоты близ пограничной полосы, где дичь непугана. Проводник напомнил, что сроки охоты на большинство дичи уже давно кончились, но при желании можно найти кое-что. Иван молчал.

Вышли за две остановки до пограничной станции, встали на лыжи и пошли в обратную сторону, но, войдя в лес, повернули обратно к границе. Шли часа три. Потом Иван сломал лыжу о дерево и настолько был потрясен этим, что не мог выговорить ни слова и стоял на одной ноге, с ужасом глядя на Урхо. А тот почему-то улыбался и наконец сказал по-русски:

— Смотри!

Иван поднял голову и увидел в долине белое пятно крыши на фоне леса и тонкую струю дыма из трубы.

— Пришли, Ифан!

Лесная изба была небольшая — на две комнаты, одна из которых была еще раз перегороджена пополам.

В первой комнате, в кухне, лыжников встретил молодой мужчина, показавшийся Ивану знакомым.

— Я Юмари. Юмари, — твердил он Ивану и руками показывал, как они вместе косили сено у Эйно. . . — А ты Ифана.

— Ифан, — поправил приятеля Урхо и засмеялся.

Через кухню промелькнула, поздоровавшись, молодая женщина и скрылась за дверью комнаты, в которой Иван заметил какого-то человека, сидевшего на низком стуле. Иван снял сырые валенки и надел сухие, хозяйские. Урхо достались войлочные отопки, которые со смехом поставил перед приятелем Юмари.

Смех друзей хорошо подействовал на Ивана, его начинала оставлять сковывающая настороженность, и он смело подсел к столу, за которым Урхо и Юмари о чем-то серьезно заговорили по-фински и чертили ногтями по клеенке.

Обедали они тоже троим. Подавала хозяйка, наблюдавшая за ними со стороны. Иван заметил, что больше всех ее интересует новый человек, то есть он. После обеда Иван попросился на печку и, забравшись туда, совершенно успокоился и стал сушить потную усталую спину.

С печки была хорошо видна вторая комната — тоже небольшая, в два окна, чуть вытянутая, поскольку была перегороджена. У одного из окон, на полу и на подоконнике, стояли цветы, у другого сидел седой старик, весь обложенный кусками дерева, и что-то неторопливо резал. Сидел он, как оказалось, не на стуле, а на топчане, на каком в России сидят обыкновенно заправские сапожники, — на бочке без

днища, покрытой кожей. Ноги старика были скрыты ватной накидкой и ни разу, сколько ни смотрел от нечего делать Иван, не пошевелились. На подоконнике и на полу стояли деревянные фигуры лосей — с рогами и без рогов, птиц — сидящих и в полете. В простенке между окон, на широкой полке, Иван заметил фигуры людей, среди которых выделялась высокая фигура охотника с ружьем за плечами, вырезанная из большого куска дерева.

«Чудной старик, — подумал Иван, осторожно наблюдая сверху, — а большой умелец, видать».

Темнело, но старик резал, очевидно хотел закончить начатую работу, и по мере того как убывал свет, он наклонял голову все ниже и ниже.

В доме хлопали двери, постукивали ухваты, бренчали ведра, цокали тяжелые чугуны — хозяева управлялись. Несколько раз доносились со двора мычание коровы и куриный всполох.

На печку заглянул Урхо. Он положил локти на край лежака, улыбнулся и сказал, что здесь живут надежные люди. Он сообщил также, что до границы здесь совсем близко, но что придется подождать наста дня два-три. Иван кивал, улыбался кривым ртом, а Урхо отводил глаза.

Ивану хотелось потрогать его за плечо и сказать, чтобы он не стеснялся кривого рта Ивана, что, мол, было — не воротишь, то ли, мол, потеряно! Но стеснение передавалось и ему, и он тоже, как Урхо, старался смотреть в сторону, в стену, словно вся судьба задуманного ими опасного дела зависела от сучка в отесанном бревне. И они молчали. Каждый чувствовал перед другим вину и каждый молча прощал друг другу, считая, что его вина больше.

— Старик — русскака, — сказал Урхо и поправился: — Русскаяй.

Он положил подбородок на руки и опять уставился в стену, скользнув по лицу Ивана как бы случайным взглядом.

— Русский? Скажи на милость, где! Надо будет поболтать, когда кончит мастерить, — ответил Иван.

Он смело высунулся с печки, стал покашливать и громко зевать, дабы привлечь внимание старика. Однако в тот вечер это ему не удалось.

Утром, еще до рассвета, Урхо и хозяин встали на лыжи и ушли в сторону границы. К обеду они вернулись, озабоченные и голодные. После обеда вызвали Ивана на улицу, дали лыжи и стали тренировать его в спуске с горы. Иван понимал, что это не случайно, не пустой интерес, и старался изо всех сил. Но как только лыжи брали разгон, особенно ближе к подножию горы, — ноги Ивана подсекались, он медленно оседал и падал.

Инструкторы не смеялись, лишь почесывали лбы и просили повторить спуск. Все кончалось так же. Но вот Иван благополучно съехал со склона, присев на лыжи со страху в самом начале спуска, и так, сидя, достиг цели. Это подсказало выход. Иван несколько раз показал Урхо и его товарищу, что он может таким образом съехать с любой горы. Они посоветовались и остались довольны. Иван уже понимал, зачем это нужно, и не задавал вопросов.

К вечеру он опять лежал на печи и смотрел на старика. Тот по-прежнему старательно резал кусок дерева ножом и кряхтел, и чмокал, и что-то нашептывал сам себе. Но вот он зашевелился, скинул с колен ватную накидку, и удивленный Иван заметил, что он безногий. Старик нагнулся со своего сиденья, взял в руки по деревянной колобахе и, опираясь на них, ускакал в кухню.

«Вот так та-ак... — ошеломленно шептал Иван. — Сердешный».

Опять послышался стук деревяшек и неожиданно голос самого старика по-русски:

— Люська! Ну-ка стрекани на лыжах к соседям, узнай — середя сегодня али читверьг?

Дочь проговорила что-то по-фински. Старик недовольно ответил ей по-фински и по-русски выругался.

Иван не выдержал:

— Дядя, середя сегодня, середя!

— А! Земляк! Я думал, ты граф, что не подходишь. Аль кусаюсь?

Иван скатился с печки и вошел в комнату.

— Люли! Анна туоли! <sup>1</sup> — крикнул безногий, а когда дочь принесла стул, пояснил Ивану: — Люли — это Людмила по-нашему. Василий, сын Федоров! — без обиняков назвал себя старик и подал свободную левую руку.

Иван назвал себя, а старик сразу же принялся за работу, словно он был один.

— Василий Федорыч, как это вас бог обидел?

— Ноги-то? Омморозил. Да вот так и живу, пока зять не выгоняет — и ладно.

Говорил он весело, и лицо его все лучилось такой массой морщин, что не было на нем живого места, и даже когда он улыбался, морщины больше уже не прибавлялось.

— Вы откуда родом? — опять спросил Иван.

— Волгарь я, милой, волгарь.

— Давно здесь живете?

— Давно ли, говоришь? Не-ет, недавно. Я и на свете-то живу не

---

<sup>1</sup> Дай стул! (фин.)

так давно — всего семьдесят три года, с Василия-капельника семьдесят четвертый пошел.

— А тут давно?

— А как с Онеги утек, из острога... Сейчас тридцать второй?

— Тридцать второй.

— Ну, лет двадцать я тут, не меньше. Меня в шестом году с Волги на Онегу увезли.

Он говорил, а сам продолжал вырезать новую фигуру из сухого куска карельской березы.

— Что смотришь — не душегуб ли? Не-е... Просто я в одном имени «красного петушка» подпустил. Дело это некрасивое, а надо было, — он затаил дыханье и весь напрягся, делая какой-то сложный рез, и повторил, окончив: — Надо было. Посадили меня, стало быть, за дело, но многовато дали. Ну, а я поправил ошибочку: отсидел, сколько надо было, а потом — сюда, а потом и ног не стало... Ах! Многовато, кажись, выбрал! А ты, слышу, домой?

— Домой, — вздохнул Иван.

— Это хорошо. И хорошо, когда есть на чем бежать. С ногам-то примут. Мне вот игрушки и те не продать, дочка ездит. А ты беги, ребята тебе укажут дорожку, они тут стояли, на границе-то.

У него был целый набор ножичков, каждый лежал на своем месте на доске, справа, и старик брал их не глядя. Иван дивился мастерству безногого резчика, а особенно был поражен, когда на полке, что была в простенке, узнал в одной женской головке дочку старика.

— Так, так... Домой, значит. Раньше-то чего не бежал? Ног не было, али баба вязала?

— Не было такой, Василий Федорыч.

— Это хорошо, раз не вязала. А то ведь так бывает: родная земля и под красным солнышком, да далеко, а баба, хоть и чужая, да под боком, ну и вяжет.

— Давно ли мастерите так? — спросил Иван.

— А уж и не помню. Кажись, всю жизнь.

— Самоучкой?

— А кто меня учить будет?

В окошко Иван заметил край желтого заката и с радостью отметил про себя: «Подморозит. Скоро идти...»

— Жену-то схоронили? — спросил он безногого.

— Так а чего ей на столе-то лежать? Схоронил.

— Наша была?

— Здешняя.

— Веселый вы, Василий Федорыч... .

— А это оттого, милой, что плакать надоело.

— Да-а, большое у вас горе.

— Верно. Большое. Тот, милой, счастлив, у кого ноги есть.

— А если бы ноги были?

— А на Волгу бы утек, милой, на Волгу.

Позвали ужинать. Иван ел вкусное кемалатико — рыбу с картошкой, а в ушах, как колокол: «На Волгу бы утек. На Волгу бы утек».

Перед сном Иван вышел на воздух и заметил, что начинает подмораживать, а редкие звезды среди тонкой облачной рвани обещали усиление мороза. «Скоро...» Иван с волнением посмотрел на юг. Там, набегая один на другой, толпились холмы, на них громоздился настроженный, словно ждущий чего-то лес. Скоро через него идти. Скоро... Иван потрогал ногой наст, взял в руку тонкую его плиточку и радостный понес в дом показать Урхо и хозяину дома.

Друзья сидели на лавке и разговаривали. Они потрогали наст и весело закивали.

— Хювя юйёда!<sup>1</sup> — сказал Иван и полез спать на печь, бросив снег в ведро.

Следующий день был солнечным. С южной стороны крыши зацокала капель, а к вечеру вытянулись первые бугристые сосульки. Мороз к ночи усилился, а уплотнившийся под солнцем верхний слой снега схватился более крепким настом. После ужина Юмари попробовал его лыжами и остался доволен, однако Урхо отложил дело еще на один день.

Это был последний день.

Иван слонялся по двору в поисках какого-нибудь занятия, чтобы хоть чем-то отвлечь себя. У сарая он обнаружил и отрыл из-под снега несколько чурок дров и с наслаждением расколол их на мелкие, как лучинки, поленья, так что даже рассмешил хозяйку Люли, или Людмилу, как он ее называл. Потом он повозился у колодца, скалывая лед со сруба, откинул снег от двери сарая, и она стала отворяться широко, просторно. В полдень он помогал хозяйке кормить скотину. Сам таскал ведра с кормом и водой, давал сено коровам и овцам. С удовольствием долго смотрел, как жадно ела крупная супоросная свинья, тряся набрякшими красноватыми сосками. «Скоро, милая, скоро», — твердил Иван, почесывая ее тугую щетинистую спину. Выйдя со двора, он посмотрел на лесистые холмы и прошептал: «Скоро, скоро...»

Захотелось побыть одному. Он зашел на солнечную сторону за сарай, смахнул с козел снег и сел на них, откинувшись спиной на поленицу. Солнце было еще слабое, но, чем дольше и неподвижнее сидел он, тем сильнее ощущалось, крепло его тепло. Иван снял шапку,

<sup>1</sup> Спокойной ночи! (фин.)

закрыл глаза, и ему казалось, что он сидит перед разгоравшейся печкой.

— Иван! А Иван!

Он встал и вышел из-за сарая.

На пороге избы сидел, опираясь на деревяшки, старик.

— Поторавливайся! — крикнул он и махнул одной деревяшкой.

«Неужели уже идти?» — подумал Иван с беспокойством и вошел в избу вслед за стариком, бойко отворявшим двери за маленькие, специально для него прибитые ручки в нижних частях дверей.

По избе разносилась песня, широкая, русская.

— Сюда, сюда! — опять махнул деревяшкой старик и скакнул в свою комнату.

На постели у старика стоял небольшой приемник, прислоненный к подушке. Приемник работал на батареях, это был дорогой подарок зятя. Старик редко включал его.

— Вот оно, слушай!

Старик прыгнул к кровати, подпер кулаками подбородок, поставив локти на матрас, и замер.

Колокольчики мои,  
Цветики степные,  
Не кляните вы меня,  
Темно-голубые.

— Степные... — промолвил старик.

Я бы рад вас не топтать,  
Рад промчаться мимо,  
Да уздой не удержать  
Бег неукротимый.

Когда певец кончил петь и бубенцовая музыка замерла в маленьком ящичке, старик посидел немного в прежней позе, потом выключил приемник и повернулся к Ивану.

— Вот оно как, милой, — живешь, думаешь, и нет у тебя ничего на душе-то, а иной раз как разворошишь... Вот те и цветики степные, вот те и девичья забава! Ты видел волжску степь?

— Нет, не видел. Так это поле.

— Вот те и поле, да не поле!

— Ну, большое, знамо дело...

— О, милой! Степь попадается такая, что вот закроешь глаза, да и иди с утра до ночи — и ни на чего не наткнешься. Вот она, степь, какая. Сейчас про нее пели, — тише добавил старик, — люблю я эту песню: «Далеко, далеко степь за Волгу ушла». Это самая такая песня...



— Ничего, дома наслушаюсь теперь, — с робкой улыбкой ответил Иван.

Сморщенное лицо старика помрачнело. Он медленно уселся на свой топчан, взял один из ножей, деревяшку и засмотрелся в окно на сиреневое небо на закате.

— Сегодня в бега-то? — спросил он наконец.

— Пожалуй, сегодня.

## 7

В эту ночь никто не ложился спать. После ужина все, кроме старика, который зажег у себя сразу две лампы и занимался своим делом, сидели на кухне, изредка перебрасываясь словами. Все было давно ясно, ждали только глубокой ночи.

С Иваном шел только Урхо. Вместе они должны были изображать заблудившихся охотников, в случае провала, и хотя каждый понимал, как это наивно, но лучшего не было в их положении. Для этой цели оба они приготовили ружья, заплечные мешки, ну и, конечно, лыжи. Хозяйка снабдила их едой — холодным мясом, соленым шпиком, хлебом и гордостью своей кухни — румяными ватрушками с картофелем, тоненькими и пресными, которые назывались — каккарат.

К полночи собрались и стали прощаться.

Из дверей показался старик, оглядел охотников.

— Сыми-ко свою рвань! — сказал он Ивану, кивнув на его раскисшие старые валенки. — Так и есть! До седых волос доживаешь, а об ногах и заботушки нет. Может, сутки в снегу сидеть будешь, а ты...

Он перекинулся словами с домашними, и Люли принесла крепкие валенки мужа.

— Да полно вам... — слабо протестовал Иван, крайне смущенный и растроганный. — Сейчас эвон какая теплынь, сосульки висят...

— Ты пареного человека видел? Нет? — спросил старик, глядя снизу вверх. — Ну вот. А я оммороженного видел раз!

Иван надел валенки.

— Зайди! — бросил старик и оставил дверь в свою комнату открытой.

Иван вошел уже с мешком за плечами и с шапкой в руке. На подоконнике при свете двух ламп он увидел целый ряд небольших деревянных фигур, которых раньше не было, видимо старик достал их откуда-то.

Безногий протянул руку на уровне своего лица и взял с подоконника одну из фигур.

- Вот тебе на память.
- Спасибо, Василий Федорович.
- Ну, прощаться-то будем?
- Будем, Василий Федорович.

Иван встал перед безногим на колени, и они трижды обнялись.

Шли, как и несколько дней назад, один за другим: Урхо впереди, Иван сзади. Во тьме безлунной ночи Иван видел лишь расплывчатую тень своего проводника да слышал легкое шуршанье лыж. Сегодня наст не гремел, и лыжи на нем не раскатывались: с полночи шел густой прямой снег. Было бы все как нельзя лучше, если бы поднялся ветер, — тогда зашумел бы лес и скрылись в этом шуме слабые по свистывания лыж и палок.

Они уже вышли из лоцины, где стоял приютивший их дом, и поднимались на первый из холмов. Урхо не торопился исключительно потому, чтобы не утомился раньше времени его спутник. Длинные подъемы он брал не в лоб, а затычными зигзагами, под углом, опять для того, чтобы легче было Ивану. При новом спуске в лоцину Урхо подал Ивану палку, чтобы тот не разогнался сильно и не упал, а сам, притормаживая «плугом», медленно и бесшумно достиг низины. Здесь они остановились отдохнуть. Прислушались, поправили крепления и двинулись дальше в черноту леса. Порой Ивану казалось, что они идут на сплошную, непроницаемую стену, но она все отступала и отступала, неохотно раздвигаясь в нескольких метрах от них и выделяя из себя неясные очертанья стволов, ветвей, которые вблизи, на фоне сероватого снега, приобретали некоторую четкость и успокаивали на несколько секунд напряженные нервы.

Ивану вспомнилась ночь на льду, когда он бежал с Шалиным из Кронштадта. Тогда вот так же серо виднелся снег под ногами, тоже обрывавшийся где-то рядом в темноте ночи. Тогда он шел до самого рассвета с большой надеждой в душе, но впереди шагал загадочный Шалин, его земляк, и от его скрытности, неразговорчивости не приходилось ждать много хорошего. Сейчас его ведет совершенно чужой человек, тоже неразговорчивый и более сильный, вокруг такая же ночь и еще большая опасность впереди, но он верит ему и удивляется своему счастью.

Урхо остановился и дал понять, что дальше пойдет один осмотреть местность и найти нужный участок границы.

Иван остался один.

Урхо ушел навстречу еще большей опасности, и это, наряду с волнением за своего проводника, как-то успокаивало Ивана, позволяя считать, что здесь еще не самое опасное место.

Тяжелое раздумье над своей судьбой наваливалось на Ивана и отодвигало остатки страха. С горькой усмешкой отметил он, что приходится так же крадучись возвращаться на Родину, как когда-то бежать от нее. Он размышлял, прислонясь спиной к дереву, что на свете живет, должно быть, очень много всяких народностей, что весь мир делится на разные страны, но все люди — в этом Иван был теперь твердо убежден — делятся на подлых себялюбцев и на простых, добрых. Он не прочь был бы разобратся, от чего это получается и каких на свете больше, но к нему начинало подкрадываться беспокойство за Урхо и за себя. Найдет ли он это место? Сумеет ли вернуться к нему в такой тьме? А может, он... Нет, Урхо не бросит его.

Почему же, продолжал размышлять Иван, немного успокоившись, так никудышно сложилась его жизнь? Он силился ответить себе и не мог, но ему все же казалось: останься он в своей деревне, не пойди на войну — и все было бы хорошо. Но, умудренный горьким опытом, он понимал, что человек не властен над собой, что в этом мире он не принадлежит самому себе. Правда, однажды он ушел от всего, выгородился — и ощутил под собой пустоту.

Урхо вернулся не скоро, но пришел точно к тому месту, где ждал его Иван. Он шел по своей лыжне, которая легла за ним, поскольку в низине, под соснами, наст был очень тонок.

Приблизившись, Урхо поднес часы к своим глазам и покачал головой: пора.

Как по тонкому льду, осторожно двинулись они по лыжне. В одном месте, на каком-то невидном подъеме, Иван поскользнулся, неосторожно хлопнул лыжей и ударил палкой по дереву. Урхо сразу встал как вкопанный, словно его пронзили, и прижал палец к губам. Иван готов был рвать на себе волосы, но он лишь до тошнотной икоты сжал челюсти.

Левее их и немного сзади послышался какой-то стук, казалось, где-то хлопнула дверь. Они долго стояли, не шевелясь, даже не поворачивая головы. Наконец двинулись дальше.

Урхо шел еще медленнее. И вот они достигли подошвы холма. Урхо снял лыжи, Иван тоже. Дальше навстречу пошли пешком, держа лыжи в руках. Шли — след в след. На склоне не было ни дерева, ни куста — все голо, поэтому здесь было светлее.

«Граница», — с тревогой и радостью подумал Иван.

Он уже видел на фоне темного неба неровный серый горб холма, с которого по ту сторону придется ему ехать вниз. Рядом — слева и справа — громоздились такие же оголенные вершины невысоких пограничных холмов, но более сумрачные, неотчетливые.

«Скорей бы!..» — билась одна и та же захватывающая мысль.

Вот она, вершина! Невидимый во тьме простор дохнул на потное лицо чуть заметным движением воздуха.

Как тихо!

Урхо надевает лыжи и торопит Ивана. Знаками показывает, как идет пограничная полоса и как лучше ехать вниз. Иван кивает, вскидывает над вспотевшим лбом шапку. Дышит тяжело, отрывисто. Урхо прислушивается. Иван — тоже.

Все готово. Вот он, этот миг, к которому он столько времени стремился. Иван улыбается еле заметной в сумраке улыбкой, на глазах слезы. Он видит ответную улыбку Урхо. Тот приблизил свое лицо и смотрит в глаза Ивана, впервые не отворачиваясь от его скривившегося рта...

— Урхо!..

— Ифана!

Крепкие мужские объятия.

Позади, внизу, неожиданный лай собак.

— Хювястэ,<sup>1</sup> Ифана!..

— Хювястэ, друг!.. Ах, Урхо! Совсем забыл — на том берегу Ифана-ярви неснятый капкан. Возьми!..

Лай близко.

На небе — первые намеки на рассвет.

Иван отдает ружье Урхо, поправляет мешок за плечами и ставит лыжи на спуск.

— Уходи скорей, Урхо! Прощай!..

Иван скользнул в сине-серую муть сумерек.

Урхо по-прежнему стоял, не двигаясь и уже не слыша Ивана.

Но через несколько томительных секунд там, внизу, где сейчас должен быть Иван, раздался резкий выстрел.

За ним — второй. Потом — третий.

Урхо тихо простонал и прикусил губу, но в это время на той стороне он услышал громкий окрик по-русски и лай собаки.

Урхо облегченно вздохнул, облизал соленую от крови губу и услышал, что позади вместе с собаками поднимаются к нему и люди. Он снял с плеча ружье Ивана, размахнулся и бросил его в сторону, вниз.

Рядом послышался шорох лыж финских пограничников, энергично бравших подъем. Палки их взвизгивали о наст, как мимо идущие пули.

Светало!..

---

<sup>1</sup> До свиданья (фин.).

# Григорий Глозман

---



## ДЕТСТВО

*До смерти в памяти останется,  
как я смотрел, раскрывши рот,  
на мчавшиеся мимо станции  
составы длинные на фронт.  
Мелькали гимнастерки новые,  
рвались из песен голоса...  
И день за днем неслись стрелковые  
и танковые корпуса...  
Откуда-то из необъятности,  
из сказочного далека...  
Войны великой все превратности  
не представляли мы пока.  
Но в грохотанье том тревожном,  
по танкам взглядами скользя,  
уже мы знали непреложно,  
что воевать с Россией можно,  
но победить ее —  
нельзя.*

\* \* \*

*Я говорю: — Терпенье!  
Владей своей рукой.  
Легко испортить пенью  
фальшивую строкой.*

*Не будем торопиться,  
и воздух в грудь вберем...  
Слова, как пехотинцы,  
на поле  
под огнем.*

*Лежит моя пехота —  
ряды упрямых строк...  
Солдатская работа —  
молчанье  
и рывок.*







*Ирина  
Малырова*

---



**БАЛЛАДА О ДВУХ ИМЕНАХ**

*(Монолог Ариадны Скрябиной,  
убитой в 1944 году в Тулузе)*

*Моя судьба — запутанный клубок,  
В нем спрятаны начала стольких нитей...  
Но Ариадна дал мне имя бог,  
И выход разыщу я в лабиринте.*

*Если в мире неладно,  
Если бушуют войны,  
Имя мое Ариадна  
Кажется слишком спокойным.*

*Имя свое, жалея,  
Снимаю, как ожерелье,  
Имя свое певучее  
Оставляю до времени лучшего.*

*Имя беру другое —  
Оплеванного изгоя,  
Имя беру, которое  
Нынче не в моде,  
Имя, что эту свору  
Хлещет по морде.*

*Себя нарекаю Сарра,  
Имя мое — кара.*

*Ни у кого не спрошено.  
Имя — как нож из ножен.  
Сколько имен ношено —  
Столько, сколько положено.*

*Кто это там досадует,  
Меркою мерит узкою?  
— Скрябина я, Александровна,  
Русская я, русская.*

*В календаре найдется  
Дата такого дня:  
Имя мое вернется  
На родину без меня.*

*Пуля врага припрятана,  
В травы паду тулузские.  
Скажут: лежит здесь русская,  
Скрябина Ариадна.*

*Ляжет плита квадратная,  
И по законам братства  
Будут во мне оплаканы  
Несколько наций.*

*Кто там со мной по соседству?  
Кончилась ли война?  
Как я любила с детства  
Разные имена.*



\* \* \*

Поздравляю с весной знакомых,  
с молодыми ветрами.  
Словно почки —  
с треском! —  
окопные  
раскрываются рамы.

Книги новые  
раскрываются  
взволнованными поэтами.  
Озера с себя  
лед срывают,  
как эпoletы.

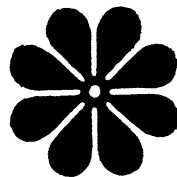
Поздравляю, сугробы,  
с разжалованием  
в ручьи и реки.  
По шоссе —  
велосипедисты,  
сорвавшиеся  
с орбит велотреков.

Высытятся —  
в глубину озер —  
их отражения.  
Вдохновенны людские лица  
в движении.

Смолкли недавние слепые вьюги.  
Но, как бы случайно,  
под крышами  
вечерами  
сосульки —  
как ноги молчания.

*Дмитрий  
Бобышев*

---



\* \* \*

*Со мною девочка идет Наталья.  
Ты словно туфелька, моя Натальюшка.  
И, словно лодочка надо льдами,  
Ты на ледышки идешь — наталкиваешься.*

*У школьников в портфелях марки,  
В портфелях мокрые лежат тетради,  
Мы — школьники с тобою в марте,  
На завтраки мы все потратили.*

*И улицы для нас проветрены,  
Начищены, блестят, как никелевые,  
И все деревья стоят приветливые,  
И скоро белые наши каникулы.*

*О, ракушка на море летняя.  
О, как укачивает глубина.  
Ты — донышко мое последнее,  
Откроешься — и нету дна.*

*Ты девочка над миром тающим,  
Проветренная и сквозная,  
Ветрами теплыми, налетающими  
И ты просвечиваешь, я знаю.*

\* \* \*

*Километров редкий лес,  
проводов железных трасса  
растворяют твой отъезд  
по всему — меж нас — пространству.*

*Каждый куст и каждый час,  
звук отдельный в перестуке  
получают — каждый — часть,  
соразмерно, часть разлуки.*

*С этим свойством незнаком,  
создан силою влечения,  
входит в сердце целиком  
только образ твой вечерний.*

*Только ты, отдалена,  
узнаешь по праву страсти,  
что и вправду страсть одна  
нераздельная в пространстве.*

*Но пока твой путь таков,  
что заполнена разлука  
шевеленьем облаков,  
бездной воздуха и звука.*

## **ОБЛАКА**

*Гляди почаще вверх и выше  
на облаков небесных тишь,  
гляди наверх, и ты увидишь,  
как неподвижно ты стоишь.*

*Как неподвижная планета  
непостижимо велика,  
и в тишине над нею где-то  
плывут, проходят облака.*

*Над занемогшими полями,  
над замирающей землей*

*они плывут над всеми нами,  
у всех у нас над головой.*

*Стоят мосты и часовые,  
и от штыка не дрогнет тень,  
стоят пути полосовые,  
на полустанке дремлет день.*

*Стоят станки в своей работе,  
стоит, глядит в себя завод,  
застывши в утренней зевоте,  
стоит спешащий к ним народ.*

*Сидят на лавочках деревни,  
лежит в излучинах река,  
стоят отдельные деревья,  
их обтекают облака.*

*Вдоль человеческой надежды  
ведет, ведет куда-нибудь  
из дней пропавших, лет ушедших  
в года грядущие их путь.*

*Стоят деревья, горы, годы,  
течет небесная река,  
стоят дела, стоят народы,  
плывут над ними облака.*

*С поклажей света и прохлады  
плывут вдоль жизни, вдоль земли  
огромно-тихие фрегаты,  
свободных далей корабли.*

*Они плывут, не разбирают  
широт, долгот, веков, часов. . .  
И ветер вечности вздымает  
строй белоснежных парусов.*

\* \* \*

*Несравненной твоей красотой  
повороты реки, шорох леса, дыхание поля  
не увлечь на сравнение с тобой,  
не отвлечь от себя, чтоб они повернулись бы, споря  
с несравненной твоей красотой.*

*Как бы ни были дружески общие взмахи ветвей,  
не найти среди них лишь к тебе обращенного жеста.  
Разногласна природа с гармонией лишней твоей.*

*Заглядевшись сходством своих облаков и полей,  
нет ей дела до твоего совершенства.*





# ЭДУАРД КУТЫРЕВ



## ПО РЕЧКЕ ИРКИНЕЕВОЙ

### ПОВЕСТЬ

Два дня шел Семен от Усть-Иркинеева вверх по реке, вел лодку с продуктами Тэринской геологосъемочной партии, где начальником Коржов.

Река была быстрая и светлая, и теперь, в сентябре, сильно обмелела, потому что все лето дождей не было, а осенний мокрый колотун еще не начался. В одиночку трудно было Семену управляться с лодкой. Кой-как он добрался до Бедобы — последнего поселка на реке, а партия работала в верховьях, в сотне километров отсюда. Выше Бедобы начиналось магматическое плато, река становилась сильно широкостой, с глыбовым дном, без стрежней, и нужен был сильный помощник, чтобы помогал тянуть лодку бечевой против течения, а главное — чтоб знал фарватер.

В правлении колхоза, куда обратился Семен, встретили его осторожно. Был он изнурен и тощ, четырехмесячная борода свилась и свалилась, он кашлял со свистом и походил на сорокалетнего.

Председатель колхоза Паршин развел руки, поклялся, что мужиков свободных в поселке нет и на ближайшую пятилетку не предвидится.

— Нынче в армию убыло шесть человек, две семьи улетели в Красноярск. А баба нужна ли тебе?

Семен сел на лавку, хотя сам Паршин стоял и сесть не звал.

— Давай, председатель. Только знаешь какую? Мне вверх идти. Или уже выбора нет и между них?

— Есть-то есть. — Паршин потер щеку. — У нас каждая баба знает реку что вверх до Мадашена, что вниз до Ангары, да ведь иная от семьи не пойдет, а другую хозяйин с тобой не пустит.

Бухгалтерша Елена Мальцева, которая до сих пор молчала, шлепая одним пальцем на машинке отчет, посоветовала :

— Соловьева Ольга сама пойдет... Да помнишь ты ее, Дементьевич. На маслозаводе она... Тосковатая чтой-то сделалась, и не беременная притом, можна ей нагрузка. Пускай ее съездит.

— Так она что, с мужиком... того?

— А как же! — обрадовалась неосведомленности председателя Мальцева. — Ушел он с Клавкой жить.

— Эх его, — крикнул Паршин, — сменял лен на огонь.

Ольга бросила на брезент фуфайку и узелок, взялась было за высокий нос лодки, чтобы столкнуть, но замерла. И обернулась, не отцепив длинных рук.

Наверху стоял сгорбленный парень.

Поняв, что Ольга заметила его, он согнулся еще больше и поволоком ногой туда-сюда по глинистому краю террасы, убеленному корнями трав.

— Насовсем или как? — спросил он, не вынимая папироску из рта.

— Может, насовсем, — ответила Ольга хрипловато. Дрогнув плечом, повернулась резко.

— Ну-ну... — Парень сплюнул папироску и ушел. Отсюда, от воды, казалось — провалился сквозь землю.

Она покосилась на Семена. Тот уставился под ноги и, может быть, ничего не понял, и Ольга провела рукой по виску, отводя выбившиеся волосы, — как бы сняла сердитость с лица. И оттолкнулась шестом.

Лодка качнулась от скользкого берега, ее потянуло в шиверу, а Семен все еще сидел на корме, облокотившись на маховик мотора, и смотрел на зеленый бугор. Тот парень подошел к полуторке, вскочил в кабину и хлопнул дверцей. И машина понеслась по дороге, а девушки, что стояли рядками в кузове, запели свои страдания.

— Что же вы? — услышал Семен.

Он поспешно намотал бечеву на маховик, дернул, и еще несколько раз наматывал и рвал изо всей силы, но мотор даже не чихал. Злясь, помял Семен «грушу» и, когда из карбюратора закапал густой бензин с автолом, снова намотал бечеву и, прикрыв окошко карбюратора пальцем, дернул.

Теперь мотор заработал. Семен вздохнул свободно, дал сцепление и повел лодку под мост, лавируя между поплавками рыболовных устройств и остерегаясь светлой воды.

Близился вечер, и Семену хотелось уйти от поселка подальше, чтобы Ольга не передумала, не помирилась в мыслях с тем парнем.

Он нацелил лодку под мост между свай, где поток не казался таким быстрым и мелким, но Ольга неловко, нерешительно ткнула обмякшей рукой в быстрину, влево, и Семен послушался, пошел по быстрой воде на большой скорости, со злорадством ожидая удара винта о камни. И хотя под мостом прошли ладно, он все же не верил (и еще долго не верил), что Ольга знает фарватер. И за мостом, откуда Иркинеева узко вливалась под сваи и была широка, и дальше Ольга все время указывала своей длинной рукой или водила ею так спешно, будто перемешивала буквы в том самом слове, которое так и вертелось на языке Семена; он сбавлял ход, переживая, что Ольга так шустро командует и не чувствует груза, неповоротливости судна. Теперь он уже злился и на себя, что согласился на нее, предвидел в ней одну только обузу, бабу, и поклялся, что катать ее будет не зря и что так ей и надо. «Нашла, чем парню досадить. Уеду! Ишь ты, шустрячка!»

А того парня ему стало еще жалче.

Стрежень вилял. Иной раз их появлялось два, и надо было точно переползти из того, что кончался тупиком, в живой, через гриву, над самым ее низким местом. За поселком протоки слились, Семен стал понимать Иркинееву сам и держался на поворотах вогнутого берега, к которому, как всегда, прижимался стрежень.

Скрылись последние дома, и через две излучины на берегу Семен увидел старика. Когда Семен сбавлял ход, была слышна гнусавая песня деда, гнусавая потому, что во рту его была закушена трубка. Дед пел:

— Па-а-а ре-е-ечке, речке Иркине-е-эвой. . .

Он повторял то высоко, то низко, на разные лады одни и те же слова. С тех пор как его стало видно, он несколько раз вытаскивал удилице, воткнутое в глину, и, не подсекая, — словно знал, что рыбы давно уже сидят на снасти с множеством крюков, — выволакивал на берег то серобрюхого налима, а то и в компании с широкими сорогами, которые хлестали его хвостами. При этом дед сокрушенно качал головой. То, что он поет на лову, верно, есть его особый метод, подумал Семен, метод, никому более неизвестный. Рыбам хочется знать, должно быть, что же все-таки на речке Иркинеевой происходит, и, чтобы узнать, они вынуждены прогуливаться поблизости от деда, пока не наткнутся на червя и от нечего делать не сглотнут его. А дед вытаскивает их на глину.

Такое объяснение Семену понравилось. Он приглушил мотор, когда поравнялся с дедом, чтобы не распугать его рыб. Дед помахал рукой, и Ольга ответила так же, а Семен решил, что она хочет поговорить с рыбаком, перевел мотор на холостые обороты и уткнул лодку в берег.

Горящие махрины стреляли из трубки и отскакивали от большого дедова носа, и, должно быть, носу было щекотно.

— Здорово, — сказала Ольга, выпрыгнув из лодки.

— И вам того же, — раскланялся дед, разглядывая Семена.

— Клюет, говоришь? — спросил Семен.

— Не-е.

— А это что же? — легонько пнул Семен ногой ведро.

— Это ли рыба?

— А кого тебе надо?

— Это ли рыба!

Ольга постояла еще немного, словно ждала чего-то, и вздохнула.

— Ну ладно, дед, лови свою рыбу. А мы поехали.

Дед часто закивал головой.

— С богом, дочка, с богом.

Но она медлила, будто припоминая что-то важное, что хотела сказать деду обязательно, и начала, косясь на Семена:

— Моего увидишь, скажи...

Дед наострил навстречу Ольге правое ухо, и даже толстый нос его как будто похудел от усердного ожидания, но Ольга не досказала. Шагнула в воду, бесполезно махнув рукой, и села на куль муки, забыв отчалить. Дед все понял, старый: положив удилице, мягко спихнул лодку (даже Семена, который стоял на корме, настороженно и угрюмо глядя на Ольгу, не шелохнуло), и пока Семен возился с мотором, дед тараторил:

— Ладно, дочка, скажу, скажу. Уж будь покойна, все скажу.

Ольга поморщилась, покачала головой. Семен дал передний ход, а дед испугался, что говорит невпопад, и закричал поспешным тенорком, выгнув туловище вперед, словно молодой петух прокукарекал, и Семен с трудом разобрал его слова. Ему показалось, что дед имеет в виду его, Семена, и что он, Семен, и есть тот самый сукин сын, которого надо держать в ежовых рукавицах.

Через несколько излуч рек сошлась в узкую горловину, из которой, словно гнилые клыки, торчали четыре сваи, делившие русло на пять протоков. Не так давно здесь был старый мост, спиленный из-за опасной старости и удаленности от поселка. Семен замедлил ход, выискивая глазами проход, и теперь лодка уравнилась в скорости с рекой и почти стояла на месте.

Три правые протоки перегородены поперечинами, и вода сливается через них, словно из корыта. А пятая — замелела, светла. И только в четвертой слив тугой и темный, на него-то и кивнула Ольга, и Семен подумал, что сейчас она, пожалуй, права. Он поерзал.

уперся ногами потуже и на средних оборотах направил лодку к водоворотной зоне, и когда вошел в нее, лодку затрясло, и моторист плавно свернул румпель. Струя ударила в нос, отклоняя его вниз, но Семен уже дал газ и тут же потянул румпель влево. Лодка послушно вошла в стрезень и встала на выпуклую пенную гриву, едва заметно сползая вниз. Тогда он добавил оборотов, и лодка медленно двинулась наверх.

Протока была крутая, нос задрало. Семену плохо видна стала правая свая, да еще эта, как ее, Ольга, мешала глядеть, вытягивая шею, всматриваясь в слив, а потом вздумала перетаскивать с середины на нос куль муки, и когда перетащила, помогая коленями, лодка пригрузла носом, а корму чуть подняло и дно отделилось. Семен одобрительно хмыкнул.

Он не успевал сразу следить и за сваями и за дном. Когда смотрел сбоку на воду, взгляд скользил поверху, обманно принимая кучерявые отражения облаков за глыбы камней, источенных водой, а настоящие зеленые островки камня, примаскированные струями тины, сливались с позеленевшей от напора водой. Эти камни на дне выползали неожиданно, иной опасно близко от прозрачного круга винта, который Семен видел, перегибаясь за корму, и он сбавлял газ; лодка вставала на место и даже помалу отползала вниз и вбок, камень проплывал мимо, и тогда Семен добавлял газ.

Нос лодки уже перевалил за гребень слива, когда винт щелкнул сухо и мотор взревел. Ударом локтя в рычажок карбюратора Семен погасил обороты. Лодка постояла по инерции на месте, затем нос ее повело вбок и стукнуло о свая, а сзади в кожух мотора воткнулась балка, косо вставшая навстречу воде; лодка дрогнула и накренилась, едва не опрокинулась. Однако теперь Семен знал, что делать: упал на задраный борт, столкнувшись здесь с Ольгой, и они вместе перевесили, выровняли остойку судна. Так они и пробыли на борту, держась друг за друга, пока нос окончательно не повернуло. Лодка выпрыгиваясь и стремглав понеслась вниз.

И со второй попытки взять шиверу не удалось. Семену хотелось свалить вину на Ольгу, но он не знал, к чему именно придраться. Получалось так, что все она делала как надо. Да к тому же он боялся, что распалится, слово за слово, а поселок-то вон он, еще и трубы не скрылись. . .

— А вы ничего, — сказала Ольга, улыбнувшись, — вы свое дело знаете. Только зачем без доски-то ездите?

Семен несильно скривился и пошел на место по тюкам. Работая пропешкой, загнал лодку в курейку, развернул и причалил кормой. Потом вывернул мотор вверх и набок и снял винт. А Ольга подавала то разводной ключ, то отвертку, кернер или пассатижи, которые он

просил, бросая короткие названия; она различала эти вещи, и это Семена больше озадачило, чем обрадовало.

Но и обрадовало тоже.

За работой не заметили, как рано сгустилась синь и обернулась мелким холодным дождем.

— Мы с тобой поладим, — крикнул Семен, когда с третьего захода из шиверы вылезли на длинный плес. Ольга не ответила. Семен достал из-под брезента желтый возничий дождевик, кинул Ольге, а сам набросил на голову пустой баул. Сидел на корме, глядя в воду и вытирая нос, на конце которого время от времени набиралась дождевая капля.

Дождь то спадал, и яснили дали, а то косо, боком, так что уже издали был виден его подход, наваливался густо. Позеленевшая поверхность воды пузырилась, и не было возможности видеть, где мель и к какому берегу держать. Семен приглушил мотор и крикнул, чтобы Ольга выбирала место, но она словно не расслышала. Сидела, сжавшись на куле, подобрав ноги, и в желтом плаще походила на озябшего цыпленка.

— До зимовья не дойти ли? — ответила она наконец, обернувшись.

«Боишься ночевки в палатке?» — подумал Семен злорадно.

Дождь стал ярый, бил с грохотом, вода ручейками стекала с баула на колени Семену, и они стали зябнуть. Голос мотора сделался глухой и нудный, а потом крышку начало трясти, должно быть магнетного подмокло или искра проскакивала где не надо.

Берега все были крутые, заросшие высокой травой и ивняком. И когда меж зарослей мелькнул просвет, Семен упрямо повернул лодку и с разбегу воткнул в берег.

Он указал Ольге, где посуда в лодке, поставил палатку, пролез в нее на четвереньках, на мокрую траву настелил брезент и кошму, примял, вытряхнул из чехла спальный мешок, усмехнулся и пошел рубить дрова.

Подсунув под смолистую щепу завиток бересты, он поджег ее спичкой, зажженной в кулаке, и от нее же прикурил. Сидя на корточках, затыкнулся с удовольствием, со свистом в простуженной груди.

Когда вода закипела, Семен покрошил в нее плиточного чаю, отставил котелок в сторону и подложил сосновых поленьев. Пламя, чуть затухнув, взвилось и затрещало жарко. Он отодвинулся, сбоку разглядывая Ольгу.

«Ничего баба», — решил он.

А когда в палатке разлил чай по кружкам, Ольга сказала вдруг, взглянув на него прямо, не мигая:

— Чего-нибудь покрепче нет?

Семен засуетился, встал поспешно, подергал мочку уха, боком продвинулся к выходу, глядя на Ольгу (может, шутит?). А она сидела озябая, касаясь волосами, слипшимися в пряди, брезентовой крыши и прикусив губу, словно спохватилась, испугалась своих слов, да поздно.

— Это можно, — ответил он.

Спустился к лодке, гвоздем отомкнул контрольный замок на вьючном ящике, достал бутылку, вытащил две банки колбасного фарша, зачерпнул из реки кружку воды и вернулся, защелкнув замок и тщательно укрыв ящик брезентом, сложенным втрое.

Ольга уже вылила из кружек чай обратно в котелок, а Семен сполоснул их, чтобы остудить. Потом зажег свечу, вставленную в консервную банку, и в палатке появились длинные тени. Он налил полкружки спирта, разбавил водой и тонкой струйкой стал наливать спирт во вторую кружку, ожидая, когда Ольга остановит, и по тому, когда она остановит, узнать, что будет дальше.

Она не останавливала, и он налил до половины, больше нельзя: некуда будет разбавлять водой.

— Ну что ж, — сказал он, довольный. — Погреемся. Дай бог, не последняя.

Он подождал, пока Ольга выпьет, после чего выпил сам, крикнул как полагается, сильно дыхнул и, закусив фаршем, понял, что все идет как надо.

Нога затекла. Семен повернулся на другой бок и оказался рядом с Ольгой, совсем близко, и внимательно разглядывал ее глаза. «Красивые», — отметил Семен и поерзал. Почему-то ему хотелось, чтобы глаза не были красивые. По ним было видно, что лет ей девятнадцать или чуть меньше, у глаз — морщинки, какие бывают, если человек много смеется, а у губ — тоже полоски, если человек часто поджимает губы. Видел Семен и острые коленки ее. Вздохнул. Повернулся на спину, подложил руки под голову. Видел: по потолку перелетают бледные комары, потревоженные ударами капель.

Сбоку плыл над ним Ольгин профиль, как месяц, и казался лукавым.

— Будем спать, — сказал он как бы равнодушно.

— А как?

Он ответил серьезно:

— Как же еще, если не в мешке.

Она поискала глазами.



— Так ведь один мешок.

Он пожал плечами.

— Ну, как хочешь. Тогда залезай ты, а я — как-нибудь... Куришь?

— Давай, — поспешила она ответить.

Он протянул «Приму», и когда она закурила, понял, что не умеет она курить. В нем что-то заволновалось еще больше. Он смотрел на Ольгу не отрываясь. Почесал бровь. Подумал, что плохо, когда не знаешь, кто она, и нужно все начинать с начала. А начинать все не хотелось.

— Ты ложись, — сказал Семен. — Раздевайся.

Ольга шевельнулась.

— А не холодно раздетой?

— Нет. Холодно одетой.

Он отвернулся.

Опять бегал по крыше дождь. Семен слышал, как Ольга сняла телогрейку, свитер, потом чулки, помедлив — юбку, и посоветовал:

— Одежку положи под голову в мешок, не то отсыреет.

Ольга уже копошилась в мешке, и Семен решительно и ловко помог завязать шнурки и застегнуть пуговицы, чувствуя что-то нежное и даже трогательное, когда прикасался к ее рукам, прижимающим вкладыш к груди. Затем он снял сапоги, положил в головы, накрыл Ольгиной телогрейкой, погасил свечу, зацемявив фитиль пальцами, чтобы не воняла, после чего прилег на бок, рядом с Ольгой, поерзал немного спиной, прижимаясь к холодному мешку плотнее: хоть с одной стороны тела не тратилось бы тепло.

Ольга застыла вся, словно чего-то ждет, и ему захотелось потрогать ее лицо.

— Ты спишь? — спросил он.

— Нет... мне холодно.

Он пододвинулся ближе, хотя двигаться уже было некуда, просто убедился, что она тут, рядом, только руку протяни. Гадал про себя, какая она и как бы это лучше начать. Походило, что такие уже встречались ему, и с ней тоже можно бы посмелее. То, что она сейчас сказала, он слышал когда-то, и такая жалоба всегда означала одно и то же.

— Тебе тоже холодно, — сказала Ольга. — Как-то все не так.

Немного досадуя, что она упреждает его действия (ведь он сам, как полагается, должен был сказать это), Семен сильно прижался и почувствовал: она дрожит. Задумался.

Что-то его остановило, когда он совсем было решил просунуть руку в мешок. Может, солидарность с тем парнем, которому Ольга

так грубо отвечала на берегу? Может, сначала надо было узнать, кто он есть, тот парень?

— Как его зовут?

— Кого?

— Мужа.

Она не ответила.

Дождь неожиданно перестал, только крупные капли лупили в крышу, падая с лиственниц. Семен считал их удары. Ветер задул дверь, хлопнул, откинув, и прополз в палатку, мокро прошелся по лицу. Семен нехотя встал, застегнул дверь на пуговицы, некоторое время сидел на корточках перед Ольгой, и она тоже молчала, затаившись.

— Ты согрелась?

— Да.

Он расстегнул брезентовый чехол ее мешка и влез в него. Погладил холодную щеку, и рука стала влажной. Ольга повернулась к нему.

— Ты что ревешь? — спросил он разочарованно. Он уже знал, что обычно режут после, а не сейчас, как Ольга.

— Ты привязал лодку? — услышал ее шепот, и тоже прошептал:

— Да.

— После такого дождя наша Иркинеева обязательно поднимется.

«Хорошо, когда ты говоришь — «наша», — подумал Семен.

— Ну-ну, — сказал он. — Тебе лучше?

Она молчала. Он еще лежал с открытыми глазами, когда услышал: ее теплое дыхание стало ровным и длинным. Это его сперва раздосадовало, он растерялся. И затих, напряженный. И повторял, чувствуя нелепость, бессмысленность слов, походивших на оправдание: «Ну пусть. Ладно. Пускай уж...»

Вспомнил, что сестра его Таня, когда спит, дышит так же, и у Ольги, наверное, тоже верхняя губа чуть оттопырилась и чмокает во сне.

Он думал, сколько послать Тане денег и откуда лучше посылать — из Бедобы или из Мотыгино.

Прикоснулся лбом к Ольгиной щеке, и так было спокойно.

Пусть маленько привыкнет к нему, пусть отмякнет душа от Бедобы, от того парня, что стоял на террасе и водил ногой туда-сюда. А там — посмотрим.

Ночью Ольга проснулась. Испугалась, что лежит кто-то рядом, подумала сперва, что Олег.

Было тихо. Потолок светился зеленым светом. Она вспомнила

все, что было вечером, затаилась и старалась не шевелиться, пусть Семен подольше не знает, что она рядом. Осторожно высвободила руку и потрогала горящие щеки.

Было сознание затерянности, странной радости и покоя. А вчерашнее прошло — то, отчего хотелось дразнить Олега, делать все наперекор ему, словно он мог все видеть или узнать, и мучился бы, исходил яростью, и так ему и надо.

Она осторожно покосилась на лохматый загривок Семена.

«Зверюга!» — прошептала добродушно, почти нежно. Поняла, что он мог вчера все, и она не спорила бы.

Но Семен обошелся с ней иначе, и не могла Ольга понять, отчего он так. Разве мог знать, почему она все это делает?

Вспомнила, как жаловалась, что холодно, и как он мог это понять. Заворочалась, а щеки еще пуще запылали.

Застыла, забылась. Задремала.

Виделось Ольге, как возвращается она от реки по черномазой улице, словно по первой полосе, пройденной лемехами в прошлогодней стерне. И уже издали ощущает на себе взгляд раскосых окон, словно прищуренных на рассвет. Вот первая изба. Живет в ней девяностолетняя старуха Евдокима Киселева, знатная ловчиха карасей и ельцов. От нее всегда воняет рыбой, гнилыми сетями, полынью, ондатрой и скипидаром. Жить Карасихе надоело уже давно. Что до сих пор она была знатной рыбачкой и обеспечивала ферменных чернобурок рыбой, а лечила травами лучше фельдшерицы Киры Моисеевой, наверное получалось у ней по привычке. Все-то она видела, все знала, а на то, чего не понимала, — крестилась. Была даже, говорят, в молодости в Кежме, в Енисейске была, илимки тянула с бурлаками в Богучаны с Енисея. Далеко это. Все ей надоело.

Ее дом рядом с избой Клавки Шилиной, тоже с маслозавода (Ольге хотелось побыстрее миновать этот дом, но не слушались ноги). Смотрит Клавка на Ольгу, как бы гладит, а в глазах — хитреца, озноб. Любит Клавка работать на маслобойке на пару с Ольгой, и Ольга не выдерживает ее скорости и мощи, просит передохнуть, а это Клавке и надо. Одалживает.

В третьей избе доживает свой век колхозный водовоз, непутевый рыбак дед Экцессуарий, который все знает, и все к нему идут за советом. Иногда, нацепив обколотое с краев старинное пенсне, реквизированное у помещика в Орловской губернии бог знает когда, он устраивает в клубе лекции о международном положении или о запуске спутников. Рассказывает так, словно только что вернулся с ракетодрома. Он сын кулака, сосланный в Сибирь мандатной комиссией еще

в те времена, когда и в помине не было парней, которые теперь называют его «вашим величеством» и выразительно поглядывают вслед, на залатанные рыбацкие порты. А еще его называют «профэссор», «наш профэссор» — с уважением, но и немножко с иронией: куда ж теперь ему деться от иронии с такой биографией! Он ни на что не обижается, внимательно смотрит на парней, и в глазах настороженность. Интересно, поймает ли он свою рыбу, ту, особенную рыбину, которую видел в Иркинеевой лет двадцать назад, и с тех пор все никак не может успокоиться? А в четвертой избе живет Кино-Милиция — кино-механик и дружинник. Когда долгое ненастье и новых кинолент не везут, он крутит старые ленты с конца к началу, наоборот, и разрешает всем смотреть бесплатно. Люди ходят задом наперед и все как в сказке. На пасху учудил Кино-Милиция: прокрутил наоборот ленту, в которой хоронят. Гроб как бы вынули из земли, расколотили и увезли с кладбища. На груди покойника забились его жена, и покойник ожил. Бабка Евдокима в этот раз не ругала Кино-Милицию, ушла домой торжественная и крестилась, приговаривая: «Все воскреснем. Все воскреснем. Но сперва умрем». А Паршин сделал Кино-Милиции выговор за религиозную пропаганду и не велел крутить фильмы наоборот без его особого на то разрешения, так прямо и написал в приказе.

Ольгин дом, где вот уже восемь месяцев живет она с Олегом, стоит на другом конце поселка. Книжки читать ей Олег не дает и сам от досуга не читает. «У них свое, у нас — свое, нечего тут воду мутить», — ворчит он. С тех пор как Ольга перебралась в его дом, он так и не может привыкнуть, что она у него — навсегда. Каждый день молча и настороженно через весь поселок провожает на маслозавод. Иногда вертит с ней бочку, но чаще с Клавкой, размеренно и без устали. Клавдия смотрит на него снизу, под радужными оболочками ее глаз видны полоски белков. Олег забывает, что она — женщина, и крутит все быстрее, словно догоняет кого-то. У Клавдии потеет под мышками, но виду не подает, что устала. Они сбивают масло с одного захода. Когда оно готово, Клавдия узнает по слуху.

И нельзя угадать, что он еще сделает завтра или послезавтра, и Ольга тревожна. Уже много дней подряд.

Третьего дня Кино-Милиция остановил ее и стал говорить о Тендрякове. Потом о Евтушенко, и эти имена были ей как заклинания, как темно-желтые образа в доме бабки Евдокимы, как борода старовера Ильи, имеющая особый смысл, и Ольга послушно кивала, хоть и не понимала, что говорит Кино-Милиция, но ей хотелось понять, она кивала и отводила глаза. А когда вернулась домой, Олег громыхнул кулаком по столу и сказал: будешь нюхаться со всякими — уйду. К Клавке. И ушел. Неизвестно, к Клавке ли, но ушел. Вчера вернулся

надутый. Ольгу не замечал. Сидел и, казалось, сосредоточенно слушал по радио, включенному во всю мочь, про Вьетнам, про воспитание детей, про строительство Красноярской гидростанции, отзыв на новую постановку Иркутского драмтеатра, рассказ Олдриджа, бой Кремлевских курантов в четыре часа утра, катал из хлеба шарики и приклеивал к ножке стола. А с рассветом опять ушел.

Дремота оборвалась, и Ольга вздрогнула, потому что Семен гладил ее шею своим шершавым лицом. Она не отстранилась, она сказала: не надо; и он согласился: да, не надо. Вздохнул, вылез из чехла и ушел, накинув на плечи телогрейку.

Ольга слышала, как он дует под бересту, разжигая огонь, как спускается к реке, скользя в мокрой траве, слышала, как сплеснул с брезента воду, накопившуюся за ночь.

Встала Ольга с тайной радостью, сама не зная, откуда эта радость, какой давно у ней не бывало. Оделась быстро, вышла на берег. Семен приветствовал ее осторожным, заспанным голосом. В льняной бороде блестели водяные шарики, и весь он, свежий, с мокрой рубашкой на груди, казался добродушней и складней, чем вчера.

— Ты мне всю шею бородой поцарапал, — сказала она и улыбнулась. Он вздохнул.

— Ладно. Сброю.

А Ольга испугалась.

— Шучу я. Из-за меня сбривать? Да ты что?

Но Семен видел, что его слова ей приятны.

Она стояла высокая и испуганная на крутом берегу, круглый живот ее чуть натягивал ткань одежды. Семен сощурил глаза.

И запомнил ее.

Вот такой и запомнил.

Отчалили рано.

Туман скользил по воде, солнце тяжело дышало в нем, мерно затухая и надуваясь. А кверху туман таял в пронзительной сини. В сливах под шиверой прыгали желтые комья дневной пены. Вода и на вид была холодной.

С утра трудно смотреть фарватер, но километров тридцать плесы шли неопасные, а перекаты хорошо обозначались полосами копытника по краям слива. Часам к одиннадцати берега сделались мрачными, река стала дурной и неровной, а фарватер не обозначался никак.

— Эх, надо было доску под винт в поселке наладить, — сокру-

шалась Ольга каждый раз, когда шпонку срывало. Она часто не знала, куда держать. Сидела на носу, свесив ноги, вглядываясь вниз. Большие глыбы предупреждала, и все же в тот день девять раз срывало шпонку. Девятый самый из всех опасный.

То была шивера на повороте с островом посредине. У вогнутого берега, белыми остриями верхушек навстречу воде, торчали подмытые и поваленные лиственницы. Уже минут десять мотор работал на полных оборотах, но вперед двигались только толчками пропешки, а моторная сила уходила на то, чтобы стоять, чтобы не сносило назад.

И вдруг обороты упали, хотя газ был полный, а когда Семен чуть тронул рукоятку газа, поршни и вовсе стали. Семен наvertsел шнур и рванул. Мотор взревел, и Семен поспешил включить скорость. От резкости шпонку и сорвало. Лодку понесло кормой на лиственницы, постепенно разворачивая. Ольга изо всех сил табанила пропешкой, но это мало помогало, и Семен прыгнул за борт. Воды было до пояса, но несло сильно, и Семен едва успевал перебирать ногами, рывками, помалу увлекая лодку подальше от лиственниц. Так и дергался, пока доставал дно, пока лодку не увлекло в водоворот и выбросило к берегу.

Когда подняли лодку через шиверу бечевой и утянули в заводь, Семен смеялся и дрожал от озноба и возбуждения. Выжимая штаны, говорил, что это ничего, терпимо, что главное позади. А Ольга смеялась вместе с ним, наматывая на ноги сухие портянки:

— Неправда, Семен, самые мели еще наши.

И они прошли эти мели — длинные и быстрые. Семен вел на малых, вглядываясь вниз, и уже с первым щелчком винта сваливался в ледяную воду, разгружая лодку, и Ольга тоже прыгала, хотя кричал ей Семен: сиди! Прыгала потому, что от недогруза на корме винт обнажался и лишенный сопротивления мотор взревывал, лодка теряла управление, и ее сносило. Но Ольга прыгала, и винт погружался. Семен добавлял газу и выравнивал ход, стоя сбоку, а выровняв, толкал сзади. Надо было глядеть в оба, чтобы винт, чего доброго, не долбанул по ноге.

Однажды, глядя на винт и налегая на корму, Семен приложился невзначай рукой к свечам зажигания, и его ударило током, отбросило вниз. Когда он справился с дрожью и поднялся, ноги не гнулись в коленях, не было сил догнать лодку. Зацепи сейчас винт за камень, сорви шпонку — мотор, ясное дело, пошел бы вразнос.

И вторая ночевка получилась вынужденной: опять начался дождь. Устроились наспех, в траве, полной мошки.

В эту ночь Семен почти не спал. В черных скалах, нависших над

рекой, надрывно, беря за душу, кричали совы. Семен лежал рядом с Ольгой в брезентовом чехле окаменевший. В груди переливалась непонятная обида. С ней и уснул. И сны были нелепые, короткие. То он идет по канату с буксировщика на «матку» и падает в воду, и его уносит под плот. То гонит бревна на сортировку. Ровные, круглые сосны идут валом, вырывают багор из рук, прут на него, треща, цепясь вдоль и поперек. Все сны были из его жизни, но от них росла в груди пустота, будто и не было в этой жизни ничего законченного, а все так — наскоком, да с отскоком — с Енисея на Ангару, с Ангары да на Подкаменную, в Бурный, к староверам, а от них, плюнув с горечью, — к лесорубам, и так без конца. И девки-то все попадались какие-то. . . с маху да на плаху.

А последний сон — Ангара. Утренняя, тихая, чистая. Далеко на горизонте лодка плывет, мотор звенит неназойливо, с переливами. На перекате возле буя стерлядка играет. На берегу, укрывшись брезентом, спят товарищи Семена.

И стало ему хорошо и жутко.

А после этого снов он не видел.

Встали с солнцем.

Слева впал в Иркинееву Тамыш, с трудом, понизу пробившись сквозь ершистый завал в своем устье. Теперь Иркинеева сузилась, помелела. На дне стали попадаться рыбы головы и внутренности. Головы принадлежали сигам и хариусам, меньше было щучьих и налимовых, и скоро Ольга заметила по-над водой жидкий дымок, и отчего-то забеспокоилась. А Семен вдруг выключил мотор и, упорно глядя за корму, как бы осматривая состояние мотора, сказал:

— Ты вот что. Ты поосторожней тут. Мужики оголодались, им этого добра шибко не хватает, ясно говорю? Не вздумай баловать, — закончил он грубо, сам не зная, на кого эта сердитость — на нее ли или на себя за то, что завел нравоучительную речь, а в груди, когда говорил, стукнуло.

Ольга подобралась, одернула юбку, подняла повыше воротничок кофточки, кивнула.

— Да я что. . . разве я. . .

Но Семен не стал слушать, завел мотор.

За крутой излучкой появилась широкая открытая коса, на ней шесть палаток. Люди стояли на берегу и безмолвно махали руками. Чем ближе подходила лодка, тем махали медленнее. А когда мотор смолк, кто-то протяжно свистнул удивленным свистом.

Мужчин здесь была целая толпа, наверное больше десяти. Две женщины в ватниках и накомарниках вполне сходили за неуклюжих мужиков, и отличить их можно было только сзади. Начальник пер-

вым отделился от толпы, шагнул в воду, завел нос лодки в ложбину между грядами и, уперевшись ногами, вытащил его на гальку.

Был он высок, как и все, бородат, и по годам, должно быть, ровня Семену. Когда Ольга спрыгивала с борта, он протянул руку, хотя все видели, что нужды в этом нет никакой. Мужчины молчали и смотрели на Ольгу прямо, жадно затягиваясь дымом.

— С приездом, — сказал начальник и представился: — Коржов. Юрий Павлович. Как дорожка?

Спохватился и назвал остальных: Раю-повариху, Валю — старшего геолога, еще двух геологов, лиц которых Ольга не разглядела под накомарниками, Димку и Генку — студентов-техников, а рабочих представил общим жестом: рабочие...

— Дорога ничего, — сдержанно ответил Семен. Он уже видел, что на него и на Ольгу глядят как на что-то единое, пытаются найти подтверждение этой догадке в его, Семеновых, жестах, взглядах, и поднималась в нем настороженность к этим людям. Он объяснил Коржову, зачем понадобилась Ольга. К тому, чтобы оформить ее рабочей, Коржов, казалось, отнесся равнодушно.

Рая кончала варево, тихо повизгивала и небожно била по рукам, когда Димка-студент щипал ее, поднося к костру дрова. Валя сняла телогрейку, умылась, и, когда расчесывала каштановые волосы на одну сторону, поворот ее головы был гордый и независимый. А смотрела она на Ольгу.

Уже кто-то в палатке резко дергал струны гитары, очень хотел, должно быть, чтобы его слышали все. Коржов самолично вытащил из лодки вьючный ящик со спиртом и отнес в палатку. Рабочий в малиновом платке вынул из ледника пяток дюжих малосольных сигов и драл с них шкуру, как чулки.

Семен куда-то пропал, и Ольге без него было неловко. Все на нее смотрели, она была здесь чужая и не у дела, и все это видели. Но Семен появился, и Генка посмотрел на него как-то по-особенному, чмокнул свои пальцы, сложенные щепоткой, и спросил, сколько ночей они шли. Семен хотел дать ему по шее, но не стал. Потом он думал, что надо было дать, но теперь было поздно, и он все больше жалел, что не сделал этого сразу, чтобы все знали и учитывали. А теперь всё: с короткой стороны длинного стола, ножками врытого в гальку, молча, словно сговорившись, оставили места рядом ему и Ольге. Коржов сдернул алюминиевую пробку, зажав бутылку коленями, налил женщинам, себе и соседям и передал дальше эту и непечатую бутылку. Стало тихо, подняли кружки. Кто-то сказал: «Горько». Сказал шепотом, но все услышали. Семен опять захотел дать Генке по шее, но теперь надо было вставать, а раскладные стулья стояли тесно и перепутались ножками.



— У вас свадьба? — спросила Ольга.

И неловкость спала.

Опять все смотрели на нее, но теперь по-домашнему, просто. Коржов сказал, что Семен с Ольгой пришли в самое время: продукты на исходе, спать в палатках без печек уже холодно, а без кошмы сыро.

Выпили по второй, и все опять смотрели на Ольгу, и казалось, что она действительно спасла всех от голода.

Генка вызывающе забренчал на гитаре, небрежно прилаживаясь, но комары мешали, и он все время сбивался, и песня про фонарики, которые качаются, шальные, сегодня у него не получалась, и он злился. Ольга смотрела на него во все глаза, и тогда Генка отдал гитару рабочему Василию Косточке в малиновом платке вокруг шеи, и тот забренчал фокстрот.

Коржов говорил, чтобы Ольга оставалась недели на две, а Ольга не знала, что ответить. Димка пригласил на танец Валю, она отказалась.

— Давайте петь, — сказала Валя, и Генка положил ладонь на струны и объявил:

— «Снег»...

Василий Косточка дал несколько ровных, сильных аккордов, и Валя запела:

Тихо по веткам шуршит снегопад,  
Сучья трещат на огне.  
В эти часы, когда все еще спят,  
Что вспоминается мне...

Она пела негромко и как будто лениво, но старалась. Припев подхватили все, и Ольга поняла, что «Снег» они любят и, наверное, поют для нее, и очень ревнуют, боятся, что она не поймет задушевно-сти песни.

Вспомни же, если взгрустнется,  
Наших стоянок огни.  
Вплывь и пешком — как придется  
Песня к тебе доберется  
Даже в нелетные дни...

— Слушай, а Семен настоящий мужчина? Да ты не бойся и не притворяйся, что спишь. Не собираюсь я отбивать его.

— Не знаю, какой он.

Раина палатка стоит поодаль от других, ближе к воде и кухне, — так хотела Рая. У нее все время чесались ноги, искусанные мошкой, а руки от горячей воды и холода растрескались и шелушились, она мазала их кремом перед сном.

Когда Коржов поселил Ольгу к ней, Рая протестовала, говорила, что неудобно жить в одной палатке и тесно стирать, когда дождь.

— Я же тебе помогать буду! — сказала Ольга.

Рая прыснула в кулак.

— Не надо, ради бога не надо!

На третью ночь в палатку кто-то тихо вполз, и Ольга испугалась, хотела окликнуть, но ее не тронули, а Рая тоже молчала, и Ольга отвернулась к стенке. Вскорости опять зашуршало, и неподалеку от палатки, в стороне, где жили мужчины, кто-то глухо выругался: «Куда лезешь по голове, чертяка! Шляются тут по ночам, спать не дают. . .» Рая тихо засмеялась.

— Слушай, а мужчины правда противные? Сколько у тебя их было?

Не хотелось Ольге говорить об этом. Хватит тех разговоров, что почти каждый день вели доярки да скотницы, и Ольга вела, но теперь не хотелось. Ей нравилось, как смотрят на нее ребята. Ей нравилось закалывать в волосы поздние незабудки. Ей нравилось здесь. Если бы Райка замолчала, было бы совсем хорошо.

— А это когда-нибудь надоест? Я думаю, надоест. Тогда пора выходить замуж, — сказала Рая. И зевнула. — Тут и от семерых скука смертная, а с одним всю жизнь прожить. . .

Она помолчала.

— А может, нет? Ты чего молчишь? Ведь выходят, когда это надоест. Так что это будет уже не так нужно. То есть нужно, но не главное. Тогда что главное? Рожай. Легко сказать — рожай. Это же страшно. И больно! Ты что молчишь?

— Спи.

— Неохота что-то. Давай поговорим.

— О чем?

— О них.

— Они же противные.

— Конечно. Слушай, а когда Семен к тебе придет?

— Не придет он.

— Как так? А кто придет? Коржик? Или, может, Генка? Ты знаешь, он такие стихи умеет читать, что ты! И сам сочиняет. А мой уже давно ничего не говорит. Днем еще зубоскалит, щиплет, а ночью приползет, как змей, раз-раз — и нет его. Фу, до чего противно.

Рая затихла. А Ольге почему-то вспомнился Олег.

Сегодня воскресенье. Сходил, наверное, на вторую серию «ЧП». Клавдия крутила бочку, радовалась, что Ольги нет. Крутила, наверное, с Олегом. Конечно, с ним. . .

Но не было у Ольги тревоги. Крутили — и пусть. Пусть.

Дед Экцессуарий весь вечер пел свою песню и ловил рыбу, и опять ему попались одни налимы и сороги, а большая рыба не клюнула. А и есть ли она, эта большая рыба? Может, и есть, да не в Иркинеевой.

Кино-Милиция сейчас вертит ленту наоборот, все хохочут. Он смеется со всеми.

— Слушай, а что можно велеть? Можно велеть — любить? Или только мыть посуду? Носить дрова?

Ольга поморщилась.

— Нет? А что же можно? Ты спишь? Ну спи. . .

«И ты молчи. Пусть будет тихо».

Рабочие просят:

— Оль, иди к нам. Мы тебе петь будем.

Она идет в палатку. Рабочие рассаживаются кругом. Посреди на спальном мешке светит «летучая мышь». На гитаре играет Василий Косточка, человек с неизменным малиновым платком на шее.

Пели про Ваньку Морозова, который циркачку полюбил, веселую песенку «Дернул черт меня податься в горный институт» (пел Генка, а рабочие только брали припев: «всегда готов мой че-мо-дан»), и в особенности Ольге нравилось, что геологи в этой песне ходят в маршруты «простиранью вкрест», а что такое простиранье пластов, она теперь знала, Юрий Палыч научил. Тюремных песен не любила, кроме той, в которой заключенный Андрей просит в письме жену сходить к соседу Егорке и взять пять рублей, которые тот должен ему по воле, и купить махорки и сухарей; но дело не в куреве и не в сухарях; дело в том, что Андрей просит жену не засиживаться у соседа допоздна, потому что сосед, конечно, обнять ее захочет. Любила она и «Миленький ты мой, возьми меня с собой». Блатных, с намеками и всякими там «ихо-хи» не любила, чем-то они напоминали похабные частушки, а Бедобу вспоминать не хотелось.

«Ну чего они все, взбесились, что ли?» — со злобой думал Семен, ворочаясь на своем топчане, слушая смех и песни в соседней палатке.

— Эй, усните вы!

Трещал по палатке дождь, булькал ручей, образовавшийся только что, шумно дышали ели наверху, постукивая шишками.

Он вспоминал, как была рядом Ольга; будь она сейчас рядом, спал бы мертвецки, поклявшись не трогать ее, обняв крепко. И чего

нашли они в Ольге такого особенного? Что им надо? Баба как баба, и ума не палата. Ан нет, липнут, как мухи на мед, и Коржов туда же.

— Ну и хрен с ней! — рассердился Семен теперь уже на себя, шумно поворачиваясь в мешке на другой бок. — Сдалась она мне, эка невидаль. Да у меня таких пруд пруди было!

Пруд-то прудом, а ходил бить шурфы понурый, на Коржова огрызался. Однажды Юрий Павлович взял его за плечо.

— Ты мне что-то не нравишься в последнее время.

Семен посмотрел на Коржова косо и, помедлив, сказал:

— Никак не возьму в толк, за каким лешим ей эти занятия с тобой?

Коржов хотел все обратить в шутку, но что-то его остановило.

— Если бы все были такими учениками! Через неделю она будет самостоятельно составлять разрезы, ясно?

Он сказал это серьезно, слишком серьезно.

— А зачем? Ну зачем ей это?

Коржов не знал. Вернее, просто не думал об этом.

— Сколько способных людей пропадает в захолустье только потому, что некому подсказать, что они способные!

Может, и преувеличивал Семен, может, все шло по-человечески нормально: вышел человек без прошлого из ковчега, живая баба, и, неожиданная и туманная, появилась на островке жизни, на котором — что к северу километров на триста, что к югу на сто — ни души, как в глубь земли (свой муравейник не в счет). А чего же им не любить безвредного человека? Одна женщина на десятерых, Райка не в счет — та им как сестра, да и вовсе Димкина, и кричит, кричит, а поговорить не поговорит — ломается да озирается, и Валентина не в счет, Коржов молча остерегает ее.

С востока на реку настигается сизая темень; медленно шевелящимися язычками пара лижет ее река.

Появляется Генка.

— Оль, пойдем?

Семен следит, как они отправляются к излучине. Ольга не глядит на него, гордо, словно подчеркивая независимость, мимо проходит. Зажигается костерок. Генка подбрасывает в огонь ягель, и сквозь белый дым, отпугивающий мошку, доносятся складные слова, смысл которых не всегда ясен Семену («Да и она чего там понимает!»), но они рождают тревогу, как четыре солнца вчера на закате или вон, бледный крест, перечеркнувший луну.

«Почему мне нравятся незнакомые девушки? — думал Генка. — Не потому ли, что подхожу к ним, как скульптор к каменной глыбе: какую вырубешь, такая и будет. А вырубил — и конец... Есть в знакомстве свое творческое начало».

Утром, пока все спят и мошка не лютует, сидел на облюбованном пенечке под елкой, писал свободно, но и осторожно, чтобы не нарушить, не дай бог, тишину (вдруг утечет, выплеснется, подвижная, зябкая), которая плавает, вернее переливается в нем по необычайной траектории. А вечером, подбросив ягеля побольше в костер, читал:

— Обернись очарованной, лукавой стань, деревом тонким замри.  
И листвой глянцевитой трепещи потихоньку и старательно.  
Лепечи непонятные, беззащитные слова свои.  
Вот где я, волшебник, применю свое чудодействие:  
я кору твою шелковистую поглажу рукой  
и крылами взмахну медленно и естественно.  
И не станет дерева. И звезда упадет в траву.  
И тогда, перекаtywая в ладонь из ладони,  
остужая дыханьем, отнесу эту звезду к воде,  
опущу в волну... И она, отряхнувшись от брызг и покачиваясь,  
тихой лодочкой поплывет.

И это уже не Ольга. Он написал о другой (теперь-то он видел, что о другой), которая не имеет к Ольге никакого отношения, как и ни к одной из живых девушек. Это неважно. Он смотрит на нее, как на натурщицу, и скорее отталкивается от нее, чем принимает. Однако же он благодарен ей. Его не интересует, что она думает и думает ли вообще, он даже не боится, что она проще, доступней, чем ему хотелось бы. И не спрашивает, понимает ли она, что он ей читает. Ему нужна та, что всегда стоит позади Ольги на некотором расстоянии, достаточно близком, чтобы чувствовать ее присутствие, но не слишком близком, чтобы разглядеть.

А может, все это только кажется Семену? Потому что беспокойство проходит, когда он слышит Генкин голос: «Спокойной ночи, Оля». Шуршит палатка на берегу, некоторое время доносится приглушенный голос и смех Раи, который всегда раздражает Семена, словно он догадывается, о чем она говорит и над чем смеется, но и этот голос стихает. Только вспыхнет крик птицы ночной (насторожится Семен), да время от времени вздохнет дерево в глубине тайги (и Семен вздохнет тоже).

Он-то все понимает, но вот как она? Ну, как возомнит, забредит, придумает себе своих Коржова, студента, привяжется к выдумке? Как же ей дальше будется? Вот уже в зрачках нет-нет — сквознет

испуг. Нет, не просто все. И Коржов не прост. И студент стишки шпарит не за здорово живешь.

И на что она мне сдалась? У меня таких было — пруд пруди. . .

Ольга помогает Димке мыть шлиховые пробы. Димка сопит, хлопает по рукам, искусанным мошкой, прохаживается возле, поглядывает так и этак.

— А я все чего-то жду и жду, — говорит она. — С чего бы это?

Качает, качает Ольга лоток, песок на дне мается, желтеет. Качнешь посильнее, смахнешь легкую взвесь через край, через другой, помешаешь, воду мутную сольешь, чистую зачерпнешь и опять качаешь, баюкаешь.

Отчего-то заволновался Димка, огляделся. Хочет он что-то сказать Ольге, но еще не знает, что именно. Может быть: поедем со мной! Куда? Хоть в Африку. А скорее всего ближе, куда-то южнее шестидесятой параллели. . .

— На моем сочинении и контрольной по математике мы поставим твою фамилию. Физику и немецкий сдашь сама, точно сдашь. Я помогу, я заниматься с тобой буду.

Дрогнула улыбка на Ольгиных губах.

— Зачем?

— Ты слушай, не перебивай. Так вот. В своем сочинении, на котором поставишь мою фамилию, опишешь, скажем, как Генка ловит рыбу на обманку. Вон он, дуется за ивовым кустом. А в контрольной пиши «а плюс бэ равно цэ, а в математике я ни бэлье». Ну как?

— И что же?

— Как что! Дальше ты будешь учиться, это такая скука — а плюс бэ, но не в этом дело. Ты будешь умной, защитишь диссертацию, станешь великим ученым. Коржов говорил, что ты способная. Мне он этого никогда не говорил.

Все медленнее качается лоток, словно усыпляют Ольгу Димкины слова.

— За что? — спрашивает она одними губами.

Генка за кустом улыбается криво.

«Не думай, Димка, все равно не придумаешь. На такие вопросы не отвечают. Наклонись-ка над курьей, погляди на себя. Твои ноздри шевелятся вовсе не оттого, что предчувствуешь в Ольге великого ученого. Все проще: ты чувствуешь запах ее волос — березовый запах!»

— И — прощай деревня! Но если ты так любишь свою Бедобу, отыщи здесь месторождение меди или золота. Тут они есть, я сам видел, только их мало. Ты найдешь много.

«Ишь ты, сегодня он снисходительный даже к какой-то паршивой Бедобе, которой и в глаза не видел!»

— Дурной ты, Димка! — говорит Ольга.

— Молчи!

«Молчи, глупая! Слышишь! Димка будет приходить к тебе в общезнание и читать наизусть всего Блока и. . .»

— И этого. . . француза. . . Элюара! и Аполлинера.

«Аполлинера — с ударением на «и». Хорошо хоть, что ты покраснел, но все же смотришь на меня победно, мол, ты, Генка, стой в своей шивере и лови своих хариусов на обманку! Эх, Димка, Димка, торговец именами великих. . .»

— И все, что тебе захочется, читать буду! — обещает Димка.

— Дурной ты, вот что. А я и улицу толком переходить не умею.

«Ну, попалась. Сдастся. А что, он такой! Пить коктейль, и слушать музыку, и свистеть через два пальца — научит. Это тоже городское искусство».

— Ты садишься в автобус, и все уступают тебе место. Потому что ты красивая. Ты жутко красивая. И не реви, ясно?

— Спасибо тебе, голубчик.

«Ага, все-таки понимает, что это все сказки. Держись, Ольга!»

— Выдумываешь, Димка! — а в голосе надежда.

— Нет. Нет. Нет.

— Все выдумываешь, — и смотрит с отчаянием.

Димка замотал головой.

— Нет. Нет. Нет. Нет. Нет.

Ольга лежит на гальке, глядя в зеленеющее солнце. И на Димку, в его темные глаза. Привстает поспешно. Поправляет юбку на коленях.

Он приближается.

— Ну, хватит. Разболтались мы тут с тобой, — говорит она, вставая.

А как хочется, чтобы так и было, как он говорил! Пусть не так складно говорил Димка, как Юрий Палыч, но тоже хорошо.

Она собрала пакетики со шлихом.

И в маршрутах она так не устала. Словно только что прошла через большой город из конца в конец и теперь возвращалась домой.

Коржов уходит в маршрут с Валей, геоморфолог и гидрогеолог, Генка и Димка — в паре с маршрутными рабочими. Остальные идут бить канавы, шурфы, делать расчистки.

Сегодня в первый раз Коржов доверил Ольге документацию шурфов. Ольга идет с Семеном. Семен радуется. Сегодня ему спокойно.

— Почему не уезжаешь? — спрашивает он.

— Не хочу.

— Ты что, не видишь ничего?

— А что мне видеть?

Но не выдержала она такого тона и сказала мягко:

— Не надо, Сема.

— А Коржов чего от тебя хочет? Поедешь с ним? Уломал?

— Ты хоть где проживешь, шатаешься зверюгой, и ничего тебе нет родного!

— Не ты говоришь. Не твои слова.

Он надевает каску и спускается в шурф. Выбрасывает головешки (шурфы проходятся с пожогом, потому — вечная мерзлота). Некоторое время он еще думает об Ольге. Он чувствует, что она — над ним, может быть заглядывает в шурф. Но не глядит он вверх. Кайлом потихоньку обколачивает выступы на стенках, мешающие поворачиваться в яме, и, тщательно изучив забой, расположение трещинок, не торопясь, несильными ударами начинает отбивать плитки песчаника. Он вспарывает забой на всю площадь.

Не силой берет Семен, но умением, а силу употребляет лишь на выбросе, да и здесь более нужна сноровка. Примерился. Глядит в отверстие шурфа. Пожалуй, уж за четыре метра пошло, — тяжелее, но расценка куда выше, решил он, поддевая лопатой грунт. Работать тесно, приходится одними руками, а спина прямая. Плавным движением повел лопату вверх, резко вскинул, на всякий случай втянул голову. Вернулись только мелкие комочки глины, звякнули по каске.

Для Семена и четыре метра — не предел, он и с шести выбрасывал. Другие не могут, крепко ругают его. «Ты что же, хошь все башли заработать сам?» Семен усмежается. «А чего ты лупишь в забой, словно там Змей-Горыныч сидит? Ты обстукай, слабое местечко отыщи, а уж потом и бей, как трещины направлены».

Колотит Семен, срубает ступеньки-плитки, расчистил твердый пласт до глинистого, а там — рак. Здоровенный.

— Эй, Ольга! Гляди, что нашел! — кричит Семен. Появилось сверху лицо Ольги.

— Чего там, Семен?

— Чудовище припечаталось, вроде рак! И глазищи целы. Вот бы такого к пивку, ребят от радости кондрашка хватил бы. На него и бочонка не хватит. Спускайся сюда!

Ольга встает на ступеньку лесенки.

— А ты не врешь, Семен? Эта порода пятьсот миллионов лет назад образовалась, мне Юрий Палыч говорил. Какие там раки!

— Да ты не бойся, лезь. Не кусаюсь ведь, и правду говорю.



В шурфе тесно, они еле умещаются вдвоем. Стоят вплотную, вполоборота.

— Темно тут. . .

— Постой, попривыкнешь, тогда и увидишь. Дай мешочек.

Семен тщательно обтирает поверхность забоя, скрючившись в три погибели. Встает.

— Уж давай доскажу. Ты слушай.

Она еще не свыклась с сумерками, он это знает, на свету не стал бы говорить.

— Что можно с тобой? Это самое? Так это — тьфу! А ты все можешь, вот ей-богу. Ты их не слушай. Обмануть тебя просто. . . Жалко, не могу сказать правильно. Вот так, Олюшко. . . что делать будешь?

Молчит Ольга. Минуту молчит. Другую. Глядит в небо. А все небо — в копеечку.

Жарко Семену.

— Ну, чего реवेशь? Ну, будет. . . Скажи лучше, что делать со зверюгой, а? Выбить, что ли? Расколется, однако. Да скажи хоть что! . .

В ту ночь пришел медведь, в самую глухую пору. Когда звезды режут глаза, заревел у реки и двинулся берегом к лагерю, напрямик, ломая сухостой плечами.

В лагере жгли костры. Тени были длинные и резкие. Медведь ходил в буреломе и жутко ревел. Кто-то видел его горящие глаза. Раз семь стреляли в воздух. Ближе к утру медведь перешел реку и до света ворочался на той стороне в прибрежных зарослях, стонал, звучно кашлял и зевал.

— Неспроста он, неспроста, — шептала Ольга. Рая обнимала ее за плечи.

— Не бойся. Здесь много мужчин.

— Уеду я, уеду. . .

Они уплыли утром.

Семен боялся, что все узнают, о чем он думает и почему делает все нарочно медленно, но наверняка, чтобы не надо было перевязывать или перегружать заново.

— Вода малая, — сказал Юрий Павлович. — Может, дать кого-нибудь из рабочих?

— Справимся, — ответил Семен спокойно, однако же подумав для весомости и оглядев укладку ящиков в лодке.

А когда загрузили судно и оно село до дна реки, Генка сказал:

— Ничего вы не справитесь. Еще толкач нужен.

Он смотрел на начальника, но коржовские глаза ничего не выражали, они только часто моргали и слезились после бессонной ночи. Коржов думал: «Господи, и этот туда же...» Он с волнением отметил, что с каждой минутой освобождается от странной привязанности к этой женщине, от привязанности вопреки всем здравым смыслам. Ему хотелось бы поторопить эти минуты.

— Ладно. С богом.

Коржов взял Ольгу за руку.

— Наш уговор — в силе, — сказал он тихо.

Семену Коржов тряс руку долго и принужденно, повторяя:

— Ну-ну, Семен Раздьяконов, смотри. Знаешь ведь, что везешь.

— Знаю, — буркнул Семен, подозрительно глядя на Юрия Павловича. Но Коржов счел нужным уточнить.

— Всю работу везешь. Погубишь образцы — всю работу сезона погубишь. Уяснил? Теперь вот что. Мы прилетим через два тире семь дней. Вертолет я уже запросил. Пора кончать...

Валя поцеловала Ольгу и посмотрела на Коржова как-то странно и понимающе, и подставила свою щеку. А Ольга словно забыла, что и она должна поцеловать, и, заметив оплошность, подалась к Вале и уже по-бабьи щедро расцеловала. А когда отошла от нее к Генке и Димке, почувствовала на губах привкус губной помады, и ей стало неприятно.

Димку она поцеловала в лоб, держа за затылок, а он потянулся к ней, закрыв глаза. Второй раз она коснулась губами его глаза. Он закрутил головой и сердито сказал:

— В глаза покойничков целуют.

И обнял ее, чмокнул в губы несколько раз. А Генка сказал:

— Ты что, не русский?

Приложился он спокойно и торжественно, не торопясь, в губы, то слева, то справа. И встал рядом с Димкой.

— Меня так поцеловать не допросишься, — прошептала Рая, мельком щекотнув Ольге ухо губами.

— Закурить есть чего? — попросил Генка. Димка протянул пачку «Звездочки».

— А ты не нервничай.

— А я и не думал нервничать.

— Тогда зачем куришь?

— Так, решил начать.

А Димка боялся, что Ольга вспомнит сейчас их разговор у реки, на шлиховании.

— А с чего это ты решил начать именно сейчас?

— Опять ты пристаешь ко мне!

— Дурак ты, — сказал Димка.

Шестеро рабочих в резиновых сапогах бережно сняли лодку с мели. Василий Косточка достал из кармана выстиранный малиновый платок и повязал Ольге на шею.

— От нас всех, — махнул он рукой в сторону рабочих.

Через минуту лодка скрылась в шивере за поворотом. Забурчал пузырями мотор, и его тревожный голос еще с полчаса доносился с излучины реки, то стихая, то во всю мощь, а то и вовсе пропадая. И когда он молчал долго, Генка бормотал:

— Ну, сели. Говорил же, надо еще одного толкача.

Мотор начинал работать снова, с каждым разом все тише и тише, а там и вовсе умолк. Но еще долго Генка слышал его работу, словно трепет крыльев стрекозы, запутавшейся в траве. Или ему только казалось, что слышит.

Семен хотел остановиться на ночлег у Верхней Тери, но Ольга сказала:

— Зачем?

Он вздохнул и больше не говорил об этом.

В поселок пришли с темнотой. Зачадили у колеса локомотива, рядом с другими лодками. Семен примкнул цепь к колесу.

— Теперь что же?

— Пойдем к нам, — сказала Ольга.

— К вам? А барахлишко не раскраснут?

— Нет.

Они поднялись по угору в поселок, и Семен несколько раз оглядывался на лодки.

Подмерзшие лужицы сочились грязной водой. По краю поселка медленно бегали собаки, как привидения. Иногда то одна, то другая из них садилась и выла.

Полуторка стояла во дворе. Ольга открыла ключом, достала из щели над дверью. Зажгла свет. Ей казалось, что она никуда не уходила из этого дома. Только говорить ей не хотелось больше ни о чем.

Скрипнула дверь. В сенях долго возился, не мог найти дверь кто-то. Сыскал и распахнул. И остался стоять, держась за притолоку.

— Вернулась?

До этого Семен сидел на лавке, молча наблюдая за Ольгой, теперь встал навстречу, и руки сами согнулись в локтях. Олег смурно поглядел на него.

— Жрать хочу. Собирай на стол, — сказал он. И говор его напоминал чем-то тоскливое взлаивание собак на берегу.

Ольга никуда не пошла, повернулась вполборота и смотрела напрягшись, отчужденно.

— А ты все такой же, Олешка, все такой же. . .

И не разобрал Семен, что было в ее голосе: давнишняя обида или все Ольге стало тут новым, хуже.

Олег сник, шатнулся, медленно прошел к столу, уселся на табурет; кулак с черной сеткой морщин лег на клеенку, а сверху на него опустился осторожно подбородок. И Семен понял, что Олег хочет притвориться пьяным больше, чем был на самом деле, а делает так потому, что он, Семен, здесь, это сдерживает его, а не будь Семена, так вполне мог и руки приложить, и матом; и жалко его было, но и ненавистно.

Спал Семен на двух составленных лавках. Откуда-то, словно с потолка, прыгнул на него кот, напугал, потерся об ухо мордой и улегся рядом. Не прогнал кота Семен, лежал и слушал медленные шаги, тяжелое дыхание Олега и мурлыканье кота, похожее на замирающий стрекот мотора.

А уже за полночь проснулся от разговора. Горел свет, отгороженный от Семена газетой. Олег сидел на койке, мял ладонь кулаком. Взгляд пустой, стылый. Было тихо.

Хотел Олег сказать: я любить тебя буду, Ольга; но не говорилось, потому — не по нем слова. Чего не жить им, как все люди живут? Чего ему надо? Вот Ольга, вот изба, тепло. Вот стол. Можно брякнуть кулаком по нему, потому что он здесь хозяин, а не этот бородатый чужак; его, Олега, здесь воздух, можно одолжить Семену подышать им, а можно и нет. Это его, Олега, отрада, и потому щемило в груди и покусывало глаза, как от дыма. А что, и стукну! Сердичность сменялась с радостью, ревность с отчаяньем, и вышло теплое равновесие в голове.

А Ольгу Семен заметил не сразу. Она стояла босая, в полотняной рубашке, прислонившись спиной к русской печи и вытянув руки вдоль тела. А смотрела она под потолок. И тихонько покачивала головой. И вспоминала, как привиделся ей в палатке Олег равнодушно, чужим. Но это было так давно! А этого Олежку, который встал, подошел к столу и снова сел на койку и мял ладонь кулаком, было ей жаль.

Семен понял, что она останется здесь. Всегда будет в этом доме, а что было за эти три недели — ей будет только сниться. Мало ли, что увидишь во сне!

А если нет?

Позавтракали молча вареной картошкой с огурцами, не успевшими еще просолиться как следует, и разошлись.

Снизу от реки поднимался дед. Через плечо его на грудь

перевалилась лобастая голова рыбы, а красный хвост хлопал по ногам. Дед был бледен, рот открыт, потухшая папироска раскисла от слюней и прилипла к нижней губе, треснувшей пополам, а в трещинке запеклась черная кровинка. Руки тряслись, он едва удерживал рыбу за жабры, подбрасывал плечом, приседая при этом на крюковатых ногах, а рыба норовила сползти то назад, то вперед.

Когда Семен поравнялся с ним, он остановился и хотел что-то сказать. Дрогнул окурок и упал с губы, и Семен увидел, что глаза у деда совсем испуганные. Дед повернул ладонь. Она была кровавой, с черными ровными порезами на ребре.

— Здорова она тебя, — сказал Семен, — леской, что ли?

Дед мотнул головой, глотая что-то, и не смог проглотить, и был похож теперь на поперхнувшегося петуха.

— Поймал все-таки ты свою рыбу, — сказал Семен, не чувствуя ни зависти, ни радости. Стало ему печально при виде этой рыбы, вовсе и не похожей на рыбу — до того была велика. Глаза молочные, студенистые, видно давно выловил ее дед и только теперь, к утру, собрался с силами нести домой.

Семен отвернулся и пошел к реке, шепча:

— Эх, речка, речка...

Он поправил брезент, проверил, не набралось ли воды в корме, посидел на борту, хотел закурить. Но пачка оказалась пустой. Он побрел в поселок.

Долго глядел на теленка, как он тянет слюнявую морду из изгороди и протяжно мычит.

У сельмага Семен присел на крыльцо. Магазин еще не открыли, а народ постепенно подходил. Среди бабьих никчемных разговоров Семен различил слова двух мужиков. Один из них сшил себе бродни, приспособил к ним калоши и щеголял, поднимая ногу — то одну, то другую. Был он стар и смешон в своем бахвальстве.

— А белки нынче полно, — говорил он второму мужчине, низкорослому, в шапке-ушанке из ондатры.

— Да пороху все нету. Не завозят все порох, — ответил второй. — Ты куда ныне?

— Однако, по Верхней Тере, а как же! Его видел.

— Да ну!

— А как же! И куница есть. Одному, однако, несподручно стало. Наладил зимовьев шесть штук на круг, километров по четырнадцать ходу на день. Жалудок чтой-то болит. Так и тянет, так и тянет кишки. То ничего, а то как зацепит. Так бы старым кругом обошелся, тот у меня километров по двадцать пять на день.

— Мед натошак пей с карбиновой кислотой, кислые щи не ешь,

селедкой не закусывай. А то еще лучше к Карасихе сходи, — посоветовал другой.

Купил Семен папирос, на всякий случай запомнил получше мужика с больным желудком, которому напарник нужен. А запомнить было легко: дед каждому похвалялся закалошенными броднями. Шел Семен по улице, не зная, куда деть себя. Колыхался из конца в конец поселка, а к сумеркам и собаки к нему дворовые привыкли, не облаивали больше, только нюхали следы и поднимали над ними ногу.

Сидя у речки на надпойменной террасе, где трава была короткая и густая, думал, отчего его гоняет по свету.

Провел как-то ночь с топографами, понравились ребята — остался. Побыл на берегу Ангары с плотогонами — у тех «матку» на Аладьинской шивере посадило на гриву и развернуло, ждали заднего буксировщика, — послушал их разговоры, и опять понравились парни, ушел с ними.

И думал Семен — плохо ли, хорошо ли, что бродит он, бродит, норы своей никак не найдет. Но мысль эта была бесполезная, от нее стало во рту как от высосанной калины.

«А может, пора? Пора и честь знать? Сколько можно?» — думал он и старался уверить себя, что думает об этом без всякой связи с Ольгой. Вспомнил сестру свою Таню. Работает швейей в Новосибирске. Мужа давно прогнала, пил. Может, чего еще надо ей, кроме денег? Съездить, что ли, проведать? Может, нового мужика нашла, вдруг попался непутевый какой, вроде Олега. Молода еще, по рукам не пошла бы.

Неслышно подбежал кобель черный, носом ткнул Семена в спину, напугал. Хотел Семен дать чертяке кулаком, да остановил кулак, разжал. И погладил сухую шерсть.

— Ишь худоба, ребра так и тарахтят. Молодой.

Кобель понятлив: в нос лизнул, вильнул плоским задком виновато и улегся рядом (мол, лежачего не бьют), сосредоточенно и разумно глядя, как елец мошкует в курье над шиверой.

А когда стемнело, забеспокоился Семен что-то. Пошел быстрым шагом в поселок.

Машина обогнала с бидонами и девками. Пели девки весело, каблуками пристукивали. В кабине правил Олег, понурясь над своей баранкой. Не остановился.

Догнал Семен машину у маслозавода. Изба-пятистенка с резными окнами, на уличной стороне прорубь в стене: туда девчата бидоны зашвыривали с колена. Слышит Семен:

— Иди сюда, Семен. Где это ты весь день пропадаешь? Небось и не обедал?

А баба с молочным лицом кричит с машины:

— Олька, отдай его мне, хочь на время, хочь насовсем! Иди. Семен, нынче пирог налаживать буду!

Улыбнулся Семен безвредной бабьей шутке, обогнул дом, хотел войти, да передумал. Сел на крыльцо. Сзади вышел кто-то, скрипнув дверью. Оглянулся — Олег. Курит. Окурок щелкнул в темноту. Слова не молвит, хоть и видит Семена. Хотелось встать Семену, отбуксовать мужика с крылечка и все сказать ему кулаками, что думает о нем.

Встал Семен. Пошел искать того деда в закалошенных броднях. Уж больно не хотелось попрощаться с Ольгой.

На другой день часов в пять вертолет пришел. Когда он, накрываясь, давал круг над поселком, прикинул Семен время и понял: партия! Поспешил через угор, напрямик по полю с кочерыжками подсолнуха, мимо склада горячего к площадке, куда сел вертолет.

Машину уже разгрузили. Коржов ушел Паршина искать, телегу просить — перебросить с берега те ящики, что Семен привез. Ольга появилась: видно, услышала мотор и тоже догадалась, что партия. В халатике синем, в платочке малиновом, что Косточка подарил. Генка с ней за руку поздоровался. Димка просто кивнул и все разглядывал, словно не узнавал. Валя смотрела весело, болтала без умолку и тоже с головы до ног оглядывала мельком.

Ушел вертолет во второй рейс, появился Коржов, красный, потный, платком шею вытирает, словно петлю поправляет. Ольге руку пожал, глаза отвел.

И понял Семен, что простились с ней уже там, на Иркинеевой, а сейчас — молча стесняются друг перед другом, дескать, вот, простились, а пароход-то ушел, придется все повторить.

— Пойдем к нам, Юрий Палыч. Все, может, и не разместимся, а человек шесть-семь можно, — просила Ольга.

Коржов вроде и обрадовался, но что-то его держало, это было видно, — он все смотрел в поселок поверх голов, словно еще кто-то должен был сейчас появиться на дороге.

— Спасибо, Ольга. Но, пожалуй, не стоит, — ответил он, взглянув быстро на рабочих, что стояли поодаль кучкой и тихо переговаривались, посматривая на него. — Народ голодный, до спиртного доберется — дров нарубит. А ведь нам завтра улетать.

Стоит Ольга столбиком придорожным в малиновом платочке, молчит. Стало жаль ее Семену.

— Спиртного-то в поселке нет, — сказал он. Стрельнул взглядом в него Коржов. Недовольный взгляд.

— Оля, прилетай к нам в гости, — говорит Валя весело. — Прием, как дочку. В обиде не останешься. В театры ходим, город посмотришь. . .

— Спасибо, — отвечает Ольга. — Спасибо вам.

— А уговор наш остается в силе, — грозит пальцем Юрий Павлович. — В силе уговор наш остается. . .

Он смотрит искоса на Валю, и она тихонько кивает и улыбается принужденно, чуть-чуть.

Коржов написал адрес в блокнот, вырвал листок и отдал Ольге.

— Чем могу — помогу, — и поглядел так, словно засомневался, впервые засомневался, что может кому-то помочь.

Взяла листок Ольга, свернула в трубочку, не знает, куда деть. В карман халата сунула, да передумала. Спрятала на груди. И снова смотрит на Коржова, словно он должен ей еще что-то сказать, самое важное.

Вечером у Ольги собрались Коржов, Валя, Генка, Рая. Позже пришел Семен. Обрадовался, что снова все вместе, и пил много, а не пьянел. Плясал под гармошку — на ней Олег немного играл. И с Раей плясал, и с Валею. Только с Ольгой не стал. И оттого, что было не очень шумно, а выпито в общем в меру, и люди свои, казалось ему, что собралась в избе одна семья.

— А что же Димки нет? — спросила Рая.

— Он под бережком сидит с барышней, — ответил Семен, подмигнув ей. Рая фыркнула и подурнела, и пришлось Семену ее утешить:

— Есть такая барышня: лет ей девяносто или сто. Спорят, на что лучше сомов ловить — на червя или на свист.

Рая все равно не поняла и обиделась. Никто не обратил на это внимания, только Олег, когда танцевал с ней под гитару, все упрасивал не печалиться и наклонялся все ниже, а потом уже не упрасивал, а требовал не печалиться, широко размахивая руками, говорил, что жизнь дается только один раз. . .

Он закурил среди танца, ломая спички и задевая папироской нарочно Семена. А Семену на него и глядеть не хотелось. Он думал, отчего бы не пригласить Ольгу, отчего она сидит — руки на столе, не зовет ее никто — ни Коржов, ни Генка, смотрит на Коржова не то грустно, не то с усмешкой или пусто. Или с ненавистью. Ясно стало Семену, что непонятливость эта теперь у нее надолго.

А Юрий Павлович разошелся, потел от пляса, смотрел на дверь, приговаривая:

— Боюсь за ребят. Боюсь! Ой, боюсь! — и всплескивал руками.



— Да нет же вина в магазине, — в который раз убеждал его Семен.

— Но мы-то достали! И они достанут! Это же такие проханжисты!

Несколько раз он выбегал на улицу и слушал. Был тихий холод, черное небо, звездопад. Лаяли собаки. Ночь была медленная. В конце поселка взвизгивал поросенок.

Было Коржову досадно, что ночь такая медленная. Каждый раз он возвращался в избу, словно в кинотеатр, в котором идет известный ему и притом неважный кинофильм.

И когда запели «Снег», он подтягивал, отставая от остальных, и всем становился слышен его неровный голос с хрипотцой:

Пусть тебе нынче приснится. . .

Под конец он устал, напился, говорил о талантливости русского народа, об условностях общества, о культуре и хвалил матриархат.

Вертолет пришел в четыре часа пополудни. Погрузились быстро. Первым рейсом улетела Валя, шестеро рабочих и все образцы.

На прощанье Коржов прослезился и был немного пьян, а где опохмелился — неизвестно. Он попросил у Олега, подвезшего на машине спальные мешки из дому, позволения поцеловать Ольгу, и когда Олег мрачно кивнул и отвернулся, Коржову стало стыдно, он поцеловал Ольгину руку, галантно изогнувшись, как совсем, совсем чужой. И похлопал Олега по плечу, хотел сказать, что баба попалась ему хоть куда (куда? — подумал он в следующее мгновенье), в общем на зависть (кому?). Но почему-то раздумал. Семену велел поторапливаться и скорее тащить с берега мотор, а лодку подарил Олегу, и все-таки сказал ему, что у него отличная жена, на что Олег ответил смущенным, бегающим взглядом, словно его уличили в дурном деле, и как-то по-особенному взглянул на Ольгу.

Коржов как будто забыл, что уже дал Ольге свой адрес вчера, и опять написал его на листке из блокнота, сказал, чтобы обязательно приезжали и писали.

Семен хмуро наблюдал за ним, потом решился. Отозвал в сторону и попросил рассчитать его здесь же. Коржов развел руками:

— Ну, знаешь, голубчик. . .

— Не по своей охоте остаюсь, Юрий Палыч.

Не мог он сейчас оставить Ольгу одну. Но и сказать об этом Коржову не мог.

Коржов поднял бровь, пожал плечами, отвернулся (может, дога-

дался?). Отругал Василия Косточку за то, что из сумы торчат связки лямок и мокнут в луже. Вдохнул и сел на вьючный ящик.

— Эх, Семен, Семен, кручусь как белка. Разве было бы все так, найдись у меня хоть день-другой лишний!

— Всегда одного дня не хватает, — охотно согласился Семен, чувствуя, что Коржов сдался. Он смотрел на Ольгу. Она стояла в малиновом платочке, придерживая его концы у горла, и отворачивалась от ветра.

— Может, и мне одного дня не хватило...

Коржов задумался.

— Знаешь что, — сказал он минуту спустя. — Возвращайся-ка в Мотыгино своим ходом, когда уладишь дела...

— Нет, не подходит мне это. Не знаю еще, куда подамся. Может, останусь здесь белковать. Разойдутся наши дорожки... да ты не дуйся, не парус небось. Не в том смысле разойдутся. Я ж ведь тоже понимаю.

Коржов вдруг согласился и с готовностью вытащил из полевой сумки ведомости. Семен пошел было за мотором, но Коржов окликнул его, словно боялся остаться один.

— Постой, не надо. Пусть у тебя будет пока. Вдруг надумашь плыть в Мотыгино, на чем пойдешь?

— А не надумаю?

— Оставь здесь, у Ольги. Весной мы вернемся кончать съемку. Чего зря возить груз?

Он поворошил наряды, что-то подсчитал в блокноте, поводит пальцем в таблице налогов.

— Холостяк, что ли? Жениться надо.

Прикинул глазами в небо, сбился, плюнул, снова пересчитал. Затем дал Семену расписаться и уже после, не считая, протянул запечатанную пачку трешек. Порылся в сумке, достал пачку рублевок и тоже отдал Семену.

— Это Ольгин заработок. Отдай ей.

— Да вот она, сам отдай.

— Ладно, не спорь.

А в это время на вертолетной площадке Димка разговаривал со старухой. На плече она держала пустую корзину, что-то говорила, а Димка недоверчиво качал головой.

— Покличешь, покличешь, — говорила старуха, — он к тебе и плывет, словно какая курица. Путь-путь-путь... Он, говорю, и бежит.

Димка замотал головой, засмеялся, а бабка бросила свою корзину на землю, топнула ногой и заворчала:

— Срамота-т какая! Все вы такие, нехристи!

— Да нет, что вы, бабушка. Я верил бы, да не верится. Не научно это. Ну как бы вам объяснить...

Старуха насупилась.

— Мне, касатик, объяснять ничего не надо. Ты своим объясни. А у меня уже и саван пошит, и место выбрано посуше, и переходящий флаг у меня под образами краснуется. Все я, вишь, сробила, что полагается трудящему человеку. Я, сынок, всем уже угодила, тебе вот никак угодить не могу.

Она долго глядела на край бугра, где шумели поредевшие желтые березы над погостом, улыбалась провалившимися губами и отошла наконец от печали.

— А вот такого поросенка, как дед Экцессуарий выволок, не поймала, — вздохнула и перекрестилась.

— Я проверю, бабушка, — сказал Димка серьезно. — У нас лабораторная база поставлена на все сто.

— Давай, давай, милоч, — бормотала старуха, — на все сто... Получится — бабку Карасиху помянешь. Помянешь! Как не помянуть. Дело знамое, помянешь. Я, касатик, услышу. Уж я-то ей-ей услышу.

Повисел над дощатой площадкой вертолет, мягко опустился, качнув хвостом. Покидали в него спальные мешки. Влез Кержов, за ним Димка юркнул, еще шестеро рабочих. Генка впрыгнул. Высунулась чья-то рука, нервно махнула и живо убралась внутрь. Дверца захлопнулась, и вертолет поднялся в воздух, развернулся, задрал хвост и, угрожающе пригнувшись носом к земле и зарывчав, прошелся над полем и взмыл.

Постояла. Поплакала. Немножко. Семен руку на плечо положил.

— Что, царевна? Одни мы остались?

Хотел сказать что-то бодрое, пошутить хотел, а вышло обидно. Печально взглянула Ольга.

— Один ты как был Семеном, так и остался Семеном.

— Чего ревешь?

— Не реву я, Семен, — осушила глаза платком.

— Ты живи как жила, — сказал и насторожился, понял и второй смысл сказанного. Затаил дыхание. Ну, что ответит? Да говори, говори ты!

— Семен, Семен, сколько умных слов слыхала, не наслушалась ли?

— Ладно, молчу. А все одно царица ты, вот что скажу.

Ольга покачала головой.

— Эх ты, Семен, все тебе мерещатся обман да царства. А я и не хотела никаких царств и городов. Ничего не хотела, Сема.

— Немножко хотела, — задумчиво сказал Семен.

— В чем грех мой? Что сказали хорошие слова, а я слушала? И на том спасибо. А больше ничего и не надо. Больше и не было ничего.

Семен почесал бровь.

— Кто ж вас разберет...

Подумал и решил про себя: «Велят нам уходить — и уходим. Велят сказать — и говорим. А молчать велят — и молчим. А любить велела бы — любил бы. И как любил бы!..»

— Скинь-ка руку, Сема, с плеча. Не обижай. Пойдем в завод. Молоко уже подвезли, наврное.

А в вертолете рвало в это время Димку страшно. Генка шептал что-то, лежа на спальном мешке в носовом отсеке машины, смотрел в полусферу нижнего окна на леса да на Иркинееву, как она бьется в своих болотах. Казалось Генке, что летит-улетает он по своей воле, забыв, что нельзя улетать, что не сделал чего-то важного в спешке. Смотрел и ненавидел себя. Неизъяснимая это была обида.

Ушел Семен с Ольгой с площадки, где еще бумажки шевелились от движения воздуха. На закат облака скучились, вот-вот весь закроют. Под закатом озимые чистые да ровные едко зеленятся.

На заводе Клавдия с Леной отсепарировали уже сливки, в бочку слили. Олег явился, взялся за ручку с одной стороны, Ольга — с другой. Начали вертеть. Олег смотрит на Ольгу, посмеивается чуть заметно. Устала Ольга быстрее прежнего. Встал на ее место Семен. Слышнее забухала бочка. Гнало Олега ритм набрать, несколько раз принимался рвать ручку, но Семен не взял его скорости. Час вертят. Уже не слышно шершавого шума, а бухать стало тверже. Дрожит бочка, когда падает со дна на дно шмат масла. Остановила Клавдия, затычку вынула, наклонила бочку, из дырки жижица белая вытекла. Ее потеряла Клавдия пробкой, сливки и свернулись.

— Долго что-то нынче не сбивается. Ни то ни се какое-то. Но теперь уже скоро, — и берется за ручку, отесняет Олега. «Пух-бум, пух-бум», — ударяет в бочке.

А под окном Кино-Милиция кричит:

— Ольга-а-а! В кино пошли! Чу-удеснейшая картинаа-а! Чайки в гавани умирают! Пойдешь?

Ольга улыбается.

- Пойдем? — спрашивает и обводит глазами всех.
- Пойдем, — отвечает Олег решительно. Клавдия останавливается, пот со лба утирает.
- Кто умирает?
- Никто не умирает, — отвечает Олег, — ерунда все это придуманная.
- Чайка, — говорит Семен.
- Какая чайка?
- Да чайка же, чайка! — говорит Олег рассерженно. — Будто не слышишь. . .
- Ааа, — тянет Клавдия. — Чайка! Так бы и говорил сразу.

В киноизбе сидел Семен на скамье рядом с Ольгой, слева. Картина была странная, непонятная, да и видел ее Семен наполовину: глядел на руки Ольги, сложенные на коленях. Под конец одну Олег взял — сидел он справа от нее. Не отняла Ольга руку. От выстрела вздрогнула. Упала чайка.

Домой Семен шел мрачный. Кашлял от холодного воздуха. На дощатом тротуаре втроем не уместались, и он шел пообок. Явился на ум дед в закалошенных броднях.

«Ни к чему это, — пробормотал Семен. — Все одно ни к чему».

Утром Олег уехал на машине, а Семен побрился Олеговой опасной бритвой, надушил порезанный подбородок одеколоном, переменял рубашу, намазал гуталином сапоги, тряпочкой блеск навел. А Ольга ничего не спрашивала — только ходила по комнатам и тихо оглядывалась на него.

Семен выбросил во двор бороду, завернутую в газету, надел ватник и пригладил перед зеркалом кудри, взял под мышку скатанную валиком рубашу, встал перед Ольгой по швам.

— Ну вот, все.

Ольга стояла перед ним неизменная с того дня, когда увидел он ее в первый раз в этой самой избе, на этом же месте. Но и сейчас он не мог привыкнуть к ней, а может, и никогда не сможет привыкнуть.

Пришла пора вернуться от бедного Семена, которого ему все эти дни было жалко, к прежнему Семену, которому себя жалко не было никогда, который посидит, посидит на берегу с плотогонами, поговорит и, если понравятся ребята, — уйдет с ними в Енисейск, а не понравятся — один прокоротает ночь, а потом отправится дальше, искать дело по душе и товарищей.

Пришла пора мириться со всеми: и с Коржовым — это было са-

мое трудное, и со студентами, которые вспоминались теперь не иначе как с усмешкой и грустью, и с работягами, грубыми шутниками, но незлыми. Дрогнули губы у Ольги, рука поднялась, с изгибом заправила за ухо волоски, что у глаза свернулись в кольцо, и Семен теперь с горечью знал тоже, что это ее привычка, неназойливая и грустная.

— Правильно все. Так и должно быть, — сказала она.

Он хотел бы отстранить ее руки, но не смог. Не слушала она его, обхватила голову руками, целует.

— Правильно, Семушка, уходи. Уходи, родимый, уходи. . .

Целует, прижимает голову до боли, льнет и отталкивает, и льнет снова. И отталкивает.

— Уходи. . .

Он шел по сонной еще улице, и опять собаки лениво лаяли на него, не узнавали чистого, и пахло от него едко цветочным нектаром. У магазина вчерашний дед уже стоял и задирает ноги, хвастаясь выдуманной обувью. Но Семен как будто и не видел его. Старуха, согнутая под тяжестью корзины с карасями, направлялась в ворота сельпо. А Кино-Милиция высоко стоял на верхней ступеньке крыльца, скрестив руки, и, упрямо наклонив голову, говорил с расстановкой:

— А я говорю, это шедевр. Шедевр.

Старуха скинула корзину на ступеньки, прислушалась и снизу потянула его за рукав.

— Чего же ты задом не прокрутил катушку? Порхнула бы птица твоя, то-то! Пускай ее летает!

За углом догнал Семена вчерашний молодой кобель. По-хозяйски руку лизнул, деловито довел до реки, оглянувшись, в лодку вскочил, обнюхал, хотел помочиться на мотор, но что-то вспомнил важное, застыл и виновато хвостом завилал, глядя на Семена.

— И чего с ними вчера не улетел я? Ну чего? — и зарыл Семен руку в густую гриву пса. — Где ж тебе понять, где уж тебе! Приголубь тебя — и все забудешь. Покажи калач — бегом побежишь следом. Вот так-то. . .

Он столкнул лодку и завел мотор. Развернувшись в курье, вошел в стрежень. Лодка стремглав понеслась вниз. Правый берег повернулся дугой, и крайние дома Бедобы наискосок поползли под горизонт.

Пес, до того лежавший на вьючной суме, вдруг вскочил и огляделся. Когда на горизонте осталась одна крыша дома, где жила бабка

Карасиха, пес метнулся, вскочил на высокий нос лодки и вытянул шею. Скрылась и труба, и пес завыл.

— Молчи! — Семен старался перекричать мотор. Пес завыл сильнее и выше. Семен рванул румпель вбок, выключил мотор. Днище шарахнуло по песку. Кобель едва не свалился в воду от толчка. Но лишь лодка коснулась берега, он лег на дно и положил голову на длинные, толстые передние лапы.

— Пошел вон, — сказал Семен хрипло.

Пес поднял голову и стукнул хвостом о борт.

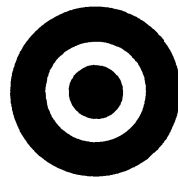
— Пошел! — закричал Семен снова. Пес заскулил, не поднимая головы. Семен снова завел мотор и оттолкнулся веслом от берега. И снова пес поднял голову. А у поворота, где начинался еловый лес, скрывший бедобинские поля, он снова завыл, закрутился, подбежал к Семену, заглянул в лицо.

«Ну ударь, ударь посильнее!» — просили его коричневые глаза. Он сунул Семену морду под мышку. Но так он видел свою деревню еще лучше.

Он вздрогнул, пролаял под мышкой громко, отчаянно. Высвободил голову и гавкнул сердито в лицо Семену, пробежал по лодке и с разбегу прыгнул в воду.

# Михаил Гурвич

---



\* \* \*

*И были глаза, словно дым от костра,  
белесы. И в них отражались березы.  
Березы дрожали и были белесы.  
И дым от костра разъедал мне глаза.*

*А девушка села напротив зари.  
Сказала: «На первое сварим рассольник.  
Сходи и ведро наполни росой  
и с кедровых шишек смолу собери...»*

*И девушка села напротив зари.  
Сказала: «На третье мы сделаем кофе.  
И здесь ничего мне не нужно, кроме  
сосновой коры и горячей золы...»*

*Я белую миску держал на весу,  
стараясь ее до предела наполнить.  
Стемнело. Кукушка в соседнем лесу  
на выдохе дня отчеканила полночь.*

*И вышел из леса огромный медведь,  
спокойно улегся, ручной, как собака.  
И рыба вошла незамеченной в сеть,  
легла на песок и беззвучно обмякла...*

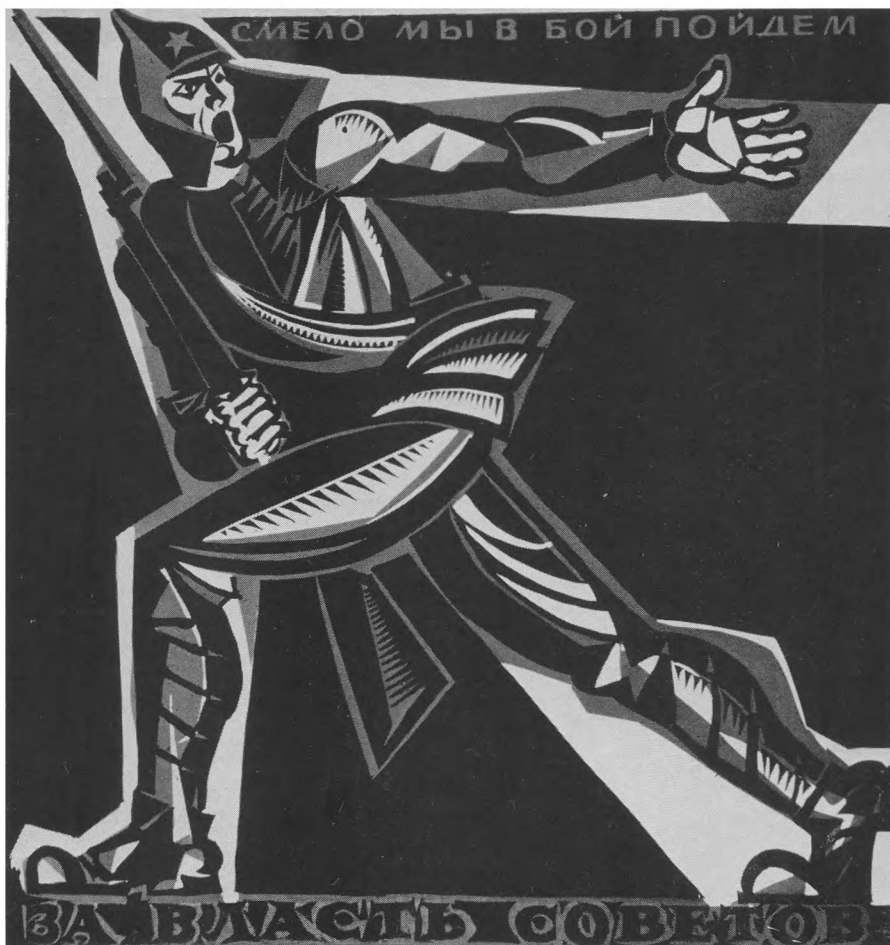
*«Теперь, — я сказал, — постели мне постель.  
И здесь ничего мне не нужно, кроме*



*трехлетней березы осыпанной кроны  
и божьей коровки на мятом листе. . .»*

*«Теперь, — я сказал, — я усну до зари.  
Ты легкую лодку к утру изготовь мне,  
дождевку на ветку повесь в изголовье,  
чтоб рано я встал и про все позабыл. . .»*

ЛЕНИНСКОМУ КОМСОМОЛУ 50 ЛЕТ



Линогравюры «Песни революции и гражданской войны».

*Дипломная работа  
выпускника Института живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина  
А. М. Гегманского, 1968 г.*

**МЫ КУЗНЕЦЫ И ДУХ НАШ МОЛОД**



1968

**И ПО ВСЕМУ ЗЕМНОМУ ШАРУ  
НАРОД ИЗМУЧЕННЫЙ ВСТАЕТ**



*Александр  
Шевелев*

---



*БЫК*

*Заря дрожала  
за оврагом.  
Пастух на выгоне  
басил.  
Бык в стадо шел  
тяжелым шагом,  
и цвет зари его бесил.  
Он шел по запаху  
на стадо,  
заря играла  
на губах.  
Он прошлогодний стог  
из сада  
на выгон вынес  
на рогах.  
И, став там  
с ревом на колени,  
трепал тот стог  
на голове.  
Коровы шурились  
от лени,  
принюхивались  
к траве.  
А он ревел,  
вращал белками.  
Густая падала  
слюна.*

*Потом он кочки рвал  
рогами,  
и прогибалася*

*спина.*

*От напряжения дрожали  
его чуть впалые*

*бока...*

*Передо мною оживали  
окаменевшие века.*

# ЗАВТРА РАБОТАЕМ В КРОН- ШТАДТЕ

НИНА  
ПЕТРОЛЛИ

РАССКАЗ

*Посвящаю памяти отца моего —  
артиста П. Д. Петролли*

Наверно, уже первый час ночи. Долго грузились в темноте... В сентябре ночи темные — черно вокруг. Не видно даже катера, который так беззвучно и деловито тянет наши баржи. Только мягко и ласково, с мерным всплеском толкаются черные волны в борт, да слышно далекое ровное, на одной ноте, гуденье «ястребка», сопровождающего нас.

Вот с каким почетом идем мы в Кронштадт!

Лаутин и Ромка — на второй барже. Ее тоже не видно. Тянется где-то сзади.

А к нам еще что-то погрузили, чем даже интересоваться не положено. Цирковой реквизит, костюмы, декорации и это что-то... Под одним брезентом. Занятно! Особенно занято будет, когда опять обстреливать начнут... Внизу-то — вода... черная. А они здорово тут все пристреляли. Чуть не каждый метр. Да ладно! Пока молчат.

Наши артисты придут к утру на катерах, часа в четыре-пять...

Лаутин опять орал на нас до хрипоты... Начальство — ничего не поделаешь. Да и то сказать — достается ему, конечно. Он и до войны работал в цирке униформистом, всю эту работу досконально знает, а тоже запаривается каждый раз изрядно. Это ведь не то, что заделал грабельками манеж, вынес реквизит, да и становись, руки за спину. Тут — сборка, разборка на каждое представление. Без конца

погрузки, разгрузки, перевозки. . . А мы с Ромкой рабочая сила не завидная. Хотя и старательная, этого от нас не отнимешь.

А как производственное совещание — Лаутин опять будет требовать «хоть какого-нибудь дефективного мужичонку вместо этих двух недоростков!». На что худрук наш — «Маете-ли» — солидно так скажет, непримиримо поджимая свои толстые губы: «Но, дорогой Андрей Филиппыч, эти недоростки, как вы изволили выразиться, как-никак, понимаете ли, выросли в цирке и прекрасно умеют собрать сложный реквизит, выбросить в нужном ритме мячи и булавы жонглерам, подстраховать в случае необходимости лонжей гимнастов и даже могут с грехом пополам — я согласен, маете-ли — с грехом пополам подыграть в репризе. И в этом смысле, маете-ли, нас никак не устроит какой-нибудь дефективный мужичонка, как вы изволили выразиться. А недефективного сейчас не найти. Они, маете-ли, все на фронте. . .»

И наше непосредственное начальство примолкнет. А Ромка прогудит как бы невзначай: «Нам не страшен серый волк. . .» — потому что хорошо знает, что на безрыбье и рак — рыба.

Зато как арлекин прибывать, так опять за Ромку. Будет он сидеть там наверху, раскачиваться по-обезьяньи на шатких, разъезжающихся досках и, свистя сквозь гвозди в зубах, говорить Лаутину:

— Ну, если я когда-нибудь сыграю отсюда, то уж изловчусь так, чтобы на вас угодить, все же мягче. Вот хохма-то будет!

А Лаутин, держа стояк, прикрикнет:

— Ладно, не разводи баланды — приколачивай знай! Тоже — чудо эквилибра!

Чудо не чудо, а небось сам не лезет. . .

Эх, ладно, не хочется сейчас обо всем этом думать! Это — завтра. А сейчас — ночь-то какая! До чего же хорошо быть вот так на вольной воле, ночью, одной!

Это так же, как тогда, еще в начале войны — прибежала в тревогу на свой пост на крыше, а Тамарка почему-то не пришла, больна была, что ли. Ночь была такая же теплая, ласковая. И небо распахнулось во всю ширь. Вечное, не зависящее ни от каких людских войн. И хоть шарили по нему прожекторы и слышен был летящий немец, даже виден был самолет, когда прожектор его нащупывал и вокруг него начинали выскакивать ватными клочками разрывы зениток, вдруг я поняла, что вот сейчас я счастлива! Ведь это счастье — видеть небо, город, ночь! . . . Просто дышать — и то счастье!

Сколько раз мы с Тамаркой были ночью здесь же и видели эти причудливые нагромождения крыш, труб над провалами улиц, пропитанных насквозь холодным, мертвенным лунным светом, болтали всякую чепуху и ничего этого не чувствовали. . . А сейчас смот-

ришь на все это и на пока еще невредимую крышу нашего дома и знаешь, что там, внизу, в нашей комнате — мама и папа, живые и здоровые, — и чувствуешь, какое это счастье! А я тут, наверху, и могу молча кричать небу, разговаривать с ним. . . Неизвестно, что будет через минуту, а в этот момент — хорошо! Несмотря ни на что!

А может быть, именно потому, что не знаешь, что будет через минуту, и стараешься вобрать в себя всю красоту, все счастье лета, ночи, Ленинграда, благополучия, хоть, может быть, и недолгого и очень относительного. Благополучия, которого и не замечаешь-то, пока оно нормально и прочно. И стараешься заставить себя запомнить, что такое счастье в этот момент есть! Оно было, оно — мое! И может быть, когда-нибудь еще сама позавидую ему. . .

Потому, может быть, и удается осознать его резко, до боли, что в любой миг можно всего этого лишиться. . .

И счастью этому ничто не может помешать. Даже самолет кажется таким крохотным! Просто злобной, вредной мошкой, до смешного бессильной испортить мою первую задухевшую беседу с ночью и небом. А может быть — просто с жизнью. Тем более привлекательной, чем меньше ее знаешь. . .

И подумать только, что раньше люди жили всю жизнь!

Сейчас тоже — хорошо! Хорошо, но, конечно, не так. Мои ребята далеко. (Надо же, привыкла так их называть. . . Они такие слабые стали. . . Они ведь старше — им еще трудней. . .) Папка — в Доме Красной Армии. Все артисты будут там до переправы в Кронштадт. А мамка — дома. Одна. Совсем одна во всей квартире. . .

Эвакуировались наши соседки. . . Тетя Женя — та даже умерла в дороге. От истощения у нее язык растрескался. Как это больно, наверно. . . И залечить не могли.

Какая она перед отъездом стала хорошая. . . До войны все ругалась чего-то. В войну стала тише, тише, а весной, перед отъездом, стала хорошая, ласковая, добрая. . . Почему люди перед смертью становятся такими хорошими, что даже страшно и больно? И становится заметно, что умрет человек, хоть и не хочешь этому верить? Может быть, они чувствуют, что умрут и что им уже не нужна эта повседневная суета, эти дразги. А если не умирать — это все нужно? Может быть, они уже что-то знают и начинают соображать, как противно ругаться и обижать друг друга? Неужели для этого надо начать умирать?

И с мужем своим, дядей Левой, она прощалась долго-долго. И плакала. А тетя Шура попрощалась со своим Виктором так, будто отправилась на угол, в булочную. А Виктор-то через несколько дней и умер. . . Дядя Лева перешел на казарменное.

Вот мамка и одна. . .



Сейчас-то нет ни бомбежки, ни обстрела — отсюда же все видно. Но налет будет. Непременно. Такая хорошая ночь не может пройти без тревоги.

А до чего же ночь хороша! И до чего же хорошо лежать вот так на тюке с декорациями, слушать волны и смотреть в небо — тихое, глубокое, вечное. . .

Смешной балкон в ДКА за сценой — выходит в узкую щель между домами, смотрит прямо в глухую стену. А по стене растекается сиреневая тень, как пятно жидких чернил на розовой промокашке, вытесняет неяркое вечернее солнце. . .

Я сижу на этом балконе, зашиваю прорези на наших многострадальных декорациях, а на пустой сцене играет Сережа, наш пианист. Разучивает «Сонет Петрарки» Листа. Просто так, для души. И на будущее, если оно будет.

Люблю рояль. Самый звук его. Вот у скрипки голос настолько нежен, настолько ласков, что кажется мне фальшивым, лживым. Слушать сладко, а верить не хочется. А у рояля голос чистый, честный. И сказать он может все. Не знаю инструмента прекраснее. Только если орган. . . Мощнее он, зато гнусав немного. Нет, рояль лучше всего. . .

Раскатывал Сережа пассажи, повторяя одно и то же по многу раз, чертыхаясь, когда не выходило. Потом опять прогонял все сначала, целиком. Потом опять пассажи, то медленно, преувеличенно четко, то в нормальном темпе, слитно, «одним дыханием». И до чего же мне было хорошо так сидеть тихонько и слушать. . . Еще говорят, что надоедает слушать, как репетируют пианисты. Неправда. . . Мне бы никогда не надоело! Просто я очень люблю рояль. . .

Сережа у нас в цирке на особом положении. Хоть немного и посмеиваются над ним, все же к нему относятся осторожно и заботливо, как к больному. Потому что он у нас — влюбленный. Его невеста — Настенька — тоже из консерватории, со старшего курса. Там они, наверно, и познакомились. . . Также обслуживает фронт — у них, вокалисток, своя бригада.

Уж кто только не рассказывает, и все под строжайшим секретом, что видели у Сережи блокнот, в котором начерчены клеточки. Каждая клеточка — это день до встречи с Настенькой. И каждый вечер Сережа в одной из них ставит крест. И клеточек этих становится все меньше.

А здорово, наверно, так ждать. . . И здорово, наверно, когда так ждут. . .

В Кронштадте опять, значит, будем в соборе работать. Это хорошо. Сцена там хорошая. Высота большая — акробатам и эквилибристам удобно, и для воздушных гимнастов есть куда аппаратуру под-

весить. Это не то что работать на «катушках» или выстраивать наш манеж со сборным из досок и холста форгангом где-нибудь под елочкой в лесу. Здесь даже гардеробные настоящие есть, с зеркалами.

Какой в прошлый раз в этих гардеробных шум был из-за Верных косичек. . . И красивая же эта Вера! Сначала мы этого и не заметили. Тощенькая, глазастенькая девчонка, как и все наши балеринки. Пока ее в ДКА художник Перевозчиков не нарисовал. Тогда присмотрелись — а и верно ведь — красавица! Есть картина такая — «Святая Инесса» — на коленях стоит, вся волосами своими закутанная. Вот точно — наша Верка. Только наша-то совсем не такая благолепная, а все хи-хи да ха-ха. Или наоборот — ревет. И говорит, что это она просто от бомбежек такая нервная.

А волосы у нее хоть и не такие длинные, как у Инессы, а тоже красивые были — мягкие, пушистые, каштановые, точь-в-точь того же цвета, что и глаза. Как распустит их — налюбоваться нельзя. Девчонки-балетишки пристают к ней:

— Вер, сделай томный вид!

Вера послушно его делает — глаза потупит, шею длинную выгнет и дает смотреть на себя, пока смешно ей не станет и не фыркнет.

А девчонки смотрят, вздыхают.

Инна Чижова — самая старшая, покрашенная густо, но напрасно — угрожающе говорит:

— А вот годика через два, да если подкормится — то ли еще будет!

Бедняга Инка! Ей никакая краска не помогает. Даже когда они с Верой лошадь танцуют — нашу цирковую, полотняную, в нарисованных яблоках, со смешной картонной головой — она передние ноги, а Вера задние, — и то задние копытца кажутся куда милей. . .

Валя Рамайкина, самая тихая из девочек, смотрит на Веру благоговейно, приоткрыв рот. И кажется мне, что сама-то она тоже очень красивая, по-своему, может, и не хуже Веры, да сказать об этом нельзя, засмеют девчонки — уж очень она тихая и незаметная, да и художник ее не рисовал.

А тогда после спектакля наш «Маете-ли» возьми и скажи:

— Я считаю, понимаете ли, что Вере Руденко надо постричься и сделать завивку. С косичками танцевать можно в каком-нибудь ансамбле песни и пляски, маете-ли. А у нас — Ленинградский Фронтвой Цирк — пора быть серьезнее. . .

И вот сидела Вера, распустив волосы, перед зеркалом и заливалась горячими слезами. А вокруг все кричали, спорили, кипятились. Кто — за косички, кто — за стрижку. Наконец пришлось проголосовать. И хоть подговорила я папку, чтоб за косички голосовал, все равно большинство оказалось за стрижку.

И тут же, чтоб не было больше смуты, Василий Иванович, воздушный гимнаст, который рамку работает, человек смелый и решительный, кое-как обкромсал Верины волосы. И вдруг Вера успокоилась, утерлась ладошками и стала свои обкарнаши по-разному на голове укладывать да в зеркало рожи корчить. А я-то переживала! . .

А какой резонанс в соборе! Если все будет благополучно, надо опять пойти пораньше, когда никого там еще не будет, — костюмы гладить. Ох же, там и поорать можно! Что-нибудь такое, по стилю подходящее — хотя бы Фибиха «Мадонну». Как начнешь на авансцене в полный голос — звук так и летит к самому куполу, наполняя весь собор. Лучше, чем в парадной. Даже и голоса-то своего не узнаешь, будто и действительно петь умеешь. . . Вот бы мне бас — как у Рейзена! И до чего же обидно, что у меня не то что никогда его не будет, а даже и быть-то не могло. . . А как бы я спела: «О поле, по-ле! Кто тебя усеял мер-ртвыми костями. . .»

Когда-то там Иоанн Кронштадтский заправлял, сколько бабушка всяких небылиц о нем рассказывала! Тоже всякие репризы делал. . . Например, бесов изгонял из прихожан. А что — с таким резонансом если на нервного больного хорошенько рявкнуть, так, может, и действительно в себя придет. . . Еще он для убедительности ложкой от причастия в лоб бил. Тоже неплохо придумано. Чего бы врачам его метод не использовать?

Черт знает, какая чушь в голову лезет! Уж мне-то, кажется, все условия созданы, чтоб могла повзрослеть ускоренными темпами, окончательно и бесповоротно. А вот не то что в соборе «Мадонну» орать, а иногда до чего же хочется поиграть на улице с ребятами в мяч! В лапту или в любимые мои «прожигалы»! Недоиграно, что ли. . .

А папка в моем возрасте уже много городов с цирком объехал. Папка. . . Детство в подвале у Литейного моста. В оконце под потолком видны только ноги, ноги, ноги. . . Слышен цокот копыт. Да вечером — тени от прохожих идут по стене в другую сторону, переламываясь у потолка. Зато подоконник широкий — если на стол поставить стул, можно забраться на этот подоконник, сесть там и рисовать. . . И братья не мешают, и светло. . .

А потом всех мальчишек, кроме самого младшего, рассовали воспитанниками по музыкантским командам, — дед любил музыку и гарно спивал свои украинские песни. За те песни и бабка пошла за него. И терпела все, и любила, хоть и был грех — поколачивал ее певучий дед. . . За то, в общем-то, что — полька.

Старший из братьев никак не мог привыкнуть к команде. Музыку невзлюбил, на кларнете играть не захотел. Убежал — вернули, выпороли — играй. Нарочно выбил себе передние зубы — вставили фальшивые, выпороли — играй.

А папка музыку любил. Десяти лет не было — тайком аранжировал для оркестра какой-то модный танец, ноты которого никак не могли достать. Расписал голоса на все инструменты. Перед сыгровкой разложил ноты на пропитры, а сам ждал, что будет, отчаянно краснея. Потом — общее изумление и восхищение. С тех пор играли ребята этот танец по вечерам на танцульках «для господ офицеров», а папка капельмейстер в поощрение подарил акварельные краски и альбом. Когда же через несколько дней отличившийся музыкант зарисовался так, что не слышал отбоя и не лег вовремя спать, выволокли его из укромного уголка и высыпали ему хорошенько. . . Дисциплины ради.

Через несколько лет — война. Та, первая. Воспитанников из музыкантской команды — на все четыре стороны. Папкина сторона — Замятин переулоч, Черноморское строительное общество.

Посыльному полагался пятак на конку, но ноги молодые — чего проще — рысьею через весь город. А пятаки — на синемаатограф, на цирк. На Вознесенском чуть не на каждом углу — киношка. В киношке — перед картиной — дивертисмент. Почти всегда — куплетисты. В цирке — клоуны, музыка, яркие краски, веселье.

В конторе его, как на зло, вскоре произвели в ученики-чертежники, а там и чертежником на строительство послали, на юг. И жалованье хорошее, и будущее ясное. Простое и ясное, до полнейшей тоски. Вот и не утерпел — сбежал в цирк. Еще бы, столько удач сразу — и коверным начал работать, и куплетистом, и на велосипеде репетировать! Правда, хозяин цирка, пользуясь энтузиазмом молодого артиста да смутным временем, денег не платил. Но кто станет обращать внимание на такие мелочи, когда исполняется заветная мечта! Хоть голодный, хоть подметки у опорок веревочками перевязаны, зато с полным правом на первые же случившиеся деньги смог заказать целую стопку визитных карточек со своей фамилией и с заветными словами «комик-эксцентрик». Визитных карточек давать было некому, зато энтузиазм от них рос и креп.

Мамка тоже из Петрограда в ту войну своим странным и запутанным путем на юг попала. Там мои ребята и встретились. И дальше уже колесили вместе. Когда рассказывают о чем-нибудь, всегда путаются, вспоминая — «где же это было — в Майкопе, Новороссийске или Армавире? Да нет же — это в Мариуполе. . .»

Как я до войны завидовала им, когда они рассказывали об изрешеченных картечью стенах цирка и об уцелевшей чудом мамкиной гитаре, о том, как от беляков лошадей прятали. . .

Голодали тоже здорово. А у моих ребят тогда уже сын был — мой старший братишка, который умер потом, в совсем мирное время, просто от скарлатины.

А потом уже на моей памяти — цирки, поезда, цирки. . .

Звучный цокот копыт извозчичьей лошади по булыжнику, еще не проснувшиеся улицы чужого города. . . Но вот на заборе или на тумбе — такая знакомая афиша с папкиным портретом, с нашей фамилией. Значит — все в порядке, город не чужой. . . Их и не было тогда — чужих городов, — были только незнакомые.

И совсем уже дома, когда в цирке.

Днем, на репетиции, особенно хорошо: на манеже кто-то репетирует; оркестранты, скинув пиджаки, что-то разучивают; в первом ряду группкой сидят не занятые в репетиции артистки и жены артистов, судачат. Наверно, только в цирке можно было услышать разговор сразу на пяти-шести языках. Причем все слова вперемешку, разом. И все, хоть и не без курьезов, понимали друг друга. А ухо так привыкло к этому многоязычию, что, наверно, на всю жизнь останутся понятными многие незнакомые слова. . .

А я хожу по местам. Эти длинные выгнутые ряды пустых кресел, похожие своим стройным однообразием на клавиатуру рояля, очень нравятся мне, напоминают что-то. . . Будто мне о них рассказывали очень интересную и трогательную сказку, а я ее забыла. Вот и хожу между рядами долго-долго, бормочу что-то и никак не могу ее вспомнить. И столбы, и стропила — серые, в глубоких морщинах трещин — тоже участвовали в этой истории. . . И этот запах, лучший в мире цирковой запах.

А на конюшне — Паша, мой любимый черноокий Паша. У него мудрый, все понимающий взгляд и усы как у большой кошки. Он меня тоже любит — только подхожу к его бассейну, он выныривает из мутноватой, с прозеленью, воды, блестя гибким черным телом, и приветливо хлопает лапами. Он — лев. Только морской.

Белая кошка лениво дремлет в своей клетке. Иногда она приоткрывает глаза — они голубые, совсем женские. Из-под кошки торчат розовые тоненькие хвостики. Значит, мышата замерзли — полезли греться. Иногда какой-нибудь перегревшийся, очумевший от кошачьего жара мышонок поспешно выкарабкивается из-под шелковистых прядей, забирается кошке на спину и там досыпает. . .

У мышат и свой дом есть. В три этажа.

— Эти уже поправились, держи, их можно в общежитие, — говорит дедушка Дуров, давая мне целую пригоршню теплых, белых, деловито попискивающих мышей, — а вот у этих будут мышатки, их мы переведем в родильный дом, во второй этаж. Эти уже стали совсем большие — их тоже в общежитие. Э-э, а вот эта что-то невеселая, дай-ка мы ее — в госпиталь. . .

А змея казалась мокрой, пока мне не объяснили, что она просто холодная. И очень умная.

Еще была чахоточная обезьянка Мунька, которую заставляли жить по-человечески, но это уже совсем грустная история...

А где это волк убежал из цирка? Еще неотдрессированный? В Одессе или в Севастополе? Лестница была... Длинная-длинная... Нет, в Севастополе.

Вырвалась я от мамки с папкой, забежала далеко вперед, поднялась по лестнице на Приморском бульваре, села на верхнюю ступеньку и жду своих, дразнюсь. А тут, наверху, бедотня какая-то: униформисты и конюхи с цепями гоняются за кем-то; публика, визжа, скатывается по лестнице вниз, к морю. Вдруг подбежала ко мне большая серая собака, нюхнула, заглянула в глаза желтыми измученными глазами, лизнула в нос и побежала, шарахаясь, дальше. Оказалось — волк убежал из цирка. А признал все-таки...

Да, вот уж чего не хватает в нашем цирке, так это животных. Ну, уж хоть бы не зверей, не лошадей, конечно, а просто собачат каких-нибудь немудряченьких... Николай Степанович с женой их быстро бы выдрессировал... Жонгляж жонгляжем, а по собакам они оба очень скучают. Да кормить их нечем, говорят. Так дали бы паек — маленьким не много нужно. Отработали бы. Только, пожалуй, переездов наших никакая собака не выдержит...

И еще в Севастополе, или, кажется, это в Киеве, — было много-много солнца и белый дом. Улица шла под гору, а дом рос не вверх, а вниз. Вначале — один верхний этаж, потом под ним вырастал нижний, а потом подвал. У верхнего этажа был выступ во всю длину дома. Сначала он был на уровне тротуара, потом тротуар уходил вниз, а по выступу можно было добежать до конца дома и оттуда — «алле-ап!» — прыгнуть прямо в крепкие, самые надежные на свете отцовы руки...

А когда подошло время в школу идти — осели в Ленинграде...

Что это? Дальнобойное?

Нет, долго ничего нет... Может быть, это еще не обстрел. Может быть — так просто, случайно пальнули...

...Сколько себя помню — папка всегда делал новый номер. Утром, еще сквозь сон — звонкое ксилофонное тремоло, теплые, окутывающие звуки виолыфона, папкиного изобретения.

А потом — моноджаз. Все джазовые инструменты — и один папка. Да если бы только играть, а то еще надо смастерить все эти подставки, крепления, педали, чтоб можно было быстро и уверенно менять инструменты, играть сразу на двух. Да еще чтоб на ударных все

время себе аккомпанировать... Этого никому не закажешь, никто, кроме циркача, не сделает этого...

И репетиции... Целыми днями. И сотни планов у папки... Хоть уже и сдан номер, прошел на просмотре, как говорится, «на ура», все равно — еще доделать, доработать, другой способ подачи, возможно — другой образ...

А тут взяло да и стукнуло нас свое, семейное несчастье. Мамкина болезнь и долгая, трудная операция. Такая болезнь, что и думать страшно...

После операции — мамка совсем маленькая и замученная. Всегда-то была глазастая, а тут на лице — одни испуганные глаза, обведенные коричневыми кругами. Из-за того, что она такая маленькая и беспомощная, хотелось обращаться с ней как с девчонкой, да еще — младшей. Иногда она ворчала и пыталась быть грозной, но это ей так не шло...

Папка — хоть еще больше мастерил и репетировал, когда бывал не в поездке, а дома, — стал каким-то суетливым и чересчур заботливым. Так что даже хотелось его как-нибудь отучить от этой хлопотливости и чрезмерной деликатности. Закалить, что ли. Грубым-то легче живется. Был бы папка погрубей — не испортил бы сердца... А то ведь сердце-то — совсем никуда...

Эх, ребята мои, ребята...

...И вот — война. «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой...»

Прежде всего тогда схватилась вести дневник, «чтобы потом, в мирное время, вновь и вновь переживать эти яркие дни!». Ох же и яркие! Ох же и переживать!

А вот насчет переживаний. Интересно, чувствует человек *последний раз* — или нет? Вот, например, в обеденный перерыв побежали люди в столовую, в подвальчик на Невском. И попал туда снаряд. Конечно, все — в кашу. Чувствовали эти люди, что в последний раз бегут в столовку, видят Невский, воздухом дышат? Что все это — *в последний раз*?

Вот тогда, во вторую блокадную зиму, шли мы с мамкой с работы. Хотели на Невском в трамвай сесть. Народу много. Мы с мамкой поцапались-поцапались за поручни, чувствуем — висеть на подножке силы не хватит, а в вагон не протолкнуться, ну и отступились... Еще нас женщина обругала:

— Вот дистрофики паршивые — сами не влезли и другим не дали!..

А сама — лицом черная, череп кожей тонко обтянут, глаза из орбит вылезают, голодным огнем светятся. Где уж ей было бы висеть или пробиться! А вот ведь думает человек, что он еще — ничего, он

еще — может. . . Ушел трамвай без нас, да прямо под снаряд. Вот тут и думай — что человек чувствует! А ведь переругались даже, до чего лезли в него. . .

Да, но для нас-то это ведь не был *последний раз*. Может, потому только и не почувствовали ничего. . . Вот и не проверишь этого заранее. А если когда и узнаешь наверняка, то никому сказать, пожалуй, не успеешь. . .

Вообще-то самая лучшая смерть, конечно, от голода. Голодать трудно, но тут злость помогает — «этим нас взять захотел, а нам плевать на жратву!» Уж где там — плевать! Только о еде и думаешь, до сумасшествия, до бешенства. А просто унижаться не хочется.

Зато умирать — легко. Заснешь тихо — и все. Спокойно и чисто — почти ничего от тебя не остается. А вот когда тебя на клочки разорвет — пртивно как-то. К тому же самое противное чувствовать, что с тобой могут сделать все, что угодно, а ты сам — ничем ответить не можешь. Лупят по тебе всеми достижениями современной военной техники, да и все. . . Третий год.

А от голода человек в конце становится бесчувственным.

Как Валька горела. . . Мерзла, мерзла, да и додумалась сестра на печурку, погреться. Соседи хватились, когда уж у нее все одежды прогорели и сама горит вовсю. Отвезли в госпиталь — там выходили, подкормили. А Валька говорит, что тогда она и не почувствовала ничего. Смеялась, когда девочкам рассказывала. Тогда все и решили, что от голода хорошо умирать. И Галя — тоже. Галя, которая любила экзамены сдавать и никогда не смеялась над смешными книжками. Дадим ей нарочно самую-самую смешную и смотрим все ей в глаза. Даже фыркаем нарочно. Тут и не читая засмеешься. А она спокойно прочтет, протянет нам ее и скажет:

— Очень хорошая книжка, смешная.

— Так чего ж ты не смеялась?

— А я смеялась, только про себя. . .

Очень мы этому удивлялись. И тому, что она любит экзамены сдавать. Для нас всех, с четвертого класса начиная, так лучше бы и весны вовсе не было! А она — экзамены любит!

Не догадаться было, что просто она здорово все знала. Что раз услышит или прочтет — запоминает сразу на сто лет вперед. Мы этому сильно удивлялись. И решили, это оттого, что у нее такой лбище — большой и выпуклый. Вместительный. Не как у всех.

А к весне узнали мы, что ее братья — Колька-Кулик и Борька-Рыжий — один за другим умерли. Встретили как-то в очереди тетю Саню, ее мать. Она была хоть и крепкая еще, но страшная, вроде как не в себе.

— Отвезли, — спрашиваем, — тетя Сань, Борю с Колькой?



— Нет, — говорит, — не везу еще, Галю дожидаюсь — чтоб уж вместе. Холодно, ничего с ними не сделается.

И дождалась. . .

А многие не сразу отвозили, чтоб карточки использовать. Мертвые поддерживали живых. . .

У меня насчет голода твердая система: думать, что сто двадцать пять граммов — это очень большой кусок, и если проглотила кусочек — то, значит, сыта. Так сыта, что больше, пожалуй, и не съесть. Это очень помогает. А второе — если уж это все равно не еда, а просто лекарство от распрекрасной голодной смерти, — надо все делить на три раза в день и называть эти дозы красивыми, довоенными словами: завтрак, обед, ужин.

И пришлось мне это дело взять в свои руки. Потому что папка сначала все не верил, что это настоящий голод. Ведь и по радио говорили вначале, и в газетах писали, что у нас запасы на десятилетия. . . А когда все эти запасы на десятки лет сгорели в один пожар на Бадаевских складах, еды стало все меньше и меньше. Пока папка с бригадой на фронте, мы с мамкой копим понемножку хлеб. Приедет с фронта — мы его угощаем. А он нас угощает по своей привычке. У него всегда была прямо страсть угощать:

— Ну, что ж вы мало едите? Дочка, ешь с горчичкой — вкусно!

А дочке и без горчички вкусно, да только она уже взялась презирать всю еду, хлеб включительно.

А потом, когда стало совсем плохо, папка стал забирать хлеб вперед. За завтра, за послезавтра. А где удастся продавщицу уговорить — и за три дня вперед.

И радуется, как дитё. И опять нас угощает.

Ну, конечно — мужчина! Все они вперед забирали. Никакой выдержки.

А чему радоваться? И что делать в конце месяца? Надеяться-то ведь не на что. А мамка стала потихоньку свои куски нам подсовывать.

Вот тут-то мне и пришлось стать старшей и за своих ребят взяться. Чтоб хлеб — день в день. Чтоб неукоснительно делить его на три раза. Ну и конечно — блокадные изобретения: студень из столярного клея, лепешки и суп из птичьего корма.

Пичуга Чивушка, как нарочно, перед самой войной умерла, оставила нам своего корма с килограмм, а может, и больше. . .

А потом — зима. К холодам у нас уже в четвертый раз фанеру из окон вышибло. После бомбежек подбирали остатки ее на улице и заколачивали окна снова, кое-как. Потому что знали — ненадолго. . .

Но самое страшное — видеть, как в родные лица вкрадывается что-то чужое, зловещее, чему невозможно помешать. У мамки десны опухли так, что выступили из-под щек буграми. Даже при свете коптилки видно, что кожа — серовато-желтая, как неживая. . . У папки глаза стали большими, темными, со стеклянным блеском. И смотрит он ими как-то диковато, незнакомо. Если бывала каша, папа долго, очень долго выскабливал кастрюльку. До сих пор в ушах стоит этот ужасный скрип ложки по пустому дну.

А раз мамка сползла с кровати, побрела к шкафу и стала рыться, искать что-то за книгами.

— Ты чего?

— Да я сейчас только вспомнила, что тут стоит кулек с крупой. Ну как же так? Ничего нет. . . Я же точно вспомнила. . . Неужели же это просто померещилось! . . — И заплакала. Впервые за войну.

Померещилось. . .

На кровать она сама лечь не могла — сядет, а я ей ноги подниму, положу.

А папке надо ходить с реквизитом через весь город на концерты. Пешком. Тогда еще цирка этого не было. Работали просто бригадами. Вот папка и сделал себе саночки, очень удобные, складные. Здорово сделал, по-цирковому. На них и возил чемоданы. Муфту ему мамка сшила — большую, черную, суконную, — чтобы руки не мерзли. Ведь придет на концерт — играть надо.

А потом все чаще и чаще стали его самого привозить на этих саночках. Артисты, которые были покрепче. . .

Потом папка совсем слег. На концерты ходить не мог. А фокусник Илюша, что жил недалеко от нас, приносил в котелке несколько ложек жидкой каши каждый раз, когда в госпитале или в воинской части после концерта кормили артистов. Говорили, что есть в бригаде еще один артист, лежащий, — там и давали. А Илюша приносил. Так же, как носил в последнее время папка, когда сам ходил на концерты, — суп-баланду съест, а кашу — хоть две ложки — принесет домой, на всех.

В это-то время и появились у нас Леша с Татьяной. Тоже цирковые, давние папины знакомые. И сейчас они тут, в нашем цирке работают. Пришли, взглянули на нас, посочувствовали, повозмущались:

— Ну, до каких пор может так быть? В конце концов это же невыносимо. Каждый вечер ложимся спать полуголодными!

А мы смотрели на них и удивлялись — как они умудряются быть *полуголодными*?

Потом оказалось, что они пришли к нам с предложением.

Какое у нас концертно было! Баритон. Редчайший инструмент. Такого второго во всем Союзе поискать. Звук низкий, полный,

мягкий, за душу хватающий. Потому что хороший инструмент всегда и свою душу имеет. Он ведь — живой совсем. Папка мне его подарил. За год-полтора до войны. Чтоб репетировала, к делу приучалась. Как-то быстро мы с ним поладили, особенно «Элегия» Массне на нем красиво получалась. Ну уж и полюбила я его. . . В первую блокадную зиму в ноги его к себе на кровать пристроила — чтоб не промерз, чтоб меха не расклеились, чтоб голоса не проржавели.

Удивительно, как они вспомнили о нем! И в тот раз предложили его продать.

Сказав об этом, Леша воздел руки, сделал большие глаза и с благодарным пафосом поправился:

— Нет-нет! Конечно, не продать! А обменять! На хлеб. Поймите, мы чисто по-товарищески помочь вам хотим! . .

Татьяна быстро и изящно, как на сцене, достала из продуктовой сумки и положила на стол большую буханку и еще нецелый кирпичик хлеба. И откуда только люди хлеб берут!

Папа глотнул слюну и спросил:

— Сколько тут?

— Три кило! Совершенно точно. Можно проверить!

Папа отмахнулся и сказал:

— Спрашивайте дочку, это ее инструмент.

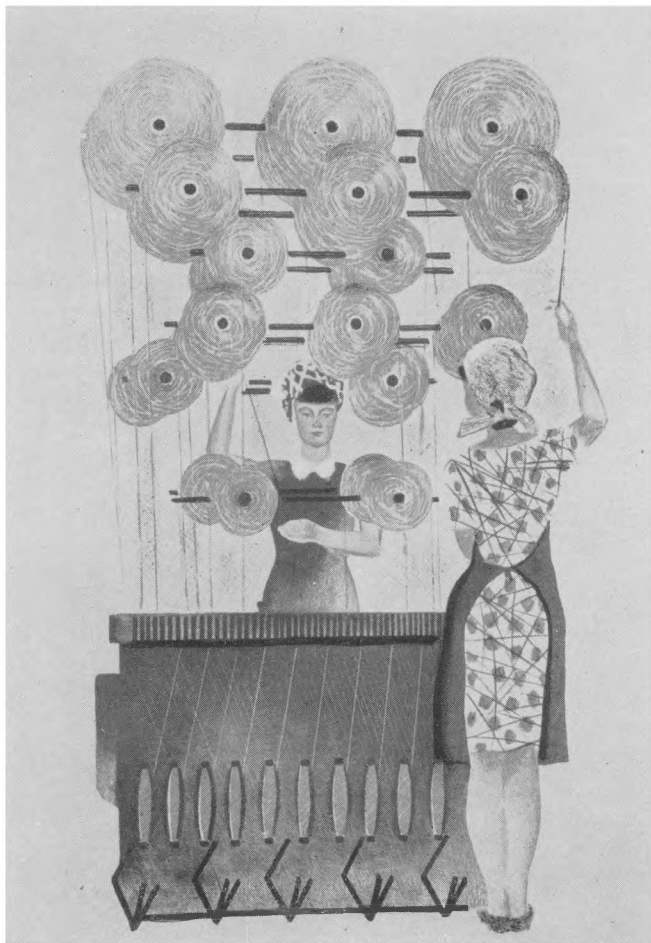
Я смотрела на хлеб — целое сокровище, смотрела в светлые, незамутненно-ясные глаза Леша, на потупившуюся Татьяну, на мамку и папу, которые старались не смотреть на хлеб и на меня. . . И отдала мое милое живое концертino. . . Осталось у нас писклявое сопрано, да не лежит к нему душа.

А они украсили мой баритон фальшивыми бриллиантами. Сверкает он теперь со сцены, как елочная игрушка. И хоть бы играли что-нибудь порядочное, а то ведь только на выход — они акробаты. Несколько тактов чего-то невнятного — он на маленьком концертинке, а она аккомпанирует на моем. . . Потом отдают кому-нибудь из униформистов инструменты и начинают этюд. Я стараюсь его не брать. . . Пусть Ромка берет — он ведь ничего не знает.

И сейчас оно где-то тут, в ящиках, вместе с их реквизитом.

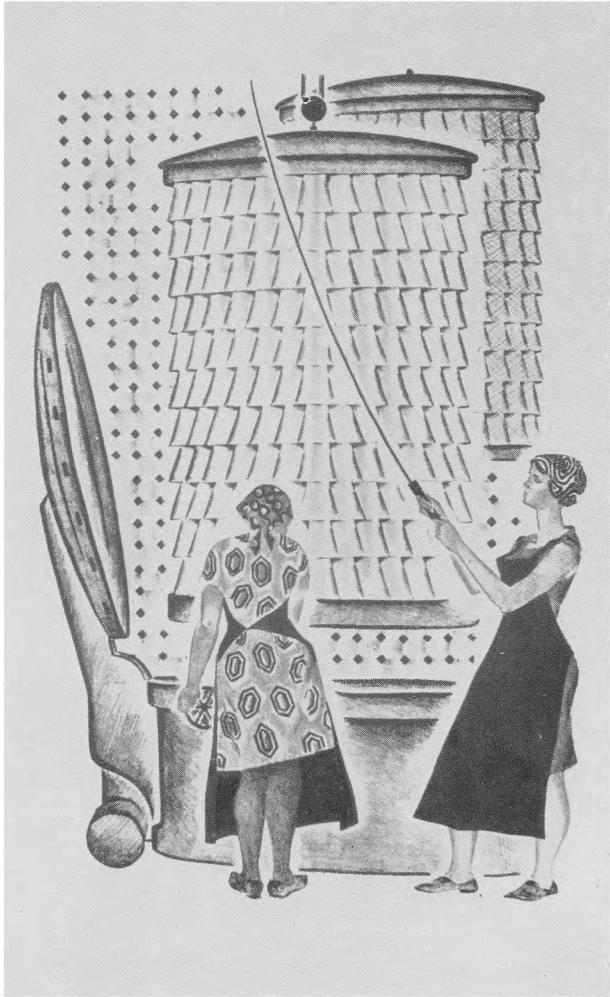
Зато какая у Татьяны стойка! Тут уж ничего не скажешь. . . Каждый раз на репетиции любуюсь, как она разминается. Ручки и пальчики тоненькие, и кажется — такие слабые. И на ковер-то она кладет руки не как все — плашмя, а касается пола только кончиками пальцев и чуть-чуть краем ладоней. Небрежно так, слегка. Так и идет на стойку. . . Медленно, плавно. Будто и труда в этом никакого нет, совсем просто. Прямо песня, не стойка. И сама вроде такая милая, приветливая. . . А о том — ни слова. Может, они и скверного ничего в этом не видят? . . Не может же быть. . .

ЛЕНИНСКОМУ КОМСОМОЛУ 50 ЛЕТ



Линогравюры «Ткачихи».

*Дипломная работа  
выпускника Института живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина  
В. Е. Солнцева, 1968 г.*



А вот уж что действительно спасло нас — это тогда, в канун Дня Красной Армии. Увел папку тот же Илюша в ДКА. Сказал — обязательно надо, обещал помочь папке дойти, а сам-то уже тоже не многим лучше был, только что — моложе. Задержались долго, мы с мамкой волнуемся, хоть и не говорим ничего. Обстрел, а им идти так далеко — до Кирочной и обратно. . .

Друг хлопнула дверь, и уже из прихожей папка кричит:

— Ну, ребятуншки, теперь мы спасены!

Мы схватили коптилку, бросились в прихожую — папка радостный, улыбается, целует нас и протягивает розовый мешок, вроде наволочки. Давно мы папку таким не видели. В дверях Илюша стоит, тоже улыбается — на сером лице зубы светятся. В руках — тоже розовая наволочка. . .

Оказывается, артистам двух лучших бригад выдали к празднику по красноармейскому подарку. Это были посылки с Большой земли. . .

Папа мы целовались да обнимались — Илюша исчез. Побрел домой. Не успели даже его поблагодарить, что папку довел. . .

В комнате развязали наволочку, а в ней — большой кусок шпика, вяленая баранья лопатка, с полкило сахара, с полкило чудесных сладких пряников, граммов четыреста сливочного масла, немного риса, банка сардин и банка крабов. Как во сне! Будто бред голодный. . . Опять ликовали, обнимались, целовались. Чуть не плакали! . .

А сели есть — и не можем. Как посмотришь на такое вкусное — скулы сведет до боли просто невыносимой, куска в рот не взять. . . Ну, потом поуспокоились немного, как-то поели. . .

В мирное время, наверно, смешно будет вспоминать. . . И что спасение троих папка, еле двигающийся, смог в наволочке принести.

И принес. И спас. При чем же тут — смешно!

Скоро опять зима, третья. С едой теперь полегче, а вот дров опять нет. . .

Что-то немец вроде гудит. . .

Точно — немец! Две ноты. . .

Бомбардировщик, «юнкерс». И не один. . . Ага — зенитки! . .

Да вот же — все видно! Это из Петергофа на Ленинград. . . Господи, как же мои-то там! Я здесь природой наслаждаюсь, в воспоминания ударились, а там — начинается! Говорила же, что такая ночь не может пройти без бомбежки. . .

Много их, ох много. . . Прошли зенитное заграждение на передовой. Уже над городом. Примерно над Октябрьским районом, а вот и над нашим, Куйбышевским. . .

Ой! Осветительные бомбы! Гроздьями! Гроздья ракет... Опускаются медленно, долго. Весь город освещен! Что, гады, делают!

А вот и бомбы! Фугаски. Еще, еще... Боже мой! Что там с мамкой, что с папкой?

Папу, может быть, загонят в бомбоубежище ДКА, а мамка ведь не пойдет в подвал, хоть и обещала...

Как долго бомбят, как долго!.. Да кончится ли это когда-нибудь! Еще, еще!..

Вот, кажется, поворачивают, отбомбились... Что там делается! Для скольких людей все было в последний раз!

А эти сволочи преспокойно возвращаются к себе, в Петергоф.

Даже не сбили ни одного из них! Сделали свое дело — и ушли. Что же наши-то думают?!

...Ага! Гудят! Да это ж наши! Тяжело гудят — бомбардировщики. Наверно — тройками, пятерками, как тогда подо Мгой... Мы и не знали, что работаем у самых самолетов, так они были замаскированы. Увидели только, когда они из-под нашего носа на задание полетели — тройками, пятерками — красиво!

Ого, сколько! Это вам, сволочи, не сорок первый год!

Прошли!.. И Петергоф прошли... Бомбят!!

Аэродром их бомбят! Вот это разрывы! Хорошо! Еще, еще!..

Как отсюда все хорошо видно! Эх, жалко, ленинградцы не знают, не видят! Хоть порадовались бы... Столбы разрывов, еще, еще!..

Ого! Вот это пламя! Значит, в горячее угодили. Ну и полыхает! Здорово!

Кончили, возвращаются.

Вот и радуюсь, и прыгаю... Кулаки сжаты, больно даже... Ведь всегда любила все живое. Вот тебе и мышата — кого в общежитие, кого — в госпиталь...

А сейчас рада, рада, рада... Рада и горда.

Что-то с моими ребятами?! Пожаров не видно. Но сколько бомб было! Насколько легче, когда вместе!..

Но нельзя и мысли допускать о потере.

Нужно всеми силами души вцепиться во всех, кто дорог, во все, что дорого, и не отпускать, не отпускать ни за что!

И чтоб все это было! Было!

Вот придут завтра наши. Как всегда — с гомоном, с трепотней.

Папка... Конечно, он точно не будет знать, как у нас дома, но примерно — где легли бомбы — всегда быстро становится известно...

Приедут наши девчонки-балетчишки. Восемь девчат и с ними наш балетмейстер Лисовцкая. Пожилая, маленькая, худенькая, неприступно строгая — такие, наверно, раньше классные дамы были. К девчонкам — беспощадная. Они ее пуще всякой бомбежки боятся. Гоняет их часами, не то что до седьмого, а до тридцать седьмого пота.

А потом Вера где-нибудь в уголке будет эти премудрости мне передавать, и еще — чечетке учить. Да не в коня овес...

Но только бы все это было!.. И все — были!

А еще, наверно, будем опять в госпитале работать... Опять многие раненые будут аплодировать попарно. У одного — одна левая рука, у другого — одна правая. Так вдвоем и аплодируют. Наловчились — получается...

Нет, все должно быть! Опять встретят нас серые, с проросшей между ними чахлой травой, каменные плиты Кронштадта.

И наш всегда грустный, когда не на сцене, Николай Степанович, жонглер, опять будет перед каждым представлением с превеликим трудом накачивать воздух в свои пестрые, веселые, расписные мячики, маленькие и огромные, не доверяя эту работу даже нам, униформистам.

И Ромкин отец, коверный, — коротконогий, с опухшим детским лицом, — как всегда, в каждую свободную минуту будет разучивать на окаринке далекое, итальянское «Мое солнышко»...

И Лаутин при подготовке сцены, с возмущением хлопая себя по ляжкам длинными руками, будет взывать к небесам: «Господи! И почему это у талантливых артистов такие бездарные дети!» — это уже наверняка про нас с Ромкой.

А Ромка опять будет липнуть к каждой пустой машине и грозиться: «Вот как сейчас залезу, заведу и поеду! У меня ума хватит!» А сам и не умеет-то, врет все...

И музыканты нашего джаза опять будут галдеть на своем птичьем «лабухском» жаргоне. И чечеточники — бить свои дробы, не жалея ног и подметок. И папа...

Папа будет играть на каждом из своих многочисленных инструментов, а в конце — на маленьком-маленьком корнетике, который у него так по-человечески говорит ясным детским голоском. Кажется даже, что слова разобрать можно. И всегда это самые добрые, самые хорошие слова... Очень нужные людям, особенно сейчас... И каждый услышит именно те слова, которых ему так не хватает...



Будут опять дороги ко Мге и в Невскую Дубровку, в Ораниенбаум и в Орешек. Много дорог — водных, лесных и болотных, покрытых молодыми березовыми да сосновыми стволиками, за деревянную звонкость свою прозванными у нас «ксилофонами», по которым дребезжат фронтные повозки, выколачивая душу из циркачей.

И будет то догонять, то опережать нас в дорогах самоотверженный и верный друг — Сирано де Бержерак, на этот раз в виде постановки Ленинградского Фронтного Театра.

Будет еще много дорог... Пристрелянных и сжатых минными полями... Разных... Будет опять весь этот тяжелый ежедневный труд, для глаз зрителей замаскированный под удалство и легкомысленное веселье...

А в Ленинграде мама будет нас ждать, как ждут тысячи ленинградок возвращения своих близких.

# Всего полтора дня

РАССКАЗ

Это делается так.

Впрочем, в точности передать, как это делается, невозможно. Корочка получается тонкая, здесь нужно не перейти границы, тесто не сухое, но и без влажности. Начинка — мясо. Мясо закладывается сырое, мелко порубленное с луком, наперченное крепко, посоленное и с чесноком.

Их пекут на больших круглых сковородах, и оттого, что мясо закладывают сырым, в готовом уже пироге оно томится в собственном соку.

Существует стройный ритуал подачи их на стол. Верхнюю корку надрезают по кругу, отделяют от пирога и часть ее кладут вам на тарелку. Затем в тарелку вашу на эту корочку наливают сок, вычерпывая его со дна пирога, а потом уже кладут остальную часть куска.

И вы начинаете есть. И что там кусок. Можно съесть целый пирог.

С чем бы сравнить это? Пожалуй, не с чем. Это неназываемо, потому что слишком хорошо.

Но просто так — со слов — разве поверишь. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Лучше один раз съесть.

А еще бывают они с картофелем, очень начесоченные, с сыром, с капустой. Перед тем как разрезать, уже на столе, их смазывают

маслом, и кусочек его запускают внутрь, где начинка, через отверстие, оставленное в самом центре верхней корки.

Их должно быть три пирога. Три круглых осетинских пирога на тарелке. Таков обычай. Их может быть еще шесть или девять.

Изящно выстроенные на тарелке, с тончайшей корочкой, пресные — боже упаси, ни в коем случае не сдобные — это уже праздник. Конечно, пироги — это не обязательно праздник. Но праздник — это обязательно, это непременно пироги, круглые, на больших тарелках, расставленных по всему столу среди бутылей, кувшинов и дымящегося большими цельными кусками мяса на блюдах. Все другое уже неважно. Главное за таким столом — круглые пироги на тарелках и блюда с мясом, бараниной по преимуществу, обильно начесоченным и наперченным.

Привыкнув к такой еде, он нигде больше, с тех пор как жил не дома, не мог есть с удовольствием.

Нужно пройти еще квартал, потом повернуть за угол, и вот уже их улица, и вот уже ворота их дома.

Чермен шел по двору, выложенному сизо-серым булыжником, по нему не так-то просто было идти, а он отвык. Он отвыкал во время долгих теперь разлук с этим двором, где прошли его детство и юность — долгая, длинная жизнь, как теперь ему казалось, — он отвыкал ходить по булыжнику, но снова легко привыкал.

А от двора он не отвыкал никогда. Этот двор всегда жил в нем, он всегда мог вызвать его в воображении во всех подробностях.

Двор был покрыт булыжником. В булыжник упирались длинные шести, поддерживавшие веревки. На веревках сушилось белье. Это было простое и хитрое приспособление. Шести ставили вертикально, и тогда белье полоскалось очень высоко. Или шести устанавливали наклонно, и белье легко было снять или повесить, потому что веревки опускались.

Конечно, и сейчас на веревках полно белья.

Двор был густо населен. Жили друг перед другом открыто, не только потому, что двери всегда были настежь во двор с террасок-галерей: они были застекленные, и уже из них вы попадали в комнаты. Здесь ничего не скрывали друг от друга — ни радость, ни горе, да и невозможно скрыть, если все живет под теплым южным небом. Булыжник, белье на веревках и железные печки-мангалы, сделанные из ведер, стоящие около каждой открытой двери на галерейку, — это все мог он вызвать в памяти, когда хотел.

— Добрый день, тетя Сирано. . .

— Чермен-ен, с приездом! О-о-о, какой мужчина! Надолго? . .

Он шел дальше.

— Как поживаете, дядя Саркис? Здравствуйте!

— Дорогой, как всегда. Хорошо поживаю. Хорошо. Что может сделаться Саркису Ивановичу? А? Ты, говорят, большой начальник стал. А? Сколько получаешь?

Он шел дальше.

— Чермен, вот обрадуется мама. Она не ждала тебя...

Но мать уже ждала, уже услышала, что ее сын идет к ней.

Она стояла, не двигаясь, прямо за порогом галерейки, опустив руки.

— Господи, приехал, — сказала она.

Чермен поцеловал ее в голову. Они постояли так. Плечи у нее были мягкие.

— Как это хорошо, — говорила она нараспев.

Он не выпускал ее, так вошли в комнату, Чермен — наклонив голову.

Здесь было бы сумрачно, так оно и было, но сияли стены, чисто побеленные известкой, в углу печка с приступочками тоже светилась. И сразу он увидел два больших портрета на стене: дед его и бабка в национальных костюмах. Сестра проследила за его взглядом.

«Все никак не выкину».

«Зачем ты так?» — сказал он, заранее зная ответ.

«А ты стал бы держать в своей квартире предков на стенке, ну?»

Давний это был разговор. Не стал бы, наверное. Здесь они были очень на месте в своих национальных костюмах, их дед и бабка.

— Ну, привет, — сказал он.

— Привет! Как это ты догадался приехать? Самолетом? — спросила она.

Он не ответил. Крутнувшись несколько раз на каблуках, он вышел в галерейку. Мать гремела посудой.

— Ты, наверное, очень голодный?

Этот родной вопрос. Как он любил, когда она вот так его спрашивала.

— Ты, наверное, очень голодный?

— Нет, пока нет.

— Как это? С дороги?

Здесь был его дом, что бы там ни происходило в его жизни. В галерейке сидели соседки, которые к нему пришли. Они поговорили. О погоде в Москве, о самолете, о высоте потолков в его квартире. Высота была 2,75, они не раз ее обсуждали.

— Чермен, — певуче сказала мать. Эта певучесть была не для всех. Это была ее ласка, ее гордость. — Сходи к тете Нине, сын. К тете Нине.

— К тете Нине? Обязательно. Я только умоюсь, мам.

Он пошел через двор по булыжнику. Все время он здоровался и улыбался, и отвечал на вопросы, и ему улыбались. Он был счастлив.

Порог у тети Нины высокий. Чермен высоко поднял одну ногу, потом другую, а голову наклонил.

Тетя Нина уже знала, что Чермен приехал. Они обнялись, тело у нее было щуплое, как у подростка, нет, оно было по-старушечьи сухим.

В углу комнаты светился экран телевизора.

Тетя Нина вся в черном — черное платье, черные чулки, черные туфли, черный платок на голове. Платок съехал. Волосы были черные, почти без седины. Ему показалось — она плачет. Ему только так показалось.

Они еще стояли у самого порога. Он отыскал глазами половички, размером чуть больше туфли, и, встав на них ногами, стал двигаться к столу. Он скользил половичками по вощеному, как в музее, полу.

В воздухе стояло музейное. На стене галерея портретов, фотографии коричневые. Всех сыновей тети Нины убили на войне. Демну, Гурами, Омари, Ваню и Таймураза. Всегда поражало: было пять сыновей у грузинки, ни одного не осталось. Нужно было выстоять, нужно было иметь силы. Тогда старик был жив. Его фотография теперь шестая.

Была еще Ламара. Она умерла девятнадцатилетней. Ее фотография была седьмая. Точеная шея, совсем открытая в этом платье, серые глаза, копна волос. Так всегда напрашивалось: копна волос. Фотография коричневая. Но он-то знал, глаза были серые. Всегда глядели чуть мимо вас, что-то там видели.

Тетя Нина смотрела на него, любуясь. Она им любовалась.

— Боренька здоров?

— Да, да. Все в порядке.

А это мог быть ее внук.

— Аня, — спросила она. — Как там Аня?

Она поставила на стол чашки, наливала чай. Они пили чай с вареньем, варенье было многих сортов. Сколько он помнил, так было всегда. Он сказал про Аню. Жену он любил. Всегда он понимал: что-то ненастоящее в их любви. Он привык к этому.

Настоящее так и осталось здесь: эта старая, совсем уже старенькая женщина — плечи у нее были такие костлявые — была частью того настоящего в его юности, в его жизни.

В углу дрожал экран телевизора. Несколько человек там тоже сидели за столиком.

— Ты теперь большой человек... как это называется?

— Кандидат наук.

— Да, да. Молодец ты. Я знала. Я всегда знала.

Последние годы, после всех смертей, тетя Нина ничем не занималась по дому. Дом вела родственница. Половички — это ее затея. Она всюду блеск наводила, всю жизнь в это вкладывала. Тете Нине было все равно. Все как в музее, этот вощенный пол, а главное, тишина, а главное, память, которая одна жила здесь. Все-таки он всегда хотел прийти сюда. Только ненадолго. Надолго он не мог.

— Иди, иди, — сказала ему тетя Нина. Она понимала, она смотрела на него. Он улыбался своей асимметричной улыбкой.

— Я не прощаюсь.

Наступала ночь, когда Чермен вышел. Хотя был вечер, но наступала южная ночь вместо сумерек. Во дворе у стены играли в карты в свете подведенной к столу электрической лампочки.

— Здоров, Черменка, — оттуда сказали.

— Это Чермен приехал.

Чермен подошел к ним.

— Теперь большой начальник стал, большие деньги получает, — сказал Саркис.

В галерейке у них все так же сидели соседки. Они стали уходить.

— Како-ой мужчина! — разводила руками тетя Сирано. — Прямо военный.

— А где Лялька, мама?

— На проспект пошла. Ты где будешь есть — в комнате или здесь, может?

В городе был проспект с великолепным южным бульваром по середине, место всеобщего гулянья, по вечерам там обязательно встретишь кого нужно.

Мать поставила перед ним тарелку: жареное мясо с картофелем из борща. Так он любил. На мясе и картофелинах остались волокна капусты и свеклы.

Мать села напротив.

— Я не спрашиваю, я боюсь спрашивать, Чермен. Как ты приехал? Надолго?

— Нет, мама.

— Нет? — Мать пригорюнилась глазами.

— Только на полтора дня. В понедельник утром уеду.

— Уедешь? Обратное?

— Нет. Начинается совещание. Я на совещание приехал.

— Совещание. А-а, — сказала мать. — Здесь совещание, Чермен?

— Нет, мама. В Тбилиси будет совещание.

— Конечно, конечно, — сказала мать, — я понимаю... В письмах я не очень разбираю, как твои дела?

— Я защитил. Ты знаешь. И все теперь хорошо. Большая комиссия меня утвердила.

— Трудно тебе было, сын? — Глаза ее заблестели.

— Не знаю теперь. Трудно. Да, конечно, трудно. Ну, как здесь все наши?

Мать сходила в галерейку, принесла Чермену чай. Чермен пил чай с медом. А она долго рассказывала ему новости.

После чая он вышел во двор покурить. Выходя, поглядел на себя в зеркало. За последние часы он стал больше походить на осетина.

Он стоял, курил, он был счастлив. Переговаривались игроки в карты. Проливалась вода через край ведра. Кто-то у колонки набирал воду. Раздавались осторожные шаги девичьи. По булыжнику трудно ходить на гвоздиках.

Около колонки совсем темно. Двор кое-где освещается светом из окон. Он стоял, курил. Аня тоже сначала никак не могла привыкнуть к гвоздиках по булыжнику. Да и потом она все равно не привыкла. Ламаре было легче. Тогда еще не было гвоздиков, хотя тоже каблук скатывался, скользил по булыжнику.

Февраль, а здесь около двадцати градусов тепла.

Он не был здесь два года. В последний раз тоже в феврале. И тогда тоже было тепло, без пальто ходили. Бабушка тогда умерла. Был февраль с острым терпким воздухом, через весь двор протянулись столы для поминок. Пироги — это и чья-нибудь смерть.

Байсет, так звали бабушку, было почти сто лет. Это ведь почти сто лет, когда человеку девяносто шесть. У нее давно было готово все необходимое: белье белоснежное с кружевами, платье шерстяное серое и головной платок белый поменьше, и еще один большой черный.

— Чермен, Чермен, слушай, хочу умирать, — говорила она. — Я умирать хочу. Не знаешь, Чермен, зачем я не умираю?

Особенно часто она говорила это после смерти любимого старшего сына.

Чермен тогда опоздал и был рад этому. На кладбище уже ушли. Остались только древние старухи, которые не могли пойти на кладбище. Их было много, они сидели в комнате, в которой почему-то не было стола. И в этой комнате без стола они сидели полукругом, опираясь на палки. Старухи вдруг встали и пошли на него со всех сторон в полумраке комнаты. Старухи ему обрадовались, они улыбались, причитали и лезли целоваться. Беззубые, зловещие рты были рядом. Чермену стало жутко.

Его и сейчас охватила дрожь.

Он вспоминал, как во дворе длинно протянулись столы для поминок, уставленные мясом, пирогами и аракой. За столами сидели мужчины. Многие мужчины сидели в больших шапках — те, кто при-

ехал из селений. Народу было много. Чем большим почетом пользовался умерший, тем больше народу, тем с большим почетом его провожают. Бек привез из Батакаюрта целый грузовик родственников. Еще он привез двух баранов. Народу было очень много. Женщины сидели отдельно от мужчин, в комнате. Так требовал обычай. Проводы в последний путь — общее дело. По обычаю хоронят на собранное родственниками и знакомыми. Это дело общества. И до сих пор так. Собирают деньги, семья не знает забот, еще оставляют на сорок дней.

— Хороший у вас, у осетин, обычай, — говорила тетя Нина.

Он вернулся в дом. Мать постелила Чермену на тахте. Уснул он сразу.

Проснулся он рано. В комнате было белесовато, это не солнечная сторона. Постель его сверкала чистотой. Все было белоснежным.

Как-то по-особенному стирали здесь, сами стирали, в прачечные не отдавали. Но уж зато постельное белье было гордостью хозяек. Одеяло было нарядным — верх из среднеазиатской полосатой атласной ткани — и легким — внутри не вата и не перо, а верблюжья шерсть.

Только встав, он вышел на улицу поглядеть, какое утро. Он всегда так делал, еще когда жил здесь, и потом, когда бывал здесь.

В конце улицы совсем близко горы переливались дорогими камнями. Среди них ровно срезанная Столовая гора. Горы были подсвечены невидимым солнцем, а во все стороны от них натянуто чистое полотно неба. Горы были рядом, прозрачность воздуха приблизила их. Это сегодня. Когда там, в конце улицы и еще дальше, клубилось, ворчалось серо-сизое нагромождение, то было только это нагромождение, а гор не было.

По соседству с их двором построено два больших дома, вид у них современный. Давно уже, а в последнее время особенно, приземистые постройки их двора, которые выходили на улицу, портили весь вид. В последние годы кирпичная ограда и ворота совсем разрушились. Ворота, собственно, и не было, внутренности двора некрасиво вываливались наружу.

Чермен знал, что будет делать сегодня. Ходить с визитами он не будет, хотя некоторых знакомых хотелось бы повидать. После завтрака пойдет на базар. Потом... что будет делать потом, он не знал, наверное, будет во дворе сидеть, на улицу снова выйдет. Он знал, ему будет хорошо.

В галерейке мать колдовала над тестом.

— Я немного сейчас. Только к завтраку, — сказала она.

Она мяла тесто кулаками, руками раскатывала его на доске,



подбрасывала тесто вверх, шлепала в воздухе и снова разминала, и снова мяла кулаками на большой доске, посыпанной мукой.

— Хочешь попробовать? Это капуста.

Это была готовая начинка для капустных пирогов, без яиц, но с луком и насыщенная маслом. Еще с детства он любил надеяться таким образом.

Он стал умываться.

Сестра накрывала на стол.

После завтрака Чермен пошел на базар, как было задумано. Он взял в обе руки большие мягкие плетеные корзины с крышками, которые сбоку застегивались, и застежки тоже были плетеные.

Базар в этом городе надо описывать отдельно. Это в другой раз.

Говор и запахи — это было первое, пока вы ничего не увидели. В той стороне, с которой Чермен вошел на базар, пахло мясом, зажаренным на шампурах. Здесь в одном ряду стояли фанерные кабинки под общей крышей, и в каждой подавали борщ и шашлыки. И над всем — смешанный запах перезимовавших плодов, сложный букет запахов.

Сначала Чермен походил просто так. Просто так, чтобы посмотреть и спрашивать. Он уже несколько раз поздоровался с кем-то, искусно держась на расстоянии. Он все ходил и смотрел, слушал, спрашивал, что почем. Фруктов было много. Не так, как осенью. Но было много сортов яблок, груш, хурмы много.

Потом Чермен стал покупать. Надо было поторговаться, это положено. И чего он не умел в Москве, он умел здесь. Теперь обе сумки оттягивали ему руки, они были полны, не закрывались.

Выбравшись с базара, перешел улицу, где ему хотелось, — машины редко шли, — и отправился домой. Он повернул за угол, потом еще раз.

Он так старался пройти через двор незамеченным, но его увидели, несколько человек разговаривали в одном конце двора, обернулись, закивали ему, и он в ответ закивал. Все смотрели на его сумки.

— Это мой брат идет! Это он. О-о-о!

И Бек набросился на Чермена, тот еще и сумки не поставил на пол галерейки. Они отодвинулись друг от друга, сияя.

— Как живешь, Бек, а?

— По радио! — вот любимая бессмысленность Бека. Это означает, однако: хорошо живу, прекрасно.

Таков уж был Бек, всегда все шло у него прекрасно.

Воздух кипел в галерейке, воздух кипел вокруг матери — она затевала большой стол. И уже ей кто-то помогал. Мать еще раньше побывала на рынке, до завтрака.

Чермен с Бекем вышли за ворота. Бек худой — кожа да кости — и улыбающийся, любимый брат Бек.

— Ну, Бек, как дела? — Чермен любил спрашивать его так.

— А, ну их к черту! Нет, ты понимаешь, Чермен? Одни бабы, понимаешь? Одни бабы работают в этом проклятом месте. И все я должен делать. Этих покойников я должен таскать, — говорил Бек брезгливо.

Последнее время Бек работал шофером в морге. Сколько его знал Чермен, всегда он переходил на новое место работы.

— Разве это мужское дело? А, Чермен? Плевать я хотел. Ушел я оттуда.

— Куда ушел? — Чермену было весело.

— Пока никуда, — сник головой Бек. — Зовут на маисовый. Помнишь, комбинат около нас? Зовут меня, — поцокал он языком.

Любил Бек значительные интонации, хвастлив был Бек.

— А как ты в столицах, брат? Кандидат в науки, да?

Бек улыбался радостно, и кожа собиралась на его выступающих скулах и вокруг ушей.

— Дойдем до проспекта?

— Давай!

И они пошли. Совсем как в юности. Это было недалеко. Нужно было пройти, никуда не сворачивая, несколько кварталов.

— Куда же вы? Красавицы!

Бек спугнул девушек, он пошел на них, раскинув руки. Но на углу Бек что-то вспомнил, куда-то ему нужно было сходить.

— Ну, дома встретимся!

Такой уж был Бек.

На бульваре народу немного, Чермен купил газету, уселся на скамейке. Направо были горы, в конце бульвара. Потом он прошел по бульвару и снова сел. Мимо скользнули те две девушки, которых спугнул Бек, длинноногие и с длинными прямыми волосами. Теперь они возвращались. Они посмотрели на Чермена и застенчиво засмеялись, им было лет по семнадцать, совсем молоденькие.

Много было красивых девушек, в городе стало больше красивых девушек. С коробом через плечо медленно шел и остановился недалеко старик мороженщик. Чермен его помнил. Катили машины с той и с другой стороны бульвара по проспекту. Проехал автобус с пионерами. Еще один автобус проехал.

Чермен встал и снова пошел в ту сторону, где виднелись горы, сел на скамейку.

Надо было возвращаться. Сколько можно было сидеть на бульваре, идти по бульвару в ту сторону, где горы? Сколько угодно можно

было сидеть здесь и вставать, и идти, и снова садиться. Ему некуда торопиться.

На обратном пути он купил в гастрономе огромный торт, хотя это совсем и не нужно было. Он знал.

Почти накрытый стол выглядел так, как он и представлял себе. За стол сели рано, чтобы сидеть долго. Чтобы можно было вставать и снова садиться. Торопиться некуда, только середина воскресного дня. Чермену уезжать утром.

Здесь были Тамара и Ольга, его дальние — четвероюродные, что ли, — сестры, и Лялька — родная сестра, и Хадарцева — это была его тетка, но неродная. И Бек уже был здесь, он привел Руслана с женой. Это тоже брат какой-то степени. И сестры Руслана Людмила и Галя были здесь. И еще одна Тамара, и еще. Тетя Нина с сестрой, потом Маня с мужем Петей, потом тетя Люба с дочерью. И Георгий, конечно, здесь. Никогда Чермен не мог точно назвать: кто с ним в каком родстве. Пожалуй, и не обязательно это было помнить, все равно всех не запомнишь. Все собралось как-то сами собой, все излучали теплоту и сердечность и хотели только одного: его, Чермена, приезду порадоваться, посмотреть на него, ведь он приехал, а они жили здесь.

Мать смазывала пироги маслом. Глядя, как расплывается масло по круглому пирогу, Чермен очень хорошо понимал, что он дома. Мать разрезала, священнодействуя, пироги с мясом, а потом делала все, что и полагалось делать: снимала корочку, наливала сок, раскладывая куски по тарелкам.

— Берите, берите, сами берите, пока горячие, — приглашала она.

Тамара и Ольга ей помогали, бегали в галерейку еще за тарелками, ножами. Мать принесла и поставила кувшин с сахтоном.

Ждали тоста. И Георгий уже давно стоял со стаканом в руках — пусть будет полное внимание.

— Если мне возможно будет сказать, — начал Георгий очень торжественно, — если меня можно будет послушать, то самое это последнее дело — родину забывать. Никогда. Никогда нельзя забывать родину, тот, кто забывает родину, где он родился, это совсем последний человек, я так скажу.

Теперь мать сидела и со счастливым выражением лица слушала Георгия. И остальные слушали его.

— Сестра, поздравляю тебя, сестра. У тебя такой сын, такой хороший сын у тебя. И если мне можно будет сказать, он нас не забывает, Чермен. Чермен! Вот я много жил, ты послушай меня. Я много жил, и я знаю, что получается, когда забывают место, где родился.

А есть все еще нельзя, и пить все еще нельзя, и нельзя есть.

Георгий говорил стоя, и все, кто был тут моложе его, тоже стояли со стаканами в руках.

— Родина, — говорил Георгий, — родина — это, если возможно мне будет сказать. . .

Закончив про родину, Георгий перешел к науке. Теперь снова заговорит он о Чермене, а есть хочется. Наконец Георгий передал Чермену свой полный стакан, это было проявлением уважения, но требовало ответного госта. Чермен принял стакан, поблагодарил, сказал, что счастлив быть здесь и всех их видеть. Он и про родину что-то сказал.

Можно было садиться, все сели. Чермен дорвался до пирога и съел целый пирог с капустой, он все еще был нетронуто горячим. Значит, только показалось, что так долго слушали Георгия. Тамара и Ольга опять вносили и ставили что-то на стол и что-то выносили.

— Ты у меня красивая, мама, — сказал Чермен через стол.

— Мои дети — это настоящие разбойники! — кричал у него над ухом Бек. Он кому-то кричал:

— Если бы в городе жили, да! На базаре бы грабили.

— Ты у меня красивая, очень, мама. — В горле у него стоял комок.

Но когда раздались звуки лезгинки, у Чермена замерло сердце. Он понял то, что все время понимал: ради этого он приехал. Ради всех этих вопросов, ответов, разговоров, ради всех этих лиц. Ради этих гор, этой музыки.

А уже музыка набирала бешеный темп, уже выбивали бешеную дробь по столу и стульям, подзадоривая, уже выскочил Бек на середину комнаты, — места, правда, было не так много, но он стремительно, легко неся по кругу, тут же образуя этот круг, ловко обходя выступающие стулья и углы. Стулья поспешно убирала, стол сдвинули, и вот места стало больше, и в круг плавно вошла одна из Тамар.

Теперь все мерно хлопали в ладоши в ритм музыке. И уже вот он — ритм, и уже ритм этот в крови, он подчиняет себе жизнь тела.

— Ас-са, ас-са! — кричит бешено Бек.

— Ас-са! Ас-са! — кричат в кругу стоящие.

Танец бурлит, кружит, мчится, все заморожено танцем. Все заморожено вихрем. А Тамара танцует с серьезным, печальным даже выражением лица.

— Ас-са, ас-са, ас-са-ас-ас! — Бек прямо-таки осатанел, кружа, прыгая, падая на колено и гибко поднимаясь.

Всем телом, всей кровью Чермен чувствовал танец. Музыка заставила его забыть все. Терпкое, дикое трепетало в жилах. Он забыл о городе, о людях, среди которых жил там, о своей профессии, своем деле. Он был счастлив сейчас.

Люба не поднимала глаз от гармошки, она сидела опустив глаза на инструмент. Лицо ее было скорбно и прекрасно, из глаз лились слезы. И это было то, без чего не могла обойтись ее игра. Без этих слез Люба не могла выразить всю силу захлестывавших ее чувств. Плечи ее почти соединялись, выступая вперед над гармошкой. Самое выразительное сейчас было в Любе — плечи и веки опущенных глаз.

Она остановилась. Танец кончился. Все захлопали.

И сразу же Люба заиграла другой танец — кабардинку. Этот был лиричнее, это был спокойный ритмичный танец. Чермен поднялся, он уже сбросил туфли, надел чувяки.

— Давай, давай, Черменка, — кричал Бек, запыхавшись.

Чермен не знал еще, что будет делать. Он давно не танцевал, теперь уже очень давно. Ему безумно хотелось, раз уж было все это — эта музыка, эти крики и эта дикость вокруг него, и в нем дикость, от которой пересыхало во рту, — ему хотелось начать, войти в ритм, оказаться внутри его.

Мать смотрела на него затуманенным взглядом.

Он был в серых брюках и белой рубашке. Сейчас особенно понятно, какой он: высокий, широкие плечи при узкой талии и карий продолговатый глаз.

Уже вышел к нему кто-то в пару, он сначала не понял — кто это. А это была Любина дочка. Они встали в разных концах круга, напротив друг друга, пошли навстречу, пошли тем особенным прерывисто-плавным шагом. И не прямо навстречу, а так, что, сходясь, оставляли партнера чуть справа. Снова расходились они в особенном шаге, а потом снова сходились и теперь оказывались с левого плеча один от другого. Руки, опущенные вдоль тела, легкими движениями участвовали в рисунке танца. Рисунок создавался еще и покачиванием тела, бедер. Рисунок танца был простой, но исполненный грации и достоинства.

И над всем этим — гармошка в страстных Любиных руках и темные трепещущие веки Любиных глаз.

Мелодия, грустная, прекрасная, широкая, вливалась в Чермена, завораживала его. Танцевал он замечательно, если смотреть со стороны. Он сам знал, что хорошо танцует, потому что был переполнен ликованием движения, которое диктовала музыка, каждое движение выходило у него как надо. Шел красивым особенным шагом навстречу, потом обратно, не делая поворота, а спиной, и надо было еще, остановившись, завершить ход таким движением, когда, согнув ногу в колене, поднимаешь ее перед собой. И можно было слегка подпрыгнуть в этих конечных угловых движениях танца. В сдержанно-достойном, скупом и страстном рисунке танца было что-то от пляски древних воинов. И женщины, конечно, не было тогда. Чермен двигался

вперед и обратно, сгибал в колене ногу, поднимая ее перед собой, у него это выходило как у голенастого петуха — уморительно. Он чувствовал свое тело, руки, ноги он особенно хорошо чувствовал.

И сразу без перерыва, только через два-три перехода, Люба начала лезгинку.

Чермен бросил себя в новый ритм, в новое движение и полетел вокруг Любиной дочки. Новая музыка смыла всю лирическую торжественность, веселое бешенство вселилось в Чермена.

— Ас-са! Ас-са! — вокруг уже кричали.

— Ас-са! Ас-са! Ас-са, ас-са, ас-са-а-а! . .

Вокруг хлопали не как попало, а в ритм музыке, усиливая, подчеркивая его. Боже мой, он еще умел, у него получалось. Чермен шел на носках, он бросался на колено, подпрыгивал, визжал и снова шел по кругу. Он, приостановившись, перебирал ногами, носками ног на месте, пропуская девушку мимо себя и вокруг себя.

— Ас-са, ас-са, ас-са, ас-са! . .

Под ноги им бросали башмаки, туфли, тапочки.

Он чувствовал, как что-то росло, росло в нем.

И было только это, больше ничего не было, другого не было.

Это был не танец.

Это была жизнь.

Этому не было конца. Это не кончалось, было бесконечно, не могло кончиться.

На другое утро Чермен уезжал.

# Олег Тарутин

---



\* \* \*

*Земля моталась, как брелок,  
на цепочке орбиты. . .  
И вот возник на ней белок  
в один из дней забытых.  
Он забарахтался в воде,  
незрячих сил налилсь,  
не сознавая —*

*кто и где,  
тихонько разделился. . .  
Потом он водорослью цвел,  
потом в скорлупке плавал,  
потом прозрел и слух обрел,  
обрел на мысли право.  
И вот, когда он был готов  
зажечься мыслью первой,  
легла Земля на трех китов —  
Добра, Любви и Веры.  
. . . Стоит Земля на трех китах,  
а те киты уже в летах.*

\* \* \*

*Мне надоело знать заранее,  
что я когда-нибудь умру.  
Иль догорев до основания,*

*или как свечка на ветру —  
погасну вдруг в одно мгновение,  
не исчерпавши фитиля. . .*

*Всё — варианты исполнения  
в задании: «Земля — Земля».  
Мне надоело быть уверенным,  
что нет души и нет чудес,  
что все вокруг — одна материя,  
куда бы взором ни полез.  
От мешковины до созвездия,  
едва заметного в трубу.  
А вся любовь и вся поэзия —  
сплошная химия во лбу.  
Все объяснимо,*

*все естественно. . .*

*И вот от этого я скис!  
Не нужно мне поповской плесени,  
не нужен мне идеалист,  
что может гибкой лженаукою  
схватить, как щупальцами спрут.  
Все понимаю и не гукаю,  
склоняю бороду к костру.  
Ах, мне б теперь его незнание,  
что дело кончится золой.  
Для полноценного сгорания,  
вокруг которого тепло.*

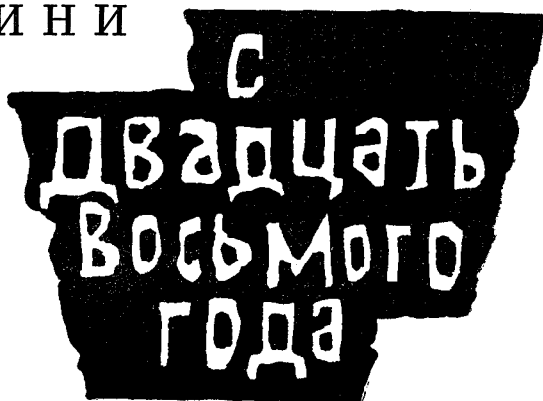
*\* \* \**

*Конфету за щеку — легим.  
Конфету за щеку — посадка.  
Все впечатления пути —  
что было мне два раза сладко.  
Весь путь мой — межконфетный сон.  
Вся прорва верст осталась сзади. . .  
Теперь в такси меня посадят. . .  
Свершилось. Я перенесен.  
Все узнаю, все знаю здесь:  
багаж — направо, выпить — прямо,  
та дверь — мужчинам, эта — дамам.  
А я еще нездешний весь. . .  
И ноги помнят шаткий лед,*



*и плечи помнят тяжесть вьюка.  
Еще вчера винтами стучал  
над нашей базой вертолет.  
Мой сон,  
мой сказочный прыжок,  
мое проникновение в чудо.  
И недоверие — под спудом.  
И как мне очень хорошо!*

# МАЙЯ ДАНИНИ



## РАССКАЗ

Вот ты говоришь — толстая я, сердцу плохо работать. А ты вот дай руку, видишь? Мышцы у меня.

Вот так, а ты говоришь, кефирна диета нужна. Уж кому красоты нет, тому красавицей не выломаться. Я и девкой здорова была, а сейчас! Да как я с кефиру потяну? Навальщица я. На заводе работаю. Вагонетка — центнер, больше весит. Катить ничего, а столкнуть трудно, и притом на стыках прокрутить. Бывает, я и по две смены прошу работать, это когда я место в общежитии получила.

По четверо в комнате у нас всего. Газ есть, кровати никелевые. У меня кровать лучше всех в комнате. Уберу ее, взобью, она как торт с кремом стоит. Покрывало пикейное, платок у меня пуховый есть и пальто с каракулем. Все у меня теперь есть. А как приехала? Ободранка сгальная. Калоши веревкой к ногам прикрутила. С ватника жир капал, так засаливши был. В бараке у сторожихи угол снимала, на Песочной. Там шоссейку строили, вечерами костры жгли, так я к кострам ходила. Парни там смеялись:

— Девка, к огню не подходи, разом вспыхнет ватник, он у тебя огнеопасный.

А я как за свою несуразность тогда переживала, все надеялась, что покрасивею. А и худела тогда, ну мало, когда с Осенцов приехала. Это я потом уже направилась, а тогда две смены работала, чтобы заработать да матери послать муки, масла в деревню.

А как я приехала из Осенцов? Смех.

Какие у нас леса в Пермской области! Груздевые леса. Грузди у нас пойдут осенью, копаешь их с земли, а они белые, как поросята. Здесь у вас в Ленинградской области и груздей нет. Жидкие у вас леса, болотные, а где сосна, так жидкая. У нас сосны не в обхват. Стоят одна к одной. До пояса черные, ветки старые ржавые, как проволока почерневшая, а вверху — чистая медь. И ветки у сосен гладкие, как руки без косточек. И пахнут, пахнут на солнце.

Дом у нас в Осенцах хороший был, крепкий, пока отец жив был: потом отца послали на лесозаготовки, помер он там, под лед его затянуло. Говорили, надо бы в суд подавать, пенсию нам бы дали, да некому хлопотать было. Мать ревмя ревела: война ведь, а мы с сестрой пацанки. Мне тринадцать, Оле пятнадцать. Поехала она в Пермь, на завод устроилась. Мы с матерью двое остались.

Сначала-то все у нас лучше было: и молоко, и картошка. Потом и Оле посылали, в Перми-то у них в войну все приезжие съели, вакуированные все меняли, по деревням ездили. А к концу войны совсем обносились мы. Ничего не было. Мать мне выменяла платье горохами у одной — блокадной. Зажилась она у нас, еле ноги таскала, такая худая была, — вот у нее и выменяли платье. Она одна и зажилась у нас, а все повозвращались к себе в Москву, в Ленинград.

Платье шелковое, хорошее, голубое. С одной стороны блестело, как лизаное, а с другой матовое. Мне все хотелось его на левую сторону надеть, красивее казалось. Вот я его нагладила и все его надевала зимой. Все думала, как летом надену. Такая я себе красивая казалась — смех.

А вот красивела я, правда. Не от платья, а красивела. Весной это было. Влюбилась я тогда и красивела. Парень у нас такой был. Сашей звали. Не так чтобы красивый, ну аккуратный, и волос у него вился. Так сам жильный, худой, ну многие девки в него влюблялись. Мне казалось, лучше его и не бывает.

Он идет мимо окон, а я в комнате, и как знаю, что он. Выбегу на крыльцо — верно, он. Идет, вышагивает. Всегда такой хмурый. В деревне у нас говорят: сумной. Ну такой сгорбленный, про что-то думает. Так ватничек на нем чистый, латаный, а сапоги большие, плохие у него были. Еще отец ему привез с фронта. Потом его отец бросил их, в городе женился. Ему тогда, Саше, лет семнадцать было. С двадцать восьмого года мы, и я тоже.

Вот я его и полюбила. Он никого из девок не трогал, наоборот, сторонился.

Не веришь, что я красивела, а правда. Проснулась раз утром, и такое меня счастье залило, еще во сне, и знаю, что я красивая, вот

знаю, и все. И что за день был такой? Хороший день. Солнце не пекло, только нежило. Дождь был вечером, утром сохло все.

Солнце меня нагрело, проснулась я. Закраснела от тепла, и сладко мне, и весело, и сон во мне еще бродит. Вся я горячая. Стала косу плести — волосы послушные, ровно плетутся, виски закурчавились. И так мне стало охота платье свое надеть горохами — прямо не знаю. И надела. Пока мать не увидела, что я вырядилась, побежала я из дому, даже платок не завязала.

Пришла в свинарник и думаю: что делать? Засмеют ведь, я в платье-то. Стою за дверями, а кто-то с дороги кричит:

— Эй, кто там живой, идите сено возить!

Прибежала я на конюшню, а там девки в тенек сели, сидят, подвод дожидаются. Я к ним не подошла, а сразу в конюшню, а там Саша. Он коня впряг и выводит. Девкам лень еще вставать было, я села к нему.

Девки вслед кричат:

— На жаре не сомлейте, парочка! Ух, невеста-то как наряжена, — кричат нам вслед, гогочут, а Саша на меня косится, хмурится. А я и правда как на свадьбу еду, так мне хорошо. Саша злой на меня стал, что я нарядилась, не смотрит.

А я все замечаю: как телега мягко катит по заросшей дороге, как трава под колесами подминается. Слышу, сосны нагревает солнце, они пахнут, смолой капают. А Сашина спина тут, рядом. Рубаха у него в мелкую клетку, слинялая, а мне красивой даже эта клетка кажется. Он на меня и не обернется, а я гляжу сколько хочу. Сижую, коленки к губам прижимаю, свои коленки, а будто чужая кожа. Вот красивая была. Не веришь ты, а была. И губы у меня налились, и кожа гладкая. . .

Приехали на покос: он дальний был в лесу. Одни мы на лугу. Стали сено метать. А оно пахнет, пахнет, куда там все одеколонь.

И не жарко в лесу, все так же прохладно, тепло будто только-только стало, как весной ранней.

Сметали воз, села передохнуть, а Саша говорит:

— Вставай, поехали.

Мне так охота посидеть, думаю, может, и он сядет, но он лошадь повернул, кричит:

— Идешь, что ли?

Села я на воз, поехали. Колышет меня на возу, сено щекочет, солнце морит. Хорошо-то, хорошо как!

Смотрела я на Сашину голову, она курчавая, волос слился, так блестит.

Как все тут получилось. . . Опустила я руку и поерошила Сашины волосы. Думала, что он отмахнется только или засмеется мне, а он. . .

Неохота и рассказывать, просто думать про это не могу. Сейчас уж что! Тогда-то как переживала, вспомнить не хотела. Как ночью вспомню, так и потом обольюсь со стыда, с горечи, и спать не могу до самого утра. Ох, переживала. Такая нервная стала, просто жуть. Теперь уж что. Мы ведь с ним в школу вместе ходили, и раньше он серьезный был, неприлипчивый, и так я про себя думала, что он уж если что сделает, так не бросит меня, не застыдит. Все бабы про него в деревне говорили, что он муж хороший будет, что вот, мол, кому попадет, счастливая будет баба за ним. А что вышло. . .

Тронула я его рукой, а он вдруг вожжи бросил, на меня смотрит. . . Нос у него прямо как распух, глаза к переносью сошлись. . . Не то ударит он меня, не то что сделает. Вдруг он как меня дернет за руку, и я упала. Шею мою руками захватил, будто душит, целует. Мне дышать нечем, и трясусь вся, вырваться от него стала, да уж где там. . .

Пока я рвалась-то от него, все сено сбила. Потом уж не вырывалась, а все равно накренился воз и на землю повалился. И мы с ним внизу. Сено это противное везде налезло: и в нос, и в рот. Сашка спиной ко мне стоит и молчит. А я чувствую, что он злой, молчу тоже. Он стал сено поправлять и ничего не говорит, а потом говорит — не то чтобы злым голосом, а без жалости:

— Девки вы все. . . одинаковые. Ни гордости в вас, ни черта! И не реви, сама ты виновата, сама. . . А я в город уеду все равно с матерью. Хватить уж, намытарились здесь, наголодовались. . .

Пришла я домой, сняла с себя платье, скомкала его, бросила. Пóтом от него пахло, все оно взмокло. Смотрела я на него, как на змею. Больше ни разу не надела. Иногда теперь уж разверну, посмотрю. Чудится мне тот жаркий день.

А Саша-то уехал. Трудно тогда было уехать: страмили всяко, что мы уехать-то хотим, говорили, что здесь не пропишут. А он уехал. Потом и я. Разузнала, куда он — в Ленинград, к тетке, — и я тоже. Через два месяца поехала.

Приехала я в Ленинград. Так рвалась я туда, так хотела уехать, а приехала — и стало мне страшно здесь. Все чужое: и люди, и все. Хожу в своем ватнике. . . Думала сначала сразу к Саше заявиться: своих-то на чужом месте признают, радуются им даже, но совсем я спуталась тут, будто забыла, зачем приехала. Забыла. Куда мне к Саше идти, кулеме такой. Смотрю на всех, а они в пальто ходят, а у меня и руки-ноги будто не те: грязные руки не промыть, ноги не так ставлю, будто загребаю, когда иду.

Помню, пришла я тогда на завод, послали меня к начальнику цеха, а она — баба, да такая пудренная, гладкая, халатик на ней бле-

стит весь, и уголком торчит платок. На меня так смотрит, будто и не видит, — говорит, и скучно ей будто мне все это говорить:

— Культура труда зависит от самих рабочих, техника безопасности. . . — и все такое. А я стою да свои грязные ногти прячу.

И вот стала я зарабатывать, чтобы заявиться-то к Саше. Ботинки купила, потом халат с розами, ватник новый. Четвертую получку в парикмахерскую пошла. Стала делать шестимесячную.

Сижу я перед зеркалом, мне волосы перебирают, и все я думаю, как наряжусь да к Сашиной тетке пойду. Написали мне адрес ее, я уж под дверь ходила, окна переглядела. Все думала, какое — его.

Навили меня, нажгли, вымыли голову: поглядела я — вроде ничего. Не такая морда круглая показывает, вроде и я на инженершу похожа стала кудрями-то своими. Ну, думаю, сейчас я и брови накрашу — бровей у меня не видно.

Стали мне брови красить, глаз не велят открывать, потом горячим чем-то подули на меня, волосы сушат. Стало мне больно глазам — жуть, ну уж молчу, только все думаю: сколько с меня возьмут. Не посмотрела я, сколько все-то стоит — брови-то красить. Только помню: завивка пятнадцать рублей, а дальше стояло: «Покраска волос — 40 рублей». Может, думаю, брови тоже «покраска волос». Тогда посижу я голодом. В Осенцах-то хоть грибов да наедемся до отвора, а здесь нет. За все заплати. Ну, сижу, моют мне глаза: вместе с бровями да и ресницы мне покрасили.

Помыли меня, потеряли мне лицо, открываю глаза — мамочки мои родные! Волосы мне распушили, прямо кисточки, как у жеребят хвосты, а глаза-то, а рожда вся! Брови сине-черные, до самых висков расписаны, вниз косят. Оттого, что натерли мне брови, вся морда пятнами взялась, красная, круглая. Чистый клоун. И платить надо двадцать рублей — это еще ладно.

Пришла я к себе, нарядила халат, ватник. Пошла к соседям, в зеркало посмотреть. Поглядела, постояла. Пришла к себе и сняла все. Легла и заревела. Куда же к Саше идти, как цыганка прямо, да еще и красотищи на двадцать рублей.

А тут мне общежитие стали давать, надо было все заработать: пододеяльник, наволочки. Стала я по две смены, по две смены. Да на пальто копила. Одну картошку ела да макароны варила, — ничего, не похудела вроде.

Вот все думала: пальто сошью — к Саше пойду. Пальто сшила — лето стало. Надо платье, туфли. Опять коплю. Купила платье, туфли мне соседка дала, трамвайщица она. Работала у нас на заводе, после уволилась. Стала ездить. Такая бой-баба, надо мной все потешалась, что я к Саше не иду. Ловкая была, мужиков у ней! И тот предлагает, и этот говорит, — все такое рассказывала мне. Баба она сердечная,

хорошая. Вот мне туфли, лакировки, одолжила. Нарядилась я. Волосы-то мне объяснили: на бумажки сверх завивки накручивают, чтобы не пушились. Вот накрутилась я и пошла к Саше.

Как волновалась — смех. Позвонила. Жду. Открыла мне соседка, не тетка, а я вдруг голос потеряла, шепчу ей:

— Максимова мне, Сашу...

— Кого?

— Лизавету Ивановну Максимову! (Тетку-то его.)

— Сашу, что ли, нужно? — говорит соседка, на меня хмуро смотрит. — Так и говори, нету его.

— А я из деревни его, — говорю.

— Да нету его здесь! У жены живет.

Видит, что я вся не своя стала, и говорит:

— Да вот, женился он на инженерше с ГОМЗа.

Так я и пошла домой. Вот и все дело. А ты говоришь — место себе другое ищи, не работай как грузчик... А куда идти-то? Здесь уж на заводе своя. Чего бегать? А я и заработать люблю, картошку с базара купить люблю, баранинку. Грудиночки купишь, кислой капустки, селедки. Картошки, чтоб разваристая была, с тонкой кожурой. Сварю картошки, чтобы досуха вода выпарилась и солью на дне осела, сварю щей с грудинкой, картошки намну в щи, чтоб густые были, ложка невпроворот. Селедки наемся, щей две тарелки. Посолюсь как следует, а потом чай пью. Попить люблю...

А я и не устаю со смены: вот две смены — хорошо устанешь. Придешь — руки-ноги дрожат с устатку. Зато завалюсь и сплю. Сашу во сне вижу.

Ну и не говори больше ничего...

# Дорогу уже не бомбили

РАССКАЗ

Сзади напирал состав с уклона. Ленька мигал на яркий свет, расслабив тело. Топочные дверцы катались на колесиках. В чемоданчике под сиденьем — пять картошек в мундире, и еще был «наркомовский паек» — сто граммов колбасы и триста хлеба. Жратва. Но дорогу уже не бомбили, ездить было можно.

Машинист Капитонов косился на неприятные уши Леньки. В окно холодный февральский ветер сифонил. Машинист мерз. Иногда вставал, грел о котел застуженное до ревматизма правое плечо.

Уклон кончался. Нужно было приниматься за работу. Ленька подпрыгнул с насиженого места, полез на тендер. На тендере было темно и холодно, как в проруби. Рвущийся с боков ветер подхватил Леньку, закружил, сыпанул в глаза мелкий уголь, снег.

Отплевываясь, Ленька нащупал лопату, вонзил в черную хрустящую массу, стал грести к лотку. Позади, белея кругляками баланса, лязгал набитый пульман. Темный коридор леса гулко разносил эхо.

Были мускулы еще от прошлой поездки, но уже меньше — разогрелись. Только мерзли лытки. Ватных штанов у Леньки не было. Он нарыл угля, скатился в будку, шлепнулся застывшей задницей на деревянное сиденье, дернул за топочную дверцу. Покатилась легко на колесиках.

Заплескал огонь белый. Василий, помощник машиниста, начал



валить в ненасытную дыру совковой лопатой топливо. Огонь ревел. Стрелки дрожали на приборах. У Василия спина крутая, не отдохнувшая.

Грохот и мотание.

Машинист подпрыгивал на сиденье, как на худом коне. Из драгой варежки выглядывал черный отбитый ноготь. Небалованное лицо покраснело от холода.

Не успел Ленька оглянуться, уголь кончился в лотке. Опять ветер. Замусоренные глаза. Скрежет угольный. Темная беспокойная ночь. Паровоз вскрикнул чугунным голосом перед станцией. Ленька сполз в будку.

— Стоять, — захрипел машинист, вытащил с живота большие плоские часы на цепочке. Посмотрел время, потом на Ленькины грязные уши.

Ленька подскочил и — за метлу, заместь под ногами рассыпанный уголь. Выглянул наружу. В сутробах станция. Машинист круто тормозил поезд.

Дежурный с рябым безжалостным лицом принял жезл. Тихо проплыла водоразборная колонка, на маковке фонарь.

Ленька отпустил мерзлые поручни, спрыгнул, схватился за обледенелую цепь и потянул за хобот колонку с сосулькой — воду брать. Сосулька разбилась, звонко обсыпала стеклом.

— Дура, ноги в темноте обломаешь! — рассерженно крикнул из будки Василий.

Пошел брать факел. Вернулся и, капая в снег горящим маслом, полез на тендер направлять хобот в нутро. Заглянул в бак — сильно воды выпил паровоз. Все обледенело. Ноги срывались.

Ленька прыгнул зайцем, осклизлыми рукавицами отвернул клапан колонки. Вода обрушилась в бак.

Василий качал колосники. Ленька взял гребок, стал выворачивать красные шлаковые пироги на рельсы. От жара волосы трещали. В горло лезла сера.

Машинист щупал машину, изредка грея руки над факелом.

Ленька взопрел. Разровнял шлак. Грязной ветошью вытер потное лицо. И побежал воду закрывать. Потом заскакал к собачьему ящику. Выволок масленку и бидон с мазутом. Бидон скользящий. Руки дрожали, пролил мимо. Кое-как вытер лапы, затоптал снег, чтобы не видели. Смазку сэкономили. Подсвечивая факелом, пихал горло масленки в колеса и рукой трогал, не нагрелись ли.

Где-то вдали гудел встречный.

«Поесть бы успеть, — подумал Ленька. — Кишки подвело». Василий тоже с масленкой и ключами делал свое.

И так ходили они втроем, как вокруг норовистой лошади. Убла-

жали. Машинист пыхтел, шаркая проволочной бородой по ватнику. Послал Леньку за «велосипедным» ключом. Принес самый малый и обмишурился.

— Фекла. Три раза так, пять этак, — рыкнул машинист.

Наука хитрая — паровоз. Все наоборот. Побежал резво, приволок. Полпуда весит. Капитонов стал тискать ослабшую гайку, стучать кувалдой. Фырчал насос, капал машинисту на загривок кипяточек. Когда попадал на голое, Капитонов огрызнулся русскими словами.

Уголь, мазут, пот, пыль шлачная — вымазался Ленька, одни зубы лошадиные белые.

Умаялись все трое. Ночь непроглядная. Мигали рыжие огни стрелок. Руки прилипали к железу. Копошились в грязи, на собачьем холоде.

Прогрохотал встречный, на платформах — заиндевелившие танки с длинными пушками. Ходом пошел. Обдал вьюгой, и хвост состава замотался на выходной стрелке — три красных вурдалачьих глаза.

Сделали работу, полезли по трапу, в поручни впиваясь черными руками. В будке было тепло с закрытыми фанерными окнами. Машинист вытащил часы и сказал:

— Время. Обгон будет. Гад лысый не пустит. Скобарь на хвосте.

Ленька знал, что «гад лысый» — это диспетчер, а «скобарь» — пассажирский на Псков. И Ленька обрадовался передышке, и Василий тоже.

Тогда все сели, вытащили еду и молча стали есть. Каждый свое. Ленька тотчас разомлел, глаза слипались. Картошки были холодные. Он макал их в соль и кусал понемногу, чтобы не ошибиться, — нужно было оставить на обратный путь. Жесткая колбаса волшебю пахла дымом, и было ее не килограмм.

На еде отпечатывались грязные пальцы, это была техническая грязь, и никто ею не брезговал. А еды было мало для хорошо поработавших мужчин. Хотя за войну изголодались, но к голоду привыкнуть нельзя. Машинист встал и убавил пар в воздушный насос, и стало тихо.

Далеко перевалило за полночь. Они задремали. И Ленька даже не слышал, как прошел поезд. Потом явилась главный кондуктор, женщина в огромном грохочущем тулупе.

— Петрович, хватит ж. . . греть. Сичас поедем.

Все трое зашевелились. Василий стал разогревать топку. Пришел рябой дежурный, жезлом застучал по будке. Машинист проверил название перегона и сказал:

— Поехали.

Паровоз задрожал, как человек под непосильной ношей. Ухнул в трубу облако холодного пара. Под ногами заплясал пол. С ревом

заметалось белое пламя. Поплыли мимо редкие огни станции. Метель уже притихла. Небо яснило. Обозначились звезды. Высоко горел красный семафор, тоже как звезда. Спали глухие темные ели. И снег осыпался с ветвей от грохота. И была работа. Мокрели рубашки. Лязгали сзади вагоны. Ленька свистел песню о «Варяге». В этом жестоком ритме нагибался, швырял уголь, нагуливая мозоли на костлявых ладонях. Прыгал в будку хлопать дверцами, чтобы топка не остывала, пока Василий загружает ее. Был инжектор, подавая воду в котел.

Менялись названия станций. Холодные рельсы блестели от лучей яркого прожектора. Ленька цеплялся дрожащими руками за поручень, ловил жезл и в будке орал название перегона.

Взошла над лесом луна. Ленька засмотрелся на нее и подумал: «Вот луна, как тарелка».

В животе была слабость. Ленька стал думать о еде. Мысли о еде разгорались. Огонь ревел в топке. Быка изжарить можно... Глаза от огня слепли. О, господи! Нашарил под сиденьем чемоданчик, в щель протиснул лапу. Изумительную холодную картошину свергнул в рот с кожурой. Сладкие комья опускались в желудок.

— Жезл! — заорал машинист.

Ленька машинально снял с гвоздя проволочный круг. Ничего не видели глаза. Повис над проносившейся землей. Разглядел фонарь, качающийся в вихре. Бросил старый жезл. Вытянул руку — поймать новый. Больно стегануло по пальцам. «Промазал», — с ужасом подумал Ленька и чуть не заревел.

Плакать было некогда. Машинист, свирепея, рванул экстренное торможение, сбросил пар. Не займешь перегон без жезла. Дышла гнулась от контрпара. Ленька скорчился и прыгнул в снег. Кувыркаясь, видел: искры сыпались под литыми колесами. Удачно прыгнул однако. Выплюнул снег и протер глаза, куда бежать. Побежал, прихрамывая, вдоль состава, замедляющего ход. Прыгали белые буквы на бортах вагонов. Заиндевели цистерны излучали холод. Навстречу легкой рысью бежал дежурный. Пролаял замысловатый железнодорожный матюг.

Ленька не огрызнулся, схватил эстафетную палочку, побежал обратно, всхлипывая и сплевывая липкую от бега слюну. Ноги вязли в глубоком снегу. Слабые ноги.

«Ноги, ноги бегут по дороге», — думал Ленька.

Темные придорожные кусты... Кругом Ленька виноват. Теперь машинисту вставят фитиль, Василию тоже, и дежурному по станции, и главному кондуктору, и...

Ноги, ноги бегут по дороге...

Состав туго, со звоном трогался с места. Ленька загремел заколяневшими ботинками на тендер, с глаз долой. Василий хмурился и

смотрел на манометр, как на бога. Машинист сурово открыл регулятор до затылка. Грохот стал чудовищным.

Трое мужчин работали. Со стороны это было красиво. Обходчик, пряча лицо в тулуп от вынырнувшего света, крикнул: «Вот, дьявол, прет».

Версты ложились на плечи. Василий спал с лица. У Ленки свело пальцы от лопаты. Машинист мял исхлестанные морозом скулы. Плечо немело, и глаза леденели на встречные семафоры.

Дежурный по станции Барковичи докладывал по селектору:

— Сто восьмидесятый идет с опозданием в одиннадцать минут, жезл проворонил.

Диспетчер, чтобы не задремать, пил крепкий чай. По проводам неслись гневные слова:

— Передайте Капитонову, если не нагонит время, завтра будет отчитываться за задержку спецпоезда...

На полированном столе начальника дороги лежал готовый доклад, там были слова: «Наша боевая гвардия не подведет». Потом шли имена прославленных машинистов.

Гвардия не подводила.

Машинист стискивал заолодевшие зубы. Впереди был чертов мост. А к реке — спуск, потом шел подъем, крутой и коварный.

Мост возвели в войну наспех, скорость на нем ограничили. А изношенный паровоз ЭШ-707—13 был слаб. Машинист знал, что с такой скоростью не выбраться из этой ямы, когда на хвосте полторы тысячи тонн.

Из воды выглядывали покореженные взрывом, скрученные фермы. В этом месте вода бурлила и не замерзала зимой. Возводили новый стальной мост.

Был расчет сумрачный и тяжелый, как поезд. Пролетали мимо голые кусты орешника, ольхи, желтые огоньки торфяных барачков. Шестидесятитонные пульманы, промерзшие цистерны, звеня, покатились с горы. Машинист медлил сбрасывать пар. Ныла рука, и он ворчал, успокаивая себя:

— Я старый, и ты, эшак, старый. Но мы еще утрем нос молодым. Правда, эшак? И ты сейчас меня не подведешь. А ты, Василий, не бойся.

Эти слова можно было орать, все равно никто не услышал бы. Такой стоял железный грохот.

Наконец машинист сбросил пар, скорость уже была сумасшедшей, а вагоны все напирали. Состав шатался, раскачиваясь. Набегала узкая полоса моста. Чернели обледенелые шпалы. Сварщики прекратили свою работу и стояли, подняв забрала, и смотрели на ошалевший длинный поезд. Дымилась вода у распатанных быков. Две галки,

испуганные грохотом, летели вдоль белой реки. Машинист шевелил пальцами, и с почерневшего от холода лица не сходила гримаса.

Мост прогнулся от навалившейся тяжести, напрягся деревянной утробой.

Ленька охнул, выпрямил замытаренную спину, заглянул через борт в пропасть.

«Господи, летим как птицы», — подумал он.

Белая река осталась позади. На горе семафор задирает руку. Накат вагонов слабел. Дыхание машины становилось реже. Хвост еще мотался на мосту. В груди паровоза хрипело. В стальных конвульсиях выворачивались суставы.

Капитонов посмотрел на проплывающий километровый столбик.

— Пронесло, а? — сказал он, и гранитное лицо его разгладилось. Вынул теплые с живота часы и покачал перед носом согнувшегося над топкой Василия.

— Три минуты фору, а?

— Пять! — обрадованно закричал Василий. — Не три, а пять.

Ленька вылез из убежища. Опасливо покосился на обоих.

— Ха, явился, — Василий замахал руками. — Он нам литру с получки поставит. . .

Машинист поднял два черных пальца.

— Две. Жуть как погуляем. Выручили, а?

— Выручили. . .

Василий хлопнул по плечу Леньки чугуновой лапой.

— Ага, — Ленька шмыгнул носом от счастья, что простили. — Эва, солнце-то всходит. . .

ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВ

# ЭСКИМО

РАССКАЗ

Я иду по теневой стороне нашей улицы.

Я вижу, как на солнечной стороне, вдалеке, из-за поворота появляется она. На ней красное платье и черные туфли-тапочки. Вдруг она начинает подпрыгивать, и так, подпрыгивая и приплясывая, приближается ко мне. Лицо ее радостно, она улыбается. Наконец мы сталкиваемся, она проводит своим носом по моему, точно курица чистит клюв — из стороны в сторону.

Я обнимаю ее, но не целую, а наклонившись к ее лицу, к губам, вдыхаю ее всю, ее запах. Он меня опьяняет.

— Здравствуйте, радости вы мои, — говорю я.

Мы стоим, прижавшись друг к другу: одной рукой она обнимает меня, а другой легонько постукивает о мое плечо, успевая при этом посмотреть на проходящие мимо туфли.

— Вы меня еще любите? — спрашиваю я, улыбаясь.

— Вас-то? — смеется она.

— А кого же?

— Любим, — и она барабанит пальцами по моему плечу. Я замечаю, куда она смотрит.

— Ах ты курица. — Я легонько отталкиваю ее от себя.

— Сам ты курица.

Она на секунду обижается, но потом смеется и сразу же начинает трещать:

— Витька, ты знаешь, что я сегодня видела? Вот такие туфли, вот с такой каемочкой на носу. — Она проводит пальцем по воздуху. — Вот с такой. И вот с таким каблуком. — Она, расставив указательный и большой палец, подносит их к моему носу. — Вот с таким.

Я высокий, и она на цыпочках дотягивается до меня.

— Где? — спрашиваю я, снисходительно улыбаясь. Мне нравится, когда она трещит.

— В магазине. Пойдем померяем. — Она начинает теревить меня за рукав.

— Они мне не полезут, — неумело отшучиваюсь я.

— Ну, какой-то. — Она опять на мгновение обижается, но опять начинает трещать, а я люблюсь ею, снисходительно улыбаясь. И только потом говорю:

— Ну что за страсть с единственным рублем в кармане примерять туфли ценой в мою получку.

— И рубля-то нет, — смеется она.

В магазине по-вечернему тихо. Сладковато пахнет крашеной кожей. Слышен приглушенный шум улицы.

— Вот эти, — дергает она меня за руку и восхищенно смотрит на туфли. Черные туфли на высоком каблуке — это мечта, это тоже худенькое, стройненькое, остренькое, как и она сама.

— Сейчас померяю. А ты посмотришь. — И она решительным шагом проходит за прилавок, садится и осторожно, прямо божественно благоговейно надевает сначала одну, потом другую туфлю.

— Смотри. — Она встает во весь рост, она улыбается, лицо ее сияет. — Хорошо?

— Здорово, — говорю я. Я и в самом деле в восхищенье. Но за туфли нужно заплатить, и я ей говорю: — Пойдем.

— Подожди. Я еще померяю вон те белые.

— Пойдем, — повторяю я, начиная раздражаться.

Она смотрит на меня, потом на туфли, вздыхает и уже небрежно, буднично снимает их и отдает продавщице.

Мы выходим на улицу и сливаемся с толпой. Через минуту она забывает и магазин, и туфли.

— Витька, — трещит она. — В следующее воскресенье обязательно поедем купаться. Я так хочу купаться.

— Ты знаешь, как я тебя люблю, — говорю я. Я держу в своей огромной лапе ее маленькую руку. — Я могу тебя поднять даже до самого неба.

— Это ты потом сделаешь, — смеется она. — А сейчас лучше купи мне мороженое.

— Будет сделано, — говорю я.

Я сую руку в свой огромный и пыльный карман. Я долго скребу в нем и вместе с крошками вытаскиваю на ладонь одиннадцать копеек — как раз на эскимо.

— И все? — говорит она.

— Все, — отвечаю я.

— У, — тянет она.

- Что ж поделаешь! — Я пожимаю плечами.
- А я думала, что мы хоть сегодня сходим в кино.
- Завтра у меня получка, — говорю я, — завтра и сходим.
- Завтра, завтра — все надо откладывать на завтра.

Лицо ее становится грустным.

- Что ж поделаешь, — говорю я и опять пожимаю плечами.

Я покупаю ей эскимо. И она опять весела, опять улыбается мне, опять вертит головой, опять трещит. Я рад за нее и за себя, я поглядываю на нее сверху — с высоты своего роста, — я чувствую себя мужчиной.

Мы выходим к Неве. Тарахтя, медленно тянет буксир баржу против течения. На буксире по красной палубе идет человек в черном, в руках у него красное ведро, он бросает его в воду и, подтянув на веревке, выплескивает его на палубу. Так он делает несколько раз. Буксир гудит, выпуская в светлое небо дым.

Вода чуть покачивается и отражает небо. Над Невой летают белые чайки. Эти чайки похожи издали на тополиный пух, что летит над городом. Мы подходим к гранитной ограде.

- Дорогая, — говорю я тихо. Иначе я никак не решаюсь сказать. — Дорогая, вы меня еще любите?

— Любим, — говорит она.

И доверчиво прижимает свои маленькие губы к моей щеке.

— Очень? — спрашиваю я.

— Очень, очень. — Она берет мою руку и, прижав к груди, к сердцу, изо всех сил сжимает двумя руками. — Вот так вот люблю.

— И я тоже, — говорю я.

Я отворачиваю от нее лицо и ничего не вижу, кроме воды и неба.

— Ах вы, радости вы мои, дети вы мои, — шепчу я тихо.

Она держит меня за руку и смотрит на Неву. И свет грустной улыбки чуть освещает ее лицо.



# Олег Цакунов

---



## ФОРМУЛА ЗЕМЛИ

*Словно в храм, войду сквозь сени  
В ароматах старых бочек  
В хату, где родня уселась  
Плотно, как на ветке почки.*

*Пар над ядрами картофеля,  
Колчаны тугие лука,  
На столе, скобленном добела,  
Возлежат отдельно руки.*

*Зримы их завоеванья,  
И от них идут кругами  
Дом, забор, садов сиянье  
И поля в веселом гаме.*

*В далих травами простыми  
Под весенним дуновеньем  
Мы с народами иными  
Входим в соприкосновенье.*

*И виднее: сфера к сфере  
Точно атомы легли  
Самой главной, самой верной  
Формулы земли.*

\* \* \*

*Сегодня с запада негромкий ветер,  
В твоём краю ещё темным-темно,  
Но вижу, словно марка на конверте,  
Под самой крышей светится окно.*

*Усни, усни, а я в твой сон недолгий  
Войду строкой, что в память заронил.  
Ещё шуршат кедровые иголки,  
Когда к письму снижаются они.*

*Ещё комар поет высоким звуком,  
Олень трубит, являясь на тропе. . .  
Мой первый шаг, отсчитанный в разлуку,  
Уже был первым на пути к тебе. . .*

\* \* \*

*Зуб мамонта привез домой  
Пятикилограммовый.  
Подняв рюкзак тяжелый мой,  
Спросил сосед: — С обновой?*

*Зуб? — удивляется сосед. —  
На что оно, такое?  
— Да просто так. —  
Но мой ответ  
Его не успокоит.*

*Он будет думать и ходить,  
Прикидывать, к чему бы?  
В музее будет он звонить:  
«Почем слоновьи зубы?»*

*Он справится в утильсырье:  
«Кость дорожать не будет?»  
И снова забежит ко мне:  
«Зачем, простите, зубик?»*

*Зачем? Почему?  
Исторгнув стон,  
Взял зуб я, метя в челюсть...  
Нельзя ударить: скажет он,  
Что зуб привез я с целью!*

# Юрий Красавин

---



## ИЗ ПИСЕМ НА БОЛЬШУЮ ЗЕМЛЮ

1

*Мама,*

*вьюга хоть жестко стелет,  
Я не жалеюсь по пустякам.  
Я поехал подальше на Север,  
А заехал вплотную к стихам. . .  
Это белое пространство,  
Перевитое жилой берез,  
Приучило нас к постоянству  
Убегающих северных верст.  
И ложатся долгие рельсы  
Паровозам в красные ноги.  
Не отгадывайте, как ребусы,  
Наши будущие дороги.  
Где, какими кострами греться,  
На каком ослепнуть снегу?  
Мир, пропущенный через сердце,  
Не укладывается в строку.  
Замолчи, вертлявая вьюга,  
Подойди, подробная память.  
Пусть безмолвье Полярного круга  
Ляжет белыми стихами. . .  
А вернее, какими получится.*



*В трамваях — медленных  
и озабоченных —  
Укачиваются рабочие...*

*Эх, уложить бы кулак под голову!  
Вот была б хороша подушка.  
Рабочие спят, как большие голуби,  
Уйдя в воротник по самые уши.*

*И нет на свете тишины священной,  
Чем эта усталая тишина.  
Руки выложив на колени,  
Дремлет Выборгская сторона...*

*Рабочий спит. Трамвай укачал.  
Рука по колену медленно тащится.  
Архимед искал для земли рычаг,  
Вот он — лежит на колене спящего.*

# Владимир Уфлянд

---



\* \* \*

*Свет зажгли синевато-зеленый.  
Взрыв какой-то раздался.  
И звон.  
Это значило:  
иллюзионный  
начинается аттракцион.*

*Разбегались с арены клоуны.  
Исчезали униформисты,  
бормоча:  
— Надо быть безголовым,  
чтоб дожидаться иллюзиониста.  
Этот парень в цилиндре блестящем,  
окруженный всегда ассистентками,  
неприменно посадит в ящик,  
в тесный ящик с фанерными стенками.  
Чтобы втиснулся,  
сложит втрое.  
Потеряешь сознание от ужаса.  
Будь уверен:  
ящик откроют,  
но тебя в нем не обнаружится.  
Или выйдешь  
(лицо — землистое),  
сверхъестественно жаждая пива.  
Таковы иллюзионисты.  
В том числе знаменитый Кио.*

\* \* \*

*У Петра Иванова родители  
по профессии укротители.*

*Папа носит зеленый фрак.  
Мама — длинное синее платье.  
Папе звери послушны за страх.  
Маме — больше из чувства симпатии.*

*По утрам, отправляясь в цирк,  
папа ест торопливо сыр.  
Мама ест торопливо варенье.  
Им не терпится  
на арене  
постоять между львами и львицами  
с до того беззаботными лицами,  
словно все происходит в птичнике.*

*Между прочим,  
нормальные хищники  
в смысле пищи  
брезгают взрослыми,  
потому что, в известной мере,  
пахнет мясо пап  
папиросами.  
Пахнет мясо мам  
парфюмерией.*



# Вячеслав Лейкин

---



Стихи, написанные по поводу сообщения американского профессора Лейкина об отсутствии жизни на Марсе

*Напрасно мы надеждами томилась.  
Все рухнуло. Теперь ходи и майся.  
Профессор Лейкин, мой однофамилец,  
Нам сообщил, что жизни нет на Марсе.*

*Что жизнь! И на Земле ее немало.  
Другое горе в сердце мне пролито:  
Увы, из марсианского канала  
Теперь ко мне не выйдет Аэлита.*

*Сухой, упрямый факт тому виною.  
Опять я у разбитого корыта.  
А верилось во что-то неземное,  
Во что-то по прозванию Аэлита.*

*Итак, прогресс. Он глух к моим протестам.  
Его ракеты даже в сны вломились.  
Профессор Лейкин, что же ты, профессор,  
Наделал, а еще однофамилец.*

\* \* \*

*Ваське*

*Жив человек. Кто говорит, что нет?  
Он мечется, соображает, хочет.  
Он жив. Ему, как прежде, двадцать лет,  
Весенний дух ноздрю его щекочет.*

*Написано «котел» на мостовой,  
Собака важно поливает вазу, —  
Он движется, вращая головой,  
И все заметит и осмыслит сразу.*

*Изучит отражения огней,  
В едину точку поплюет толково,  
И, проходя меж Клодтовых коней,  
Поищет, у которого подкова.*

*Он не спешит. Куда ему спешить?  
Кого его отсутствие тревожит?  
Век впереди. Он только начал жить,  
Он все еще успеет, если сможет.*

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

Александр Прокофьев. Комсомолу! . . . . .	3
Александр Городницкий. Речь Александра Ульянова, Вечный огонь, Стихи о северной границе. <i>Стихи</i> . . . . .	5
Евгений Соломенко. Комиссары. <i>Стихи</i> . . . . .	9
Вадим Барашков. Смерть партизана. <i>Стихи</i> . . . . .	10
Александр Папахов. «Мне приснилась атака...». <i>Стихи</i> . . . . .	11
Игорь Долиняк. Весна 1891 года. Первый приезд Ленина в Петербург, «На эти наскальные ели...». <i>Стихи</i>	13
Александр Олейников. «Пришла пора весне родиться...» <i>Стихи</i> . . . . .	15
Валерий Попов. Поиски корня. <i>Повесть</i> . . . . .	17
Нонна Слепакова. Диалог, Диалог с ветром, «Носил художник брюки узкие...». <i>Стихи</i> . . . . .	47
Раиса Вдовина. Лошади. <i>Стихи</i> . . . . .	50
Галина Гампер. «Как ты омыт, как ты приподнят...», «Такая пустота в руке!..», «Ни на тоске, ни на обидах...». <i>Стихи</i> . . . . .	52
Генрих Шеф. Записки совсем молодого инженера. <i>Повесть</i> . . . . .	55
Татьяна Галушко. Январь. «Эти медленные реки...», «Горами обведенный вечер...», «И горько захотела я...». <i>Стихи</i> . . . . .	102
Александр Рытов. Едем в Гарни. <i>Стихи</i> . . . . .	106
Алла Тер-Акопян. «Весна — огромный птицедром...», «То находить...». <i>Стихи</i> . . . . .	107
Ирэна Сергеева. «Тыпусти меня поскорей...», «Это терем или тюрьма?..», «Угощаешь ты сулгуни...». <i>Стихи</i> . . . . .	108
Василий Лебедев. Без родины. <i>Повесть</i> . . . . .	111
Григорий Глозман. Детство, «Я говорю: — Терпенье!...». <i>Стихи</i> . . . . .	172
Александр Шкляринский. Баллада о поезде смерти. <i>Стихи</i> . . . . .	174
Ирина Малярова. Баллада о двух именах. <i>Стихи</i> . . . . .	176

Владимир Дроздов. «Унесите с мороза, парни...», «Поздравляю с весной знакомых...». <i>Стихи</i> . . . . .	178
Дмитрий Бобышев. «Со мною девочка идет Наталья...», «Километров редкий лес...», Облака, «Несравненной твоей красотой...». <i>Стихи</i> . . . . .	180
Эдуард Кутырев. По речке Иркинеевой. <i>Повесть</i> . . . . .	185
Михаил Гурвич. «И были глаза, словно дым от костра...». <i>Стихи</i>	223
Александр Шевелев. Бык. <i>Стихи</i> . . . . .	225
Нина Петролли. Завтра работаем в Кронштадте. <i>Рассказ</i> . . . . .	227
Ирина Габуева. Всего полтора дня. <i>Рассказ</i> . . . . .	245
Олег Тарутин. «Земля моталась, как брелок...», «Мне надоело знать заранее...», «Конфету за щеку — летим...». <i>Стихи</i> . . . . .	258
Майя Данини. С двадцать восьмого года. <i>Рассказ</i> . . . . .	261
Владимир Насущенко. Дорогу уже не бомбили. <i>Рассказ</i> . . . . .	267
Владимир Алексеев. Эскимо. <i>Рассказ</i> . . . . .	273
Олег Цакунов. Формула земли. «Сегодня с запада негромкий ветер...», «Зуб мамонта привез домой...». <i>Стихи</i> . . . . .	276
Юрий Красавин. Из писем на Большую землю, «Вы, деревья, немного устали...». <i>Стихи</i> . . . . .	279
Владимир Уфлянд. «Свет зажгли синевато-зеленый...», «У Петра Иванова родители...». <i>Стихи</i> . . . . .	282
Вячеслав Лейкин. «Напрасно мы надеждами томились...», «Жив человек. Кто говорит, что нет?...». <i>Стихи</i>	284

МОЛОДОЙ ЛЕНИНГРАД

*Альманах*

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1968, 288 стр.  
Тем. план вып. 1968 г. № 2

Редактор *Т. Д. Зубкова*  
Худож. редактор *А. Ф. Третьякова*  
Техн. редактор *М. А. Ульянова*  
Корректоры *Е. А. Омеляненко* и *Ф. Н. Аврунина*

Сдано в набор 10/IV 1968 г. Подписано в печать 29/VIII  
1968 г. М 38925. Бумага 70×90<sup>1/16</sup>, № 2. Печ. л. 18+2 вкл.  
(21,06). Уч.-изд. л. 16,6. Тираж 15 000 экз. Заказ № 761.  
Цена 73 к.

Издательство «Советский писатель».  
Ленинградское отделение. Ленинград, Невский пр., 28  
Ленинградская типография № 5 Главполиграфпрома Коми-  
тета по печати при Совете Министров СССР. Красная ул., 1/3.

73 коп.